Герольд

БЕЛЬГЕР



ДОМ СКИТАЛЬЦА

Герольд БЕЛЬГЕР

ДОМ СКИТАЛЬЦА

Роман



"АУДАРМА" БАСПАСЫ
АСТАНА – 2003

ББК 84 Р6
Б 28 44

ВЫПУЩЕНА ПО ПРОГРАММЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ,
ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Бельгер Герольд.
Б 28 Дом скитальца. *Роман.*
Астана: Аударма, 2003. — 376 с.

ISBN 9965-18-046-6

В романе отражена трагическая и драматическая судьба российских немцев, депортированных в 1941 году в Казахстан, описывается нелегкий процесс вживания переселенцев в новую среду, высокие, добрые человеческие отношения между коренным населением и переселенцами, тернистый путь к торжеству справедливости, гуманизма, благородства, подлинного единения и дружбы народов.

Временной отрезок повествования — 1941—1956 годы с экскурсами в жизнь и быт немцев Поволжья в 20—30-е годы. В жизни трех поколений одной немецкой семьи отразилась живая история народа, огульно подвергшегося гонению в годы лихолетья и обретшего в Казахстане приют и надежду.

Автор посвящает книгу отцу Карлу Фридриховичу Бельгеру.

523216
К+

Б $\frac{4702010200 - 63}{00(05) - 03}$ ББК 84 Р7

© "Аударма" баспасы, 2003
© Бельгер Г., 2003
© Общественное объединение художников книжных графиков Казахстана, В. Пак

ISBN 9965-18-046-6

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДАВИД

Но где мой дом и где рассудок мой?
А. Ахматова



Согласно Указу Президиума Верховного Совета Союза ССР от 28 августа 1941 года, Государственным Комитетом Обороны преподан следующий план вселения немцев в Казахскую ССР:
6 сентября 1941 г. — 163600 человек
21 сентября 1941 г. — 142000 человек
22 сентября 1941 г. — 142000 человек
Всего — 415600 человек
(Сведения о потребностях жилищного строительства и хозяйственного обустройства переселенцев. Не ранее 2 октября 1941 г.)

I

— Ккм... значит, военный лекарский помощник РККА?

Заведующий райздравотделом, крутоплечий, лысый, с густой щетиной рыжих усов, хмуро перебрал документы.

— Да.

Он исподлобья смерил рослого, поджарого, узколицего молодого мужчину, почтительно застывшего в двух шагах от стола, и задумался. Потом принялся листать трудовую книжку.

— Присаживайтесь, пожалуйста. В ногах правды нет.

Уткнулся в последнюю запись. "Освобожден от обязанности завкантонздравом Гнаденфлюрского кантона АССР НП в связи с Указом Верховного Совета Союза ССР от 28 августа 1941 года".

Опять похмыкал, покрякал, лысину почесал.

Когда-то он неплохо знавал тот край — Автономную Советскую Социалистическую Республику Немцев Поволжья. В уютном Маркенштадте проходил практику у кудесника-хирурга. Правда, с тех пор много воды утекло и в Волге, и в Ишиме. Но кое-что еще жило в памяти. Можно б было порасспросить кое о чем этого белобрысого, длинноносого лейтенанта медицинской службы. Да только сейчас не время и не место для досужих воспоминаний.

И Указ, на который ссылается запись в трудовой книжке, ему известен. Известен да непонятен. То, о чем говорится в том Указе, не укладывается в его сознании. Никак не укладывается. Но кто знает... Время смутное. Помнится, в том Указе так и сказано: "По законам военного времени...", "во избежание кровопролития..." Бес его знает, что это за законы такие... Нет, обо всем этом не поговоришь. Тем более с человеком, которого и видишь-то впервые. Может, когда-нибудь позже, при случае, вне этих стен. А пока лучше держать язык за зубами.

— Меня прислали к вам из райкома, — напомнил посетитель.

Заврайздравотделом хмыкнул, уловив в его речи знакомый немецкий акцент.

— Знаю, знаю... Успели предупредить.

"Прислали из райкома"... Ясно, на что намекает. Выходит, партбилета не лишили, как это обычно делается со многими спецпереселенцами. Значит, пока что не всех под одну гребенку стригут. Что ж... прошел, видно, проверку. Надежен. Как-никак в Ленинграде учился, семь лет в Рабоче-Крестьянской Красной Армии отслужил — не шутка. Да и отделом здравоохранения заведовал в кантоне... как там... Гнаденфлюрском. Бывшем, надо полагать. Теперь-то там в спешном порядке все переименовали. Никаких, должно быть, манхаймов, мариенбургов, зихельбергов и в помине не осталось. Разве что на старых картах...

Яковчук грузно откинулся на спинку стула, пресек все непрошенные думы, посмотрел на посетителя прямо, пристально.

— Значит, так, коллега. Медработников здесь во как не хватает. — Он резко провел ребром ладони по горлу. — Работы невпроворот. А тут еще и военкомат каждый божий день повестки шлет. Отправлю-ка я вас, мил-человек, в одно место, где...

— Кде Магар делят не конял? — улыбнулся посетитель.

У заведующего тоже раздвинулась щетка усов.

— Не знаю, как насчет Макара и телят, но где уже два месяца девять населенных пунктов — все они, заметьте, входят в один радиус — фельдшера не видят. Вот так-то. Будете заведовать фельдшерско-акушерским пунктом. С райкомом все обговорено. Не побоитесь?

— Пуганый вроде.

— Добрэ, добрэ... Сейчас же напишем приказ, и можете отправляться в Кизыл-ту.

— Как, простите? Кзы... Киз... ту...

— Да, да. Кизыл-ту. Казахский аул. Колхоз.

— Далеко?

— Километров, пожалуй, двадцать-тридцать отсюда.

Заведующий размашисто расписался, брякнул печатью, подал направление.

— Примите медпункт и приезжайте за медикаментами. Сразу предупреждаю: на многое не рассчитывайте. Сами понимаете. Ну, как говорится, всяческих удач!

Нахмурился, встопорщил усы, подал руку. Тяжелую, мясистую, с густой рыжей шерстью на запястье.

Начало веселяло надежду.

Мягкие лучи осеннего солнца ровно струились над безлюдным пыльным районным центром.

Часа два он послонялся в поисках попутной подводы. В районной столовой ему посоветовали посидеть у моста: может, бензовоз или из фермы кто проедет. Он наспех проглотил котлету, выпил стакан блеклого, остывшего чая и отправился к мосту. Шел не торопясь, но шагисто, легко, часто останавливался, оглядывался по сторонам. В одной руке нес футляр, за спиной горбился тугой рюкзак.

Всплыли в памяти строчки из детской песенки:

Hänschen klein ging allein
in die weite Welt hinein...

Путник усмехнулся. Да, да... маленький Гансик одинодинешенек в путь отправился по белу свету... Вот и ему, хотя он и не маленький Гансик, выпала та же доля.

Вокруг простиралось все незнакомое, непривычное.

Он еще не отошел от суматохи последних недель, от ужаса и горя выселения, от вселенской растерянности, от толчеи и давки на станциях, от вагонной тряски в долгом, скорбном пути в неведомое. Он старался не думать о том, но гул пронесшегося смерча еще стоял в ушах, и тревога вкупе с неясностью, неопределенностью саднили душу.

Детская песенка про маленького Гансика не выходила из головы.

Sieben Jahr, trüb und klar,
Hänschen in der Fremde war...

Бедный Гансик... семь долгих лет мыкался на чужбине. Неужели и ему, Давиду Эрлиху, отпущен столь долгий срок? Такое и представить немыслимо...

День млел в осенней благодати. Призрачными чудились и безбрежность, и тишь. Солнце на чистом, без единого облачка, небе щедро поливало все окрестности. В сухой, прозрачной голубизне тянулись-плыли невесомые серебристые паутинки. На обочине дороги митинговали вороны. Грусть окутала березовые колки за рекой.

У шаткого, захламленного прошлогодним сеном и навозом моста он остановился, скинул рюкзак, прислонил к нему футляр и опустился на нагревшийся за день песок. У ног вяло текла река. Узкая и мелкая под мостом, она немного поодаль, за каменным выступом, разливалась широко и далеко. Безлюдно здесь было. Только на противоположном берегу, недалеко от моста, под раскидистым кустом сидел мальчишка с удочкой. Вдоль берега паслась стая гусей.

Никто не проходил, не проезжал. Он почувствовал тупую усталость. Разулся, лег на песок, закинув за голову руки, и долго смотрел в небо.

Белесые, пушистые тучки невесомо плыли на запад.

Путник вздохнул.

Вот так же совсем недавно, в то памятное воскресенье, лежал он на мелком сером волжском песке, прислушиваясь к умиротворяющему всплеску прибоя. Волны накатывались со слабым шипом, брызгали в него зеленоватой от прибрежного ила пеной. Рядом, с дюны, прыгала, кувыркаясь, орава мальчишек и девчонок. Песок, словно живое существо, шевелился под ним, сухо шуршал, и все вокруг приятно покачивалось, убаюкивало. Арно вдруг сорвался с места, побежал-понесся вдоль самой кромки, потом, ликующе смеясь, зашел в воду, зажмурился, пошлепал-пошлепал ладошкой по упруго вздымавшейся волне. Лида, испугавшись, бросилась за ним вдогонку. Малыш, увидев мать, замахал ручонками, залился звонким смехом, вприпрыжку побежал дальше, дальше. А Давид глядел на жену и сына и улыбался...

Потом как вихрем все завертело. Случилось то, что давно назревало и ожидалось.

Совершенно неожиданным, ошеломляющим, непостижимым было другое. И то не верилось, пока не прочитал собственными глазами — на русском языке в газете "Большевик" и на немецком — в газете "Нахрихтен" в черный четверг 30 августа 1941 года.

Думал ли он тогда, в то безмятежное, благостное воскресенье, последнее мирное для него и многих воскресенье, что так круто все изменится, что всех родных и близких, всех земляков степной и нагорной части Поволжья разметет в одночасье, как песчинки в бурю, и сам он вскоре очутится в неведомом краю и будет вот так лежать на берегу Ишимареки, о которой он и не слыхивал. С грустью подумалось: "Была в моей жизни Волга, широкая, раздольная, во многих песнях воспетая, предками возлюбленная, а теперь — Ишим. Надолго ли?.. Какую же судьбу уготовила мне эта незнакомая степная река?"

Тихо было у моста. Мальчик на том берегу застыл в терпеливой рыбацкой позе.

Чего же ждать? Попутной подводы может и не быть. Надо, пожалуй, двинуться в путь, пока еще солнце идет к зениту. Двадцать пять верст — не беда. В летной школе, во время учений, бывало, совершали марш-бросок и в два раза длиннее.

Он обулся, туже затянул ремень, привычно закинул за плечи рюкзак, взял футляр. Пройдя по мосту, остановился на развилине дороги.

— Эй, рыбак!

Мальчик нехотя повернулся.

— Не знаешь, какая дорога в Кизыл-ту?

— Куда?!

— Ну, это... в Киз... Кзы... — Он достал из нагрудного кармана направление. — Ну, да... в Кизыл-ту.

— А-а-а... вона нижняя в казацкое село ведет.

— И далеко?

— До Каратала, кажись, километров тринадцать, а дальше — не знаю.

Путник немного постоял, подумал, потом, подправив на спине рюкзак, решительно пошел нижней, прибрежной дорогой.

Hänschen klein ging allein
in die weite Welt hinein...

Вот привязался маленький Гансик. И куда он только путь держал с малых лет? Какая напасть погнала его по белому свету? И где он пропадал целых семь лет? Неужто и ему, Давиду Эрлиху, предназначено семь лет мыкаться на чужбине?

Дорога бесконечно плутала, извивалась, окаймленная густым разнотравьем, то подолгу исчезала в тугайных зарослях, то ныряла в перелески, то вдруг вырывалась на простор. Зачарованная тишина прозрачной осени преследовала путника. Пахло палыми жухлыми листьями, свежескошенной травой. На открытых полянах впритык к дороге стояла перезревшая пшеница. Щетинистые колосья мерно покачивались. Местами пшеница была скошена, но еще не убрана. По жнивью гуртились вороны. Самодовольно, сыто каркали, время от времени отлетали прочь и снова слетались тучей. Одна из них, должно быть, старая-престарая, одиноко взгромоздилась на серый камень у обочины дороги и вперила свой холодный, недобрый зрак на путника. Когда он проходил в двух-трех шагах от нее, она повертела облезлой шеей, нехотя хлопнула разок-другой одним крылом, но тут же, видно, решила, что не стоит из-за первого встречного-поперечного трогаться с места. Путник улыбнулся: "Ишь, злюка старая..." Иногда через дорогу прошмыгивали озабоченные суслики. У них тоже была страда: готовились, запасались к зиме. Из-за куста вынырнул тушканчик, встал на задние лапки, столбиком, повертел-повертел туда-сюда головой, потешно посучил передними ножками и во весь дух поскакал дальше.

Дорога все вилась, змеилась. Путник сильнее ссутулился, поправлял рюкзак и останавливался все чаще.

Позади загромыхала телега. В широком, раздавленном коробке, сплетенном из тала, сидел, скрестив ноги, скуластый, узкобородый старик в плюшевом, лоснящемся камзоле и с громадным треухом на голове. Пегая кобылка, поровнявшись с путником, сама вдруг остановилась, и старик скинул треух на колени, сдвинул на затылок тюбетейку и почесал голову.

— Эй, аман!

— Здравствуйте, — ответил на всякий случай путник.

Сильно щурясь, старик с головы до ног смерил путника.

— Куда... э-э... пошел?

— В Кизыл-ту.

Старик вытянул затекшиеся ноги, помял коленки.

—А? Зашем Кизыл-ту?

— Жить там буду, дедушка... Работать...

Путник улыбнулся доверчиво, по-детски, чуть грустно. И сам долговязый путник, и его открытая, добрая улыбка, и то, что он назвал его почтительно дедушкой, понравилось старику. Разглядывая его, он засаленной тюбетейкой вытер потное лицо, шею и снова напялил, как бы приклеил ее на бледную плешивую макушку.

— Какой такой работа?

— Я фельдшер, — ответил путник и, видно, решив, что старик его не понял, добавил поспешно, — людей, больных лечить буду...

Старик оживился.

— А, першыл! Першыл очень надо. И в Кизыл-ту першыла нет, и в Коктереке першыла нет, и в Карачоке — кругом першыла нет. А першыла нет, так совсем дело плохо. Садись.

— Вы, значит, в Кизыл-ту?

— Э, в Кизыл-ту, Кизыл-ту. Поштабай я.

— Почто-бой?!

— Ия, ия... поштабай. Почту везу...

— А-а... Теперь ясно.

Путник швырнул на телегу рюкзак и сам примостился рядом, положив футляр на колени. Старик между тем, кряхтя, слез с телеги, постоял, покачиваясь на кривых ногах, потом вразвалку подошел к кобыле, похлопал ее раза два по крупу, подтянул чересседельник и заковылял в сторонку. Повернувшись спиной к солнцу, не спеша, расшнуровал штаны с болтающейся мотней, опустился на одно колено. Справив нужду, так же не спеша поднялся, завязал шнурок, залез на телегу и дернул вожжи.

Кобыла пошла ленивой трусцой. Старик лишь изредка подергивал вожжи, задумчиво смотрел вдаль, вздыхал ка-

ким-то своим мыслям, тянул "ия-я-я" и бормотал что-то непонятное. Спутник его, свесив длинные ноги, тоже глядел по сторонам и молчал.

Дорога, наконец, вырвалась из перелеска, пошла открытой степью. Слева тянулись бесчисленные, тронутые осенним багрянцем, колки — березовые, сосновые, осиновые, справа — до самого горизонта — колхозные поля.

Молчали. Только кобылка пофыркивала изредка да сильнее припадала на переднюю ногу. Старик дергал за вожжи, и пегая снова шла заученной трусцой.

Слева, на бугре, показалось кладбище. Рядом кучно стояли ветвистые осины — листья трепетали, поблескивая в лучах солнца. Вокруг стояла нетронутая, по пояс, трава.

Старик свернул с дороги, направил лошадь к кладбищу, но остановил ее на приличном расстоянии. Привязав вожжи к облучку, слез, взял треух под мышки и, не глядя на своего путника, тихо сказал:

— Посиди.

Спотыкаясь, он заковылял к кладбищу и чем дальше, тем все глубже утопал в траве, и вскоре одна только тюбетейка мельтешила поверх зарослей. Потом, держась за поясницу, старик поднялся на бугор, остановился у крайней могилы под зеленой кущей, опустился на колени. С телеги его маленькая, согбенная фигурка была еле различима. Он долго сидел, вытянув перед лицом ладони, потом начал класть поклоны. Путник отвернулся, подумав, что нехорошо, должно быть, наблюдать за молящимся человеком.

И снова затрусила кобыла по узкой, плотно накатанной дороге. Старик повернулся к спутнику. Тот сидел, согнувшись над футляром, ноги поджал. Все в нем было длиноватым: и руки, и ноги, и нос, и лицо. Рыжеват, худощав. Серые глаза смотрели устало.

— Э, першыл, ты один?

— Что, что? — почему-то краснея, переспросил путник.

— Баба и баранчук маленькай нету?

— А-а, — догадался путник и как-то сразу сник. — Есть. И жена, и сынишка.

— И где они?

— Там... дома остались...

Старик подумал, пощипал бородку.

— А сам откуда?

— Я?... Издалека...

"Неразговорчив этот долговязый орыс, — подумал про себя старик. — Наверное, силком заставили к нам ехать. Недолго в аулах першылы держатся. Приезжают — уезжают. И этот, видно, зиму кое-как перезимует, а весной сбежит. Или на фронт заберут. Да-а... так вот... солай..."

А путник подумал: "Надо бы, наверное, поговорить со стариком. Но о чем и как? Непонятный народ... Другой язык, другие нравы. Не смогу, видно, работать".

И от этих дум совсем тоскливо стало.

— Дедушка, а русских в вашем ауле есть?

— Орысов, спрашиваешь?

— Да, русских... Или у вас одни казахи?

— Э-э... орысов везде йес. Сколько в лесу деревьев, столько и орысов на свете йес.

Старик добродушно захихикал. Путник тоже улыбнулся неожиданному сравнению.

Дорога все плутала меж пушистоголового ковыля, то в низины спускалась, то вновь карабкалась на холмину. И кобыла, пофыркивая, потрухивала ровной, нудной рысцой. Солнце уже перебралось за Ишим к закату. Старик позевал-позевал и начал клевать носом.

— Скоро приедем, дедушка?

— Э, скоро, скоро, — ответил старик и подергал вожжи.

Опять обступили их березовые колки. Где-то постукивала молотилка. Из-за лесочка доносилось блеяние овец, тявканье собак. Запахло дымком, кизяком. "Вот и приехали, наверное", — подумал путник. Кобылка пошла вдруг резвее. Выбравшись из низины, радостно заржала. Старик встрепенулся. Когда проехали крайний колок, показалось село. Путник вытянул длинную шею.

— Вот, першыл, наш аул. Смотри!

Серые убогие домишки выстроились в два ряда. Все крыши были покрыты дерном. Поверх пластов росли полынь, чертополох. В вечерних сумерках улица казалась непомерно широкой. К каждому дому был пристроен сарай, непременно кончавшийся круглой, куполообразной постройкой из плетняка. Посередине аула тянулась цепочка деревьев. Там, сразу же за деревьями, возвышалось крытое железом

большое деревянное здание. "Школа", — догадался путник. Аул раскинулся в низине. В двух-трех километрах темнел тугай. С холма за аулом спускалось стадо: коровы, овцы, козы.

— Красивый аул, — сказал старик. — Лучше нету.

Путник криво усмехнулся. Ему вспомнилось родное село — Манхайм, добротные дома, высокие заборы, крашеные ворота, неизменная летняя кухня — бакхауз. А далее за домом и бакхаузом находились почти у всех сельчан разные пристройки — хлебный амбар, птичник, конюшня, скотный двор для коров, бычков, телят, для овец и коз, сарай для верблюдов, а уж за этими основательными и ухоженными пристройками, тянулся огород. Это было в степном селе Манхайм, далеко не самом зажиточном. А тут...

За стадом брел парнишка лет двенадцати. На нем был длинный, явно с чужого плеча, плащ, подпоясанный обрывком аркана. Увидев путников, мальчик звонко щелкнул бичом и, развевая подолами плаща, кинулся навстречу. Подбежав, быстро глянул на долговязого незнакомца и залопотал что-то быстро-быстро. Старик тихо ответил, погладил мальчика по голове. Тот сразу приуныл, отошел молча. Старик вздохнул, тронул лошадь.

— Это пастух-бала, — пояснил старик. — Дядю на фронт забрали. А писем все нет и нет. Совсем сирота...

— Как сирота?

— Э-э, — протянул старик, — атес-мамка нету, так сирота будешь...

У приземистого, скособоченного дома с длинным сараем лошадь остановилась. Дымел самовар, возле него на корточках сидела старуха в странном головном уборе, похожем на тюрбан.

— А где медпункт, дедушка?

— Медыпункыт заптра будет, — сказал старик, слезая с телеги. — Там ничего нету. Пустой дом.

Путник нерешительно потоптался возле телеги, держа в руке футляр. Старик взял рюкзак.

— Айда, першыл, в дом. Чай пить будем, спать будем. Ты устал, я устал. А завтра, аллах даст, новый день будет.

И, покачиваясь на кривых ногах, старик направился к двери. Путник чуть помешкал и, сутуляясь, пошел за ним.

II

Еще с вечера Газизом овладело беспокойство: говорить жене или повременить? Сказать, конечно, придется, этого не утаишь, но как и когда... Вечером, за чаем, он твердо решил, что сообщит ей о предстоящей разлуке ночью. Ночь длинна, времени хватит на все, и на ласку, и на разговоры, вот тут-то он ей и все объяснит и успокоит. А днем, в суматохе, не получится. Не тот случай... Потом они непременно съездят в Алка-Аган, к брату Маруар, и обстоятельно договорятся обо всем.

Опустилась на аул ночь, обволокла мраком их постель, и Газиз, в мыслях все тщательно обдумав, уже приготовился было к долгому и трудному разговору, но жена, по обыкновению положив голову ему на руку, уютно и доверительно прижавшись лицом к его груди, тут же уснула, и он не решился ей докучать. Ладно... как- нибудь подвернется удобный случай...

Он чувствовал: отяжелела Маруар, стан заметно округлился, да и устает больше прежнего. Ей бы сейчас, пожалуй, лучше дома посидеть, поберечь себя, и никто не осудил бы за это: как-никак жена самого аулнай[1], да еще в ожидании ребеночка. Но жена поднималась до рассвета, наспех готовила чай и спешила на ферму, откуда чаще всего возвращалась лишь после вечерней дойки. На ферме — известное дело — забот полон рот, больше, чем репейников на хвосте шелудивого пса. Да и вообще разве управишься когда с колхозной работой?.. Он осторожно погладил ее распущенную косу, с волнением вдыхая привычный запах молодого женского тела. Ни тройной одеколон, ни вазелин, ни густая сметана, которыми Маруар перед сном протирала и мазала натруженные, распухшие в суставах руки, не в состоянии были перебить пропитавшую ее насквозь стойкую смесь запахов солнца, дыма и парного молока. Он живо себе представил, как одиноко и тяжко ей будет оставаться одной в их хибарке, как она будет тосковать по нему, особенно по вечерам и ночами, и почувствовал вдруг такую острую жалость и нежность к

---

[1] Искаж. аульный, так обычно называли в аулах председателя сельского совета.

ней, что знобкая дрожь прокатилась по телу и глазам стало жарко. "Утром скажу, — решил он про себя. — Как проснется, так и скажу".

Он попытался и сам уснуть, но сон не шел.

Жизнь только-только налаживалась. Сын бедного Абильсеита после долгих мытарств наконец-то становился на ноги. Живя с детства на побегушках, не имея ни опоры, ни поддержки, он к тому времени, когда уже явно наметились усы, умудрился-таки окончить пять классов аульной школы. Грамотных людей в аулах почитали и превозносили, в них всюду нуждались, но сиротская доля и неизбывная бедность успели наложить свою печать: был Газиз угловат, робок, худ и невзрачен, и взрослые даже не называли его по имени, а просто обращались — "Эй, бала!" — "Эй, малец!" Правда, со временем в зависимости от работы его называли уже то "счетовод-бала", то "секретарь-бала", то "бухгалтер-бала". Это стало надоедать. Он уехал в Кызыл-жар, поступил в педагогическое училище и, когда три года спустя вернулся в родной аул — стройный, окрепший, уверенный, в городском костюме, со стрижкой "полубокс" и даже при галстуке, — уничижительное, снисходительное "бала", наконец-то, от него отлипло. Теперь его звали непременно по имени, часто с уважительно-почтительной приставкой "еке", а школьники, как и положено, — мугаллимом-учителем.

Учительствовать ему нравилось: тяга к знанию была в аулах огромная; родители, которые едва-едва лишь недавно одолели немудреную ликбезовскую программу, а некоторым и она оказалась не под силу, больше всего на свете хотели, чтобы их дети стали образованными людьми или, как говаривали, "с открытыми глазами", такими же, как Газиз-мугаллим, сын всеми давно уже забытого Абильсеита. Ему чудилось, что выбрал он верную тропинку, обрел себя в жизни, и радовался всему новому, что происходило вокруг. Два года назад колхоз помог ему построить домик, неказистый, скромненький, ну, все же крыша над головой, а старики, войдя в его холостяцкое положение, высватали ему из аула Алка-Агаш сестру тамошнего бригадира, о которой — как стало известно — тайно грезил аульный мугаллим. Брат Маруар, верзила-Кабиден, мрачно выслушал длинные, как водится, витиеватые, с намеками и поговорками, речи стариков и по обыкновению рубанул с плеча:

— Э, ладно! Не тратьте понапрасну свое красноречие, почтенные аксакалы. Тары-бары, анау-мынау тут ни к чему. Не мною замечено: для чужой сторонушки девица рождается. Сказано: дочь — чужая дичь. А насчет калыма и не заикайтесь. Что с Газиза возьмешь? Козу поносливую?! Не те времена! Долг старшего брата я исполню, а в остальном как хотят.

В аулах как: старики решили — дело сделано. Вскоре Маруар переступила порог нового дома, снохой пришла в их аул. Через неделю после свадебного тоя приехал Кабиден, пригнал стельную корову и две овцы — подарок молодоженам. В аулах подшучивали: "Ай да Кабиден! И сестру отдал, и корову с овцами впридачу. Все наоборот! Щедр, широк, ничего не скажешь!"

Был Газиз на десять лет старше жены, и потому тихая, кроткая Маруар долгое время не могла говорить ему "ты". Бывало, спрашивала: "Вы когда придете? У вас нет сегодня собрания?" Он напускал важный вид и отвечал: "Мы придем, когда вы сготовите ужин". Оба смеялись. Они были счастливы.

Как-то Маруар, смущаясь, завела разговор о том, что хочет работать, ведь нехорошо же сидеть дома, детей пока нет и хлопот по дому немного. Газиз задумался. Уж так было принято в ауле, что жены учителей, бригадира, председателя колхоза и аулсовета не работали в колхозе, а занимались домашним хозяйством. Считалось зазорным, просто неприличным, если жены начальства работают. Он понимал: как только Маруар пойдет на ферму дояркой, в аулах начнут шушукаться по всем углам. Одни скажут: "Срам-то какой! У мугаллима, видать, совсем нет самолюбия, раз молодую жену на черную работу впряг". Другие станут злорадничать: "Значит, не в состоянии сын Абильсеита прокормить одну бабу". Третьи недоуменно поведут плечами: "Что же он, в школе хотя бы библиотекарем устроить ее не мог?!" Конечно, она откажется от своего намерения, если он того захочет. Но, подумав, сказал:

— Как хочешь. Баскарма только обрадуется.

Странно: нелегкая работа доярки доставляла ей удовольствие. Вечерами за чаем она, выслушав школьные новости, сама подробно рассказывала ему обо всем, что происходило на ферме.

Весной, робея, шепнула ему на ухо: у них, аллах даст, будет ребенок.

— Э, давно пора! — обрадовался он. — Зря, что ли, стараюсь?

— Ой, как не стыдно! — зарделась она.

— Что ж тут стыдного, айналайн? И ты немало тому способствовала. Пусть орет на весь аул наш жигит!

— Жи-и-гит! — усомнилась она, польщенная.

И в ту же весну на сессии местного совета по предложению райисполкома Газиза неожиданно для него самого выбрали председателем аулсовета. Он неохотно расстался со школой, но вскоре бесконечные обязанности аулная увлекли его, и он почувствовал себя на новой должности еще более нужным и полезным.

Жизнь в аулах текла размеренно, мирно и тихо, как воды Есиля в знойную летнюю пору. Иногда приезжал уполномоченный из района, собирал аульных активистов-бельсенды, проводил до глубокой ночи совещания в аулсовете. Иногда просачивались слухи, дескать, какой-то бешеный Китляр грозится войной, пугает народ, но никого всерьез это не волновало: Красная Армия со своими славными полководцами запросто вышибет из него дурь, обломает ему рога, пусть только сунется. Да и где этот Китляр, а где аул на берегу Есиля! Сюда ему и на белохвостом аирплане не долететь...

52321/6

И все же нежданно-негаданно обрушилась эта черная весть. Вначале даже и представить себе толком не могли в аулах, что это значит — война. Недоумевали:

— Оу, как это? Говорили, что этот самый Китляр у Сталина в тамырах ходит!

— Да, да... будто на коране клятву давал не воевать.

— Скажешь тоже — коран! Зачем пашисту коран?! Он же кафыр — иноверец.

— Ну, не на коране, так на инжиле-библии.

— Нужна пашисту библия! Он же безбожник.

— Ия, ия... Безбожники — коммунисты. Они бога не признают.

— Получается, что фашист и коммунист — как двоюродные братья.

— Тайт! Язык прикуси. Ляпаешь что попало. В Сибирь, где на собаках ездят, захотелось?!

— Значит, клятвопреступником Китляр оказался.

— Апырмай, без имана на лице, выходит.

— Какой иман? Какое лицо? У него и рожа-то вся кривая, как у джинна-шайтана... Видел на картинках? Ублюдок какой-то!

— Да, да! Ведьмой зачатый от разбойника-убийцы.

— Астафиралла!...

Разное говорили, древних батыров вспоминали, старики строили всякие догадки, мулла Елемес листал истрепанный коран. Аулы жадно ловили каждую новость, каждый слух. Все знали, кому пришла повестка, кого уже забрали на фронт, в каком селе состоялся митинг, кто пошел добровольцем.

Газиз тоже съездил в район, отвез в военкомат заявление: "Прошу отправить меня добровольно на фронт". Ему посоветовали не горячиться, всему, дескать, свое время, а дел и в аулах сейчас невпроворот: вот осенью, когда покончат с уборкой и вообще малость все уладится, тогда и видно будет. "К тому времени, может, и нужда во мне отпадет", — заметил Газиз. Райвоенком посуровел: "Э, милый, не похоже..."

Газеты приносили горестные вести. Красная Армия проявляла на фронте доблесть и отвагу, храбро сражалась с вероломными фашистами, но отступала с боями и в загадочных стратегических целях сдавала трусливым и подлым шакалам город за городом. Тревога сквозила и в сводках Совинформбюро, которые передавали из района в аулсовет по телефону.

Многие сверстники Газиза уже где-то воевали, проливали кровь, и он, просыпаясь по утрам в тихом доме, в постели рядом с женой, чувствовал мучительное угрызение совести. Ему чудилось, что аульные молодки, чьи мужья были призваны в армию, его втайне презирали за то, что он отсиживается в тылу, забавляясь юной женой. Становилось неловко, когда недавние его ученики при встрече словно с подковыркой любопытствовали: "Агай, какие новости с фронта? Скоро ли Гитлеру капут?" Он сквозь зубы повторял слова вождя: " Враг будет разбит. Победа будет за нами!"

Каждый раз, приезжая в район, он заходил в райвоенкомат, напоминал о своем заявлении. И вот вчера секретарь сельсовета привез повестку: в недельный срок сдать дела и приехать в Марьинку на сборы.

В окошко заглянула луна. В ночной тиши спросонья хрипло прокричал петух. Газиз покосился на жену, пальцем провел по ее бровям и ему показалось, что она чуть-чуть, краешком губ, сквозь сон улыбнулась. Он вздохнул. Как же

ли сказать о повестке? Маруар ведь убеждена, что его на фронт не возьмут: так втолковали ей бабы на ферме. Может, попросить баскарму или директора школы, чтобы сообщили ей?.. Тоже неудобно, еще испугается. Пожалуй, лучше сказать об этом в последний день. У него ведь в запасе целая неделя, зачем он будет заранее расстраивать ее... Дел много. Впереди зима, а дома ни дров, ни сена, и ему нужно обо всем позаботиться. "Ничего, все сделаю, — успокаивал он себя. — Не одна ведь. Как все — так и она".

Луна скрылась, за окном вновь нависла серая мгла, все затихло перед скорым рассветом. Он не заметил, как задремал, а проснулся, услышав тихий смех Маруар. Он приоткрыл глаза. Во дворе светало, в комнате по углам оседала тень. Маруар опять чуть слышно рассмеялась.

— Ты что?

Она не ответила, взяла его руку, положила себе на живот. Он почувствовал под теплой, гладкой, как шелк, кожей слабый толчок.

— Что это?

— Твой жигит... Брыкается...

— Ишь ты! Шалун, видно, будет, озорник, а?!

Они лежали тихо, как бы прислушиваясь к своим мыслям. За окном воробьи затеяли буйную возню, радуясь новому дню и своему крохотному счастью.

— Пойду, чай поставлю...

Он обнял ее за плечи.

— Полежи. Айран же есть — без чая обойдемся. И вообще тебе надобно беречься. Покажись доктору.

— Локтру? А где он?

— Э, не слыхала разве? Вчера Нуркан-ата фельдшера привез. Мне вечером Жарас сказал...

Он вспомнил про повестку, озабоченно почесал переносицу. Может, сказать... сейчас... Она насторожилась.

— Ты что какой-то бледный? Не спал? Устал?

— Нет, нет... Просто... Тебя и нашего жигита сторожил.

Он вскочил с постели, начал спешно, по давней привычке, одеваться.

— Ты вот что... Приберись, сообрази чай-пай. А я быстро сбегаю к баскарме. Дела есть.

— В такую рань?!

— А потом когда его поймаю. Он целыми днями мотается сейчас по бригадам да станам.

"... в) провести в колхозах, в которые намечено вселение, соответствующую массово-политическую разъяснительную работу среди колхозников.

9. Обязать обкомы, исполкомы облсоветов указанных областей не позднее 6 сентября с.г. сообщить Совнаркому Каз. ССР и ЦК КП(б) К в какие районы и сколько намечено вселить немцев, с указанием сколько из них вселяется в существующие колхозы и сколько расселяется на новых местах"

(Постановление Совнаркома Казахской ССР ЦК КП(б)К. 1 сентября 1941 г. Особая папка).

III

В низкой душной комнате струился сумрак. Окна были заклеены пожелтевшими газетами, в нижнем углу был оторван клочок и оттуда падал пучок ярких лучей. Гость обвел взглядом непривычное для него жилье.

Взгляд его привлек большой, обитый железными пластинами, видавший виды, облупившийся местами сундук, на котором возвышалась аккуратно сложенная горка разноцветных одеял. Ближе к входу, на небеленой плите, громоздился чумазый котел. На стене висел сотканный из крашеной пряжи мешок. Из него торчали деревянные половники, мутовки, скалки, подносы. Рядом на гвозде висела баранья шуба, огромная, ушастая меховая шапка, поверх нее были наброшены сыромятная плеть и уздечка.

Верхняя часть пола, напротив двери, была застелена домотканным паласом. Из-под огромного лоскутного одеяла в разные стороны торчали давно не мытые, потресканные ребячьи ступни. Невозможно было определить, сколько же сорванцов, точно скворчат в гнезде, спало под общим одеялом.

Давид Павлович с детства помнил разные колонистские байки о кочевых киргизах, которые неподалеку от немецких поселений обитали в войлочных юртах, ели конину и пили кобылье молоко. Вспомнил, как, бывало, детей пуга-

ни смотри, киргиз с мешком придет, умыкнет тебя, в рабство продаст или заставит овец пасти, лошадей воровать. В представлении немцев-колонистов киргизами назывались и калмыки, и башкиры, и казахи и Бог весть кто еще. Может, он и попал к таким номадам?..

Крайняя темная, как чугун, физиономия вдруг оскалилась в улыбке и блеснула агатовыми озорными глазенками в щелку. Гость сделал свирепое лицо, и голова мгновенно нырнула под одеяло. Но тут же краешек одеяла приподнялся, и она вновь чуть-чуть высунулась. Гость подмигнул озорнику. Тот показал вдруг язык и тоже лихо подмигнул. Гость рассмеялся.

— Эй, чертенок, как тебя зовут?

— А?

— Как звать, спрашиваю?

— Хе-хе... Мой — Аскер.

— А ну, подойди, Аскер.

Голопузый пострел вынырнул из-под одеяла, сел на край матраса, подтянул ситцевые цветастые штаны и, звонко цыкнув язычком, помотал головой.

— Ну, подойди, не бойся.

Малец обеими руками почесал тугой живот и опять длинно цыкнул.

— Сколько тебе лет?

Постреленок похлопал, поморгал глазами, прищурился.

— Шито?

— Хэ, "шито"?! Сколько лет, понимаешь? Лет, лет... Один, два, три, четыре...

Догадавшись, о чем спрашивал незнакомец, малец блеснул глазенками, живо растопырил пятерню, сверху выставил большой палец второй руки и растянул рот до ушей. Когда он улыбался, глаза его шельмовато сужались, пока на их месте не появлялась едва заметная прорезь. Широкий нос тоже словно бы исчезал на плоском лице, над толстыми губами зияли две черные дырки.

— Вот!

"Ну, и потешная рожица", — подумал гость, не в силах глядеть на мальца без улыбки.

— Шесть, значит, да?

— Ия, ия, — закивал головой Аскер. — Шесс...

"Что ж... Еще одно знакомство состоялось, — сам себе сказал гость. — Пора вставать".

Он оделся, убрал постель, все время чувствуя на себе пытливый взгляд Аскера.

Во дворе у самовара хлопотала старуха. Гость нарочито громко поздоровался с ней, но старуха взглянула лишь мельком и чуть пошевелила губами.

Над лесочком поднималось солнце. Внизу над Ишимом висел туман. По улице брели овцы. За ними, волоча за собой длинный прут, шел вчерашний пастушонок. "Атес-мамка нету, так сирота будешь", — вспомнил гость слова старика.

— Где хозяин?

Старуха на миг оторвалась от самовара, махнула рукой в сторону сарая.

Старик сидел на солнцепеке, на старой облезлой шкурке и, поплевывая на брусок, точил топор. Он заметил, как подходил к нему гость, но не поднял головы, ожидая, чтобы тот поздоровался первым.

— Доброе утро, дедушка!

— А, першыл! Аман, аман! — старик отложил брусок, погладил редкую бороденку. — Хорошо спал?

— Хорошо.

— Э, слава Богу. Сейчас чай пить будем.

— Мне бы в сельсовет, к председателю.

— Селсабет — потом. Чай попьешь — к председателю пойдешь.

Мимо сарая с двумя ведрами и коромыслом прошла старуха. Гость подбежал к ней, ухватился за ведро.

— Дайте, я сбегаю.

Старуха недоуменно глянула на долговязого гостя, не выпуская из рук ведра.

— Дайте, я мигом.

Старик рассмеялся.

— Ты, першыл, что? Воду баба таскайт. Аул смеяться будет.

Гость все же выхватил у старухи оба ведра и коромысло.

— Еще ведро есть?

Старуха растерянно улыбнулась, показав несколько изъеденных зубов, посмотрела на старика. Тот что-то сказал ей, и она, от удивления ущипнув себя за щеку, пошла и вынесла еще одно ведро.

— Ай, першыл-ай, — покачал головой старик. — Люди скажут: гостя на работу запрягал. Нехорошо...

Колодец находился на краю аула, недалеко от кладбища. Колодезный журавль со старым рассохшимся колесом и железками на одном конце был виден издали. На кладбище уныло торчало несколько камней-стояков с затейливой вязью. Немного поодаль, пофыркивая, хрумтел росистой травкой стреноженный жеребец. Заметив незнакомого человека, жеребец встрепенулся, запрядал ушами, уставился большим фиолетовым глазом.

Гость набрал ведро воды, разделся по пояс и, покрякивая от удовольствия, окатил себя студеной водицей. Потом медленно и долго пил прямо из ведра. Вода была прозрачна и вкусна, словно родниковая. Одной рукой поддерживая коромысло с двумя ведрами, в другую — взяв ведро побольше, гость легкой, пружинящей трусцой побежал назад. Жеребец проводил его взглядом и снова зарылся мордой в траву.

Из крайнего дома вышла молодая казашка, выпустила из хлева овец и направилась в сторону Ишима, где у кручи, рядом со старицей, находилась ферма. Долговязый незнакомый мужчина с тремя ведрами воды, должно быть, удивил молодуху. Она вдруг остановилась, сделала вид, что смотрит куда-то вдаль, начала теребить кончик белого платка. "Что это она?" — подумал гость, стараясь не сбиться с шага, чтобы не расплескать воду. Остановилась ни с того, ни с чего. Может, и в самом деле неприлично мужчине воду носить? Он исподлобья глянул на нее. Черная плюшевая безрукавка, синее до пят платье с широкими рукавами, на ногах — мягкие сапожки. Он сразу же заметил ее округлый стан. "Небось, муж воюет, а она первенца ждет",— промелькнула догадка. Но почему она стоит? Всего несколько шагов разделяло их, и он отчетливо видел ее смуглое лицо, опущенные глаза, полные улыбчивые губы, мягкий, нежный изгиб между подбородком и шеей. Он вспомнил жену и почувствовал горячее удушье в горле. На мгновенье ведра показались тяжелее. Он прошел скорее мимо и только тогда услышал легкое шуршанье ее сапог по траве. "Странно. Может, такой обычай..." И фельдшер озабоченно подумал, как нелегко ему будет работать здесь, в этих аулах, среди незнакомых,

непонятных людей, без знания их языка, обычаев и нравов. Малейшая оплошность, неуместно сказанное слово — и его не поймут, от него отвернутся. А какое это лечение, если тебя чураются, если не верят? Обратится ли в свой срок к нему вот эта женщина? Или предпочтет какую-нибудь доморощенную повивальную бабку? И вообще как он будет разговаривать с больными? Подыскать переводчика из учеников? Кто станет говорить о своих хворостях при постороннем? Может, сегодня же податься в район, попросить, чтоб направили его в русские села? Он усмехнулся. Ему ли выбирать?.. Нет, нет, хватит об этом. Хватит!

Старика возле сарая не было. Аскер, опустившись на одно колено, ловко рубил тал. Трое малышей, мал-мала меньше, в одинаково цветастых ситцевых штанах, выстроились в ряд и, распустив шнурки, состязались, кто дальше и круче запустит струйку. Аскер что-то сказал малышам, и те мигом обернулись, держа обеими руками штаны и выставив голые, в подтеках животы. Самый младший, неуклюжий карапуз, испуганно отпрянул, всплеснул ручонками, и штаны, к еще большему его конфузу, скатились к ногам. Гость улыбнулся, поставил ведра рядом с жарко пыхтевшим самоваром. Из сарая с медным чайником в руке вышел старик.

— Айда, першыл, кушать.

Старуха занесла самовар в шошалу — так называлось летнее, из прутьев сплетенное, помещение, за ней кинулись малыши. Неуклюжий карапуз с трудом перекатился через порог, оставив свалившиеся штанишки у входа. Видно, без них ему было удобней.

Здесь царил простор. В середине на кошме стоял круглый, низенький столик. Старик сел, привычно скрестив под себя ноги, а долговязый гость никак не мог пристроиться. Сел боком — неудобно. Опустился по-верблюжьи на корточки — тоже плохо. Сунул было ноги под столик — едва не опрокинул самовар. Тогда он улегся на бок, подмяв подушку, — ноги заняли половину шошалы. Гость покраснел. Старуха, ломая лепешку, прицыкнула на расхохотавшихся малышей, но и сама слегка отвернулась, прикрыла кончиком жаулыка рот. Аскер приволок откуда-то скамеечку. Гость оседлал ее, и его колени оказались на уровне ушей. Малыши давились от смеха.

— Ай, першыл... — захихикал старик. — Вот так надо...

Гость, помогая руками, сложил крестом ноги, поджал их, но уже через минуту почувствовал, что они затекают. Тогда он опять опустился на колени, возвышаясь надо всеми, как индюк среди цыплят.

Старуха разливала чай. Делала она это очень медленно, плавно, с заученными движениями. Сначала выполаскивала пиалу, потом наливала из маленького чайника густую, запашистую заварку, потом наливала ложку сливок, доливала кипятку из самовара, опять добавляла чуть-чуть заварки и лишь после этого протягивала пиалу старику или гостю. Старик макал лепешку в растопленное масло и степенно потягивал из маленькой пиалки. Одним глазом он все время поглядывал на малышей и частенько прибарматывал:

— Ай, айналайн-ай...

Малыши рядком, по старшинству, уселись на двух шкурах у громоздкого сусека. Аскер налил им из кадки айран, квашеного молока, отломил от лепехи по куску. Внимание малышей полностью переключилось на еду, и гость, наконец-то, сосчитал, что их с двумя девочками было шестеро. Ему показались они все на одно лицо. Самый младший мгновенно измазался до ушей. Он ел жадно, торопливо, словно боясь отстать от братьев. Он был явным любимчиком дедушки. Старик, глядя на него, умиленно тянул: "Айналаин-а-а-ай..."

— Кушай, кушай...

Хозяин придвинул гостю горсть желтеньких комочков.

— Что это?

— Это? — Старик лукаво усмехнулся. — Это казахский мампаси.

— Мампаси? Конфеты, что ли?

— Ия, ия, кампит. Старуха делает.

Гость бросил комочек в рот, пожевал-похрумтел. Действительно, сладко и во рту тает, особенно если запивать горячим чаем.

— Иримшик называется, — пояснил старик. — Творог сушеный.

Старуха, довольная, что гость заинтересовался ее кушаньем, высыпала из мешочка прямо на стол еще кучку иримшика.

— Эти все — ваши внуки, да?

— Ия... — старик рассиял лицом. — Вон те трое, — он кивнул бородой, — моего сына Сакена баранчуки. Сакен — тракторист, сейчас метеес работает. Уборку кончит — домой приедет. Их мамки нету. Баранчук таскал и помирал... А эти — Накена баранчуки. Накен на фронт пошел, а марджа его, моя сноха, на ферме. Дома мало бывает. Старуха одна их пасет. А это Аскер, мой младший, последыш.

— А сколько же вам лет?

— Лет аллах знает. Не считал.

Старуха, должно быть, догадывалась, о чем шла речь. Гость ей нравился: скромный, вежливый, о детях спрашивает. Она отломила еще несколько кусков от лепешки, разбросила по столу, придвинула гостю тарелку со сметаной.

— Кушай, кушай, — потчевал старик.

После чая старик пробормотал короткую молитву, огладил лицо ладонями. То же повторили старуха и малыши. Потом они вышли на воздух. Старик показал на деревянный дом неподалеку от школы.

— Там, перпыл, контор...

IV

Два подрола — Кабай и Туяк — поселились недалеко от Есиля по обе стороны неглубокой лощины. Вдоль лощины ровным рядком росли березки, служившие как бы межой между потомками двух родов. Половина версты, разделявшая три десятка семей, не препятствовала, однако, тому, чтобы аул назывался сдвоенным именем "Кабай-Туяк". Жили с самого начала оседлости мирно, ибо делить было нечего: божьего простора хватало всем. А позже, когда организовался колхоз Кызыл-ту, слова Кабай и Туяк произносились все реже, многие породнились, появились новые дома, расстояние между двумя частями аула неумолимо сокращалось, и только мальчишки иногда озорства ради устраивали в лощине, разделившись на два лагеря, безобидные баталии. В конце двадцатых годов, после разных переворотов и смут, раскаты которых докатывались хоть и приглушенно до степного захолустья, на широком пустыре в середине аула срубили из сосен просторную школу, а чуть поодаль — еще один

деревянный дом, в котором разместился аулсовет, а потом и правление колхоза. Вскоре школа стала семилетней, а в канун войны — единственной казахской средней школой на весь Октябрьский район. Незаметно "Кызыл-ту" превратился в самый большой аул во всей округе.

Широким, энергичным шагом шел фельдшер по безлюдной улице, внимательно поглядывал вокруг. Среди невзрачных, приземистых домиков, очень похожих друг на друга, выделялся один — высокий, деревянный, островерхий, с затейливым карнизом, крашенными ставнями и с палисадником. За домом тянулся огород, из-за плетня тяжело нависали золотистые шляпки подсолнуха. На лавочке сидела толстая, рыхлая старуха в белом тюрбане и, приставив ладонь ко лбу, долго разглядывала незнакомого прохожего.

Из конторы доносилась музыка. Высокий женский голос пел в сопровождении оркестра что-то разудалое, радостное. "Гак-ку... Гак-ку!" — самозабвенно заливалась певица. И здесь было безлюдно.

Фельдшер вошел в боковую приоткрытую дверь, остановился у порога. На скамейке у окна сидела девушка лет семнадцати и точила на бруске патефонные иголки. На другом конце скамейки дребезжал, надрывался вконец охрипший черный патефон. "Гак-ку... Гак-ку..." — задорно подпевала девушка и в такт песни покачивала головой. На грубых стеллажах валялись изрядно потрепанные книги. Песня кончилась, девушка, привычно откинув толстую косу за спину, перевернула пластинку и стала подпевать в унисон:

"Элигай, элигай... а-ай".

— Здравствуйте!

Девушка вздрогнула, увидев незнакомца, неслышно выросшего у двери, и сняла мембрану.

— Где здесь председатель сельсовета?

Девушка смутилась, опустила глаза.

— Скоро придет.

Фельдшер подошел к окну. Девушка чуть отодвинулась и вновь принялась точить иголки. На полу лежала стопка заигранных, пыльных пластинок и большая серая папка с тисненными буквами: "Речь Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР..."

— А вы кто?

— Я? — Девушка встрепенулась. — Я... это... библиотекарь. Зайра.

— Сайра? — переспросил долговязый с нажимом на первый слог. — Хорошо.

На ней была розовая плюшевая безрукавка, вся украшенная впереди значками: ГТО первой и второй ступени, Ворошиловский стрелок, Осоавиахим, КИМ, ромбик парашютиста.

— О, много значков, — улыбнулся незнакомец.

Он также обладал этими значками, гордился ими, ибо заслужил их в армии немалым усердием. Но каким образом достигла их эта смазливая девчонка в казахском ауле? Неужели она и спортсменка, и стрелок, и парашютистка?

— Мало... — Девушка вздохнула. — В аулах больше нету...

Рядом хлопнула дверь.

— Председатель пришел, — сказала Зайра и впервые прямо взглянула на долговязого. — Вон та дверь.

Коротко остриженный, плотный казах в помятом костюме, при галстуке, опустившись на колени, перебирал папки в шкафу. Заметив вошедшего, легко поднялся, отряхнул штанины. Густые, ухоженные усики очень шли к его смуглому, строгому лицу. Глаза были усталые, с желтизной.

— Меня прислали к вам работать. Я фельдшер.

— А! Знаю, знаю... — Мужчина приветливо улыбнулся. — Узун-кулак давно все аулы оповестил.

— Усунь-гулаг... это кто?

— Узун-кулак — это Длинное Ухо, — загадочно ответил мужчина.

Фельдшер не понял.

— Вот направление и приказ райздрава.

Председатель, попеременно поглаживая указательным пальцем кончики усов, просмотрел бумаги, нахмурился, взглянул искоса.

— Понятно... э-э...

— Давид Павлович, — подсказал фельдшер.

— Да, да, Давид Павлович... — Председатель опять улыбнулся и было в его улыбке что-то доброе, располагающее к себе. — Давид... По-казахски получается Даут, а? Ну, а я просто Газиз. — Он достал из ящика письменного стола два ключа. — Вот. Принимайте медпункт и...

— Как?! — удивился фельдшер. — Нужно же по форме, акт составить ...

— К чему акты-макты? — Председатель поморщился. — Что принимать-то?... Ну, ладно. Пойдемьте.

У входа им встретился громадного роста старик с окладистой бурой бородой. Из-под насупленных бровей глядели глубокие серые глаза. Председатель учтиво подал обе руки. Бородач пророкотал:

— Алейкум салем...

Старик был в просторных, изрядно замызганных и облысевших вельветовых штанах и камзоле, в сапогах, но в его осанке, дремучей бороде, даже в речи неуловимо чувствовалось что-то такое, что отличало его от старика-почтальона. О чем они говорили, фельдшер не понял, но чувствовал на себе пристальный, пытливый взгляд великана с тяжелым посохом в руке.

— Ия, ия, — басил старик и вдруг повернулся к фельдшеру, протянул широченную, в черных мозолях ладонь. — Очень рад, — сказал он чисто по-русски. — Худо без медицины в аулах. Худо.

И, ударив посохом, направился в контору.

Шли они молча. Фельдшер чувствовал, что председатель озабочен, задумчив. Но молчать было тягостно.

— Кто этот старик?

— А! — очнулся Газиз. — Ягурин Есильбай. Кузнец.

— Любопытная фигура. Казах, выходит?

— Казах. Но когда-то был русский.

— Как?!

Газиз не ответил, посмотрел в сторону Ишима, туда, где темнела юрта и паслось стадо коров, и вздохнул. Тихо, пусто было в ауле. Только на пустыре ватага мальчишек играла в бабки. Среди них фельдшер увидел Аскера с братьями. Аскер осклабился, явно гордясь своим знакомством.

— Сами откуда?

— Из Саратовской области.

— А... Саратов — Сары-тау, — заметил Газиз.

Медпункт стоял немного на отшибе. Приличный деревянный дом, покрытый дерном. "К зиме придется помазать и побелить", — отметил про себя фельдшер. Замок заржавел и отомкнуть его удалось не сразу. В маленькой прихожей-

ожидальне стояла печка-голландка, вдоль стены — длинная скамейка, на стене — вешалка и густо засиженный мухами плакат: "Уничтожайте мух!" Пахло пылью, нежитью.

Открыли приемную, и в нос сразу же ударил давний больничный запах вперемешку с сыростью. Газиз брезгливо поморщился и сел на деревянную кушетку.

Фельдшер с порога оглядел комнату. Большой шкаф, закрытый на маленький никелированный замочек. Длинный узкий стол. Тумбочка со стопкой книг. Письменный стол с чернильным прибором и регистрационным журналом. Умывальник с медным тазом на табуретке. Два стула. "Что ж... вполне прилично", — решил фельдшер и подошел к шкафу. Полки почти пустели: несколько пузырьков, бутылка с йодом, с глицерином, пузырек с марганцовкой, коробка с порошками и брикетами, несколько бинтов, две-три пачки ваты, шприц, иголки, грелка, аптечные весы с крохотными белыми гирьками в деревянной колодке, кружка Эсмарха, внизу, как на параде, чинно выстроились головастые банки. Он быстро сосчитал их — двенадцать штук.

— Ну, что? Спирту не осталось? — усмехнулся Газиз.

— Не вижу.

— А марля есть?

— Клочок.

— Дояркам бы надо, молоко цедить.

Фельдшер взял пук ваты, намочил глицерином, посыпал несколько кристаллов марганцовки, завернул потуже и положил масляный пучок на умывальник. Через минуту вата задымилась и вспыхнула оранжевым огнем.

— О, фокус!

Последняя запись в регистрационном журнале была помечена 28 июля 1941 года. В тот день на приеме были всего трое. "Акназаров Бернияз, — прочитал фельдшер, — с. Мектеп. 38 лет. Трихофития". Он снял с гвоздика у стола халат, примерил его. Халат был явно мал, и Газиз невольно рассмеялся.

— Ну, все ясно?.. А вот это — квартира.

Газиз толкнул дверь боковой комнаты. Здесь, кроме плиты и железной кровати, покрытой тощим матрацем, ничего не было.

— Вот и все ваше хозяйство, Даут. Акт о приеме составите сами. Завтра подпишу. Кстати, с утра будет и председатель колхоза. Все обсудим, обговорим. Трудно будет поначалу, потом привыкнете. Или уедете, как многие до вас... Семья есть?

— Есть.

— Где?

Фельдшер ответил не сразу.

— Там осталась... на Волге.

— Хм-м... Семья есть, да не здесь, значит. Один будете жить?

— Пока — да.

— Тогда идите к кому-нибудь на квартиру. Хотя бы к старику Есильбаю. Старики одни остались. Можно б было и ко мне, если бы...

— Что "если"?

— Если бы не одно обстоятельство.

— Спасибо. Поживу здесь, при медпункте.

Газиз дернул плечом.

— Как знаете... Устраивайтесь. Завтра поговорим. Дровами обеспечим. Ремонт, может, еще успеем сделать. Будет возможность — колхоз лошадку даст. Не робейте!

Председатель аулсовета вышел, а фельдшер опустился на кровать и, схватившись за голову, задумался.

V

А думать было о чем...

Лихорадка последних дней вроде как улеглась и начиналась сплошная неопределенность. Ясно было только одно: он, спецпереселенец Давид Эрлих, отныне является заведующим фельдшерско-акушерским пунктом и в его радиусе медицинского обслуживания находится то ли семь, то ли восемь казахских населенных пунктов, которых он пока не только в глаза не видел, но даже не запомнил их названия. На место назначения он прибыл, медпункт принял, с жильем более-менее определился.

А далее — головоломка со сплошными неизвестными. С чего начать? На что надеяться? В ком искать опору? Как мало-мальски обустроить быт? Зима на носу, и в этих кра-

ях, по слухам, она суровая и затяжная. А его обмундирование — командирская шинель, шлем-буденновка, сапоги, пара белья.

Другая неясность — сколько он здесь пробудет. На что вообще рассчитывать? В любое время его могут мобилизовать на что и куда угодно. Возражать он, будучи спецпереселенцем в военное время, да еще членом ВКП(б), которого странным образом не лишили партбилета, понятно, не посмеет. Значит, личной свободы и выбора он лишен напрочь. Остается одно: беспрекословно выполнять любые поручения власти. Раз ему оставили партбилет, значит, доверяют, хоть он и спецпереселенец. А коли доверяют большой медицинский участок в глухом захолустном краю, следовательно, не исключено, что его в любое время могут через военкомат призвать на военную службу по медицинской части. Возьмут да и отправят в какой-нибудь полевой лазарет. Запросто. Пока не кончится война, ты сам себе не принадлежишь, это ясно, как дважды два.

Особенно худо, что он здесь очутился один, как перст. И постоянно будет терзаться, правильно ли он поступил, согласившись с Лидой оставить ее до поры до времени с сынишкой Арно там, в отчем крае, на Волге, в Энгельсе.

Впрочем, что значит "согласившись с Лидой"? Будто она нуждалась в его согласии. Фельдшер вздохнул. Отношения с женой в последние годы явно не складывались. Намечалось странное, непостижимое отчуждение, начинавшееся — он для себя это давно уяснил — с середины 1938 года, когда его нежданно-негаданно отчислили из летной школы, отлучили от военной службы, отправили в запас. Это был, пожалуй, самый тяжелый момент в его жизни. За семь лет службы в РККА он так привык к строгому распорядку быта и обязанностей, к атрибутам полупоходной жизни, к положению удачливого, здорового телом и духом, лейтенанта медицинской службы, что ни о каких переменах и не мечтал. Он с удовольствием носил саму форму — гимнастерку, галифе, сапоги с блестящими голенищами, портупею, любовался ромбами в петлицах и, будучи рослым, стройным, поджарым, ловким, ловил на себе восхищенные взгляды рядовых граждан и гражданок. Когда он появлялся в родном селе во всем великолепии армейской формы со множеством

значков отличий на широкой груди, многочисленная родня млела от восторга. "Ты гляди-ка, — говаривали старшие в селе, — как высоко взметнул наш долговязый Давидка, вчерашний деревенский конюх, бригадный недотепа-кашевар, а?! И руссиш шпарит, как на "модершпроух"!" И девки-молодки судачили: "А какую он себе фрау отхватил! Русскую, городскую. Стриженную, в беретке, в туфельках на высоких каблучках".

И Лида — он это видел, знал — гордилась своим мужем. И, приезжая с ним в его родное, чисто немецкое село, старалась понравиться родне мужа и — особенно — его матери, строгой, сухой и скупой аскетичке-лютеранке. Та почему-то упорно называла невестку не по имени, а просто — "Ди руссе-мачка", и в этом чувствовалась явная насмешка, хотя, как уверял ее муж, это означало всего-навсего "русская матушка" — так в немецких селах Поволжья называли всех русских женщин. Старая мать не жаловала русскую невестку. И говорить с ней не могла, и еще раздражал ее "русский дух". Она говорила, что немки и пахнут по-другому — тестом, молоком, квашеной капустой, чем-то искони родным, привычным, а городская невестка, мол, пахнет совсем не так. Над суждениями истовой лютеранки в селе посмеивались, случалось, придирчиво принюхивались к Лиде, улавливая лишь диковинную смесь аромата духов, пудры и губной помады. И вслед за свекровью все в селе — от мала до велика — говорили о ней — "унзере руссе-мачка", и хотя Лиде льстило это "унзере" — "наша", но "руссе-мачкой" ей никак не хотелось быть. Она на потеху сельчан выучила ворох немецких фраз и даже сына-первенца назвала по прихоти мужа и свекрови немецким именем Арно, но для мужниной родни она так и осталась "руссе-мачкой", и в этой кличке ей неизменно чудилось почти нескрываемое превосходство (господи, в чем?!) бесчисленных деревенских Амалий, Лизбет, Катрин, Маргарит.

То, что муж в 1938 году был уволен из рядов РККА, потрясло Лиду. Она обостренным женским чутьем сразу сообразила, что рушится привычный уклад командирского быта. Это означало, что предстояло покинуть летную школу, расстаться с приличным и престижным командирским довольствием, с клубом командирских жен, со всей ухоженной,

удобно регламентированной, культурной и сравнительно обеспеченной жизнью, с детской площадкой с качелями, каруселями, деревянными игрушечными домиками, с разноплеменной детворой, среди которой так вольготно чувствовал себя подрастающий Арно.

Лидия Истратова, пригоженькая медицинская сестра, дочь городского учителя истории, мгновенно смекнула, что ее благоверный, тоже растерявшийся после неожиданного увольнения, скорей всего станет рядовым "фершалом" в немецком захолустье, может, даже в своей родной деревне, среди чуждой ей его родни, где вся ее "привилегия" — быть "руссе-мачкой" неудачника-мужа. Это она почувствовала особенно остро и болезненно. А тут еще отец усугубил ее сомнения.

— Замечаешь, дочка, кого увольняют из рядов Красной Армии?

— Давид говорил, многих.

— Верно, Лидочка... Многих. И главным образом, немцев. Скажу тебе: плохой признак. И скрывается за этим бо-о-льшая политика.

— Что за политика, папа?

— Скверная. И для твоего Давида, и для тебя, и для нашего Арношки.

— Полагаешь?

— Да! У меня на эти штучки нюх собачий. Такое на моем веку уже было. Помяни мои слова...

Позже, когда Лида доверительно передала разговор с отцом мужу, тот, задумавшись, только и сказал:

— Твой отец, как всегда, прав. Но лучше бы ты об этом не говорила.

— Почему?

— Есть вещи столь деликатные, о которых лучше помалкивать.

Именно с этого момента и пробежал холодок между супругами. С этого времени и пошла затяжная полоса неудач.

Два месяца после увольнения они жили в селе у матери в большом, но уже ветхом деревянном доме. Давид ходил подавленный, выбитый из колеи. Он и сам замечал: немцев, действительно, методично убирали из армии. Особенно это касалось командиров. Высокие чины немецкой националь-

ности вообще исчезали бесследно. На Украине, в Крыму, на Кавказе сокращались или вовсе закрывались немецкие школы, техникумы, вузовские отделения. Директора и преподаватели институтов и училищ в городах автономии немцев Поволжья без конца менялись. Непонятная подозрительность ко всему немецкому витала в воздухе.

Сколько тягостных дум передумал про себя Давид за эти два месяца! Внешне он держался спокойно. Родичам говорил, что находится в отпуске. С братом Вильгельмом, ветеринаром, разъезжал по бригадам, с другом детства, недавним политработником РККА Вормом ходил на охоту, с младшим братом Христьяном впрок заготовил топку из соломы и навоза, в колхозном клубе играл в струнном оркестре, ставил деревенским старухам банки, устраивал велосипедные гонки с деревенскими комсомольцами, но мысли путались и на душе было муторно.

Лида раздражалась по всяким пустякам. Она изнывала в деревне от безделья. Ни деревенские заботы, ни воскресные праздники с песнями, кухами и брецелями, куриной лапшой — нудельзуппе, ни бабьи пересуды, ни немецкие обряды, простодушные манеры и непонятные ей шутки и деревенские дразнилки, ни духовой оркестр, ни школьные вечера с непременными гимнастическими пирамидами, пионерскими шествиями — ничего ее не прельщало. Ее раздражало даже то, что Арно начал бойко болтать по-немецки, играть с чумазой деревенской детворой, со всеми этими белобрысыми, конопатыми, рыжими гансами, фрицами, карлушками, эммануилами. Ночами донимала Давида:

— Уедем отсюда. Ну, что ты здесь нашел? Сколько можно? И Арно, видишь, простужается без конца. Надо же как-то устроиться! Не век же в этой дыре торчать.

Он молчал, чувствовал, как в нем закипает глухая неприязнь к ее безапелляционным словам и неуместным сетованиям, а про себя, случалось, думал: "Что бы ты понимала, руссе-мачка?!" Впервые в эти месяцы он явственно ощутил, что есть столь интимные, деликатные, тонкие вопросы, которые он никогда и ни за что не сможет с предельной искренностью и доверительностью обсуждать со своей русской женой. Это открытие ошеломило его. Не всем он мог с ней откровенно делиться. Не всякую боль он мог ей дове-

рять. Большая часть его существа оставалась для жены чуждой. Он понял, что Лида из тех женщин, которая способна быть женой только в благополучное время и только удачливому мужу.

Ради Лиды он устроился санитарным врачом в селе Солянка, где преимущественно жили русские, украинцы, татары. Но и там ей не понравилось: неуютно, бестолково, скудно, бедно. Здесь никто не называл ее "руссе-мачкой", а наоборот, "фрау Эрлих", что ее бесило еще больше. И постоянно она твердила, что нет подходящей среды для воспитания Арно — ее нежного городского мальчика с утонченными манерами, в галстуке-бабочке и белоснежной манишке. Ей нравился не санитарный врач какого-то задрипанного села, а только санинструктор летной школы города Энгельса в кругу статных, уверенных в себе, ладных командиров Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Но Давид Эрлих отныне им не был. И служить в РККА ему и его соплеменникам с некоторых пор не очень-то предписывалось. И с этим Лидочка Истратова, дочь учителя истории, должна была волей-неволей мириться.

Потом Давида перевели заведующим лечебной частью на станции Минус, но туда Лидочку невозможно было заманить никаким калачом. Пока Давид мыкался по случайным квартирам, она предпочитала жить в уютном отчем доме, в сытости и холе.

Узнав — опять-таки от своего отца — о злополучном указе о выселении немцев, она примчалась из города в кантонный центр, взвинченная, встревоженная, но для долгих разговоров и выяснения отношений времени оказалось в обрез. Давид, осунувшийся, заброшенный какой-то, по заданию кантkома срочно выезжал в села, а у Лиды, как выяснилось, уже было готовое решение.

— Папа вычитал положение о выселении и нашел пункт, по которому русская жена имеет право не следовать за мужем-немцем. Нет, нет... ты только правильно меня пойми. И согласись, Давид, неразумно, все бросив, с бухты-барахты уезжать неизвестно куда. Понимаешь? Ведь нигде никто хоромы для нас не уготовил. Сибирь и Казахстан, куда вас выселяют, — не рай. Зачем мне и Арношке рисковать, не так ли? И как хорошо, что я осталась при своей фамилии. Нельзя упустить такую возможность. Верно?

— Ну?!...

— Мы с Арношкой будем жить, как прежде, у родителей, а ты... ты... еще неизвестно, как все обернется... устроишься, дашь нам знать... тогда... тогда... Словом, так будет лучше. Нечего горячку пороть. Понимаешь?... Ну, что молчишь?

— Да, говори, говори... Только покороче!

— Я уже все сказала... Зачем нам всем с места срываться? Ну, никакого резону. Раз есть такая возможность. Ты поезжай со своими... Может, там, на новом месте, тебя сразу и армию призовут. Вполне может статься. А нас тогда куда?.. Снова через всю страну назад тащиться? В военное-то время?! Ну, сам подумай. Вот и отец говорит: переждать надо. Пе-ре-ждать!...

— Выходит, вы с отцом все за меня решили?

— Не сердись, прошу тебя. Надо же по-разумному. Как лучше.

— Значит, меня, как собаку, выдворить — по-разумному? Я, значит, не в счет?!

— Ты же мужчина, Давид! Привык... Тебе же и легче будет. Со своими... без обузы.

Он молчал, подавливая в себе ярость. Потом глухо проронил:

— Раз надумала сигануть в кусты, могла бы хоть напоследок Арно прихватить.

— Господи, ты же видел его недавно. К чему эти сантименты? Зачем все усложнять-то? Мальчика травмировать?

В синих ее глазах плескались невинность и бесстыдство. Какая досада, что нет времени, что он сейчас точно в ловушке, иначе проветрил бы ей малость мозги. Ишь, как ловко все рассудила! Получается, о нем же и заботится.

— Прощай, руссе-мачка! — сказал он с обидой.

Лида побледнела. Из его уст она услышала это впервые.

Так нелепо — в досаде и спешке — и расстались.

... Теперь, сидя на продавленной казенной койке в пустой комнатушке при медпункте в глухом казахском ауле на берегу степной реки, он вспоминал все подробности той последней встречи с женой и те сумбурные, суматошливые дни перед выселением из отчего края и подумал с горечью: а, может, действительно по-разумному поступила Лида, остав-

шись с сыном дома? Что бы он сейчас с ними делал? Ни кола, ни двора... Одни, как на острове... По крайней мере он может быть спокойным за них... Они в тепле, в сытости, под родительским призором. А он?... Что он?... Ему, по всему, еще много горя хлебать.

Но как жить? С чего начать? Как мало-мальски наладить житье-бытье? Где и как найти силы для работы, для исполнения ниспосланного судьбой долга?

Он усмехнулся про себя: эх, бедолага, странник, пилигрим, немец-спецпереселенец, перекати-поле, фершал-першыл, куда тебя занесло?.. Куда?.. Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein...

VI

— Да, да... пожалуйста!

"Вот и первый посетитель", — мелькнуло в голове.

Вошел Есильбай, и фельдшер опять удивился колоритной фигуре старика. Он прислонил посох к косяку, грузно опустился на стул.

— Обживаетесь?

— Понемногу.

— Уже успели и порядок навести, а?

Действительно, приемная была проветрена, пол вымыт. Пахло хлоркой. На длинном столе ровным рядком стояли аккуратно протертые пузырьки и бутылочки. Фельдшер что-то чертил за письменным столом. Есильбай одобрительно покрякал, пятерней расчесал дремучую бороду.

— Жалуетесь на что-нибудь?

— Вообще-то поясница побаливает. Прострел замучил, язви его! Может, банки помогут?

— Что ж... раздевайтесь. Ложитесь на кушетку.

— Прямо сейчас?

— А что? Минут двадцать полежите под банками — полегчает.

— Потом... Тут есть такой — Сеит-ходжа. Горлодер. Пырнул себя косой по ноге и теперь ходить не может.

— Когда это случилось?

— Позавчера, кажись. Еле, говорит, кровь остановил.

Фельдшер схватил аптечку, свернул халат.

— Пойдемте!

Старик шагал широко, тыкал посохом вокруг, бурчал в бороду.

— Здесь директор школы живет. Жанахмет. Запомните. Здесь — Абу, бригадир. Вон Тайшик. Это общежитие: школьники Коктерека живут. Здесь — баскарма. Алибай.

— А сами тут давно живете?

Есильбай вскинул посох, с гордостью сказал:

— Это место для села я выбирал. И первый дом поставил здесь — я! Вон — видел?

— Еще утром. Самый красивый дом, наверное.

— Да!.. А вот и Сеит-ходжи хата.

Единственная комната была разделена на две части: в верхней, напротив двери, пол был деревянный, некрашеный, в нижней — земляной. Сеит-ходжа, усатый, бритоголовый, коренастый, как коряга, лежал на толстых одеялах, обложенный подушками, и потягивал из чаши кумыс. Увидев гостей, жестом указал на палас у простенка. Мальчик, сидевший у изголовья, поспешно вышел.

— Ты першыл? — спросил Сеит-ходжа. Голос его был резкий, жестяной. — Хорошо лечишь?

— Покажите ногу.

Фельдшер откинул одеяло и обомлел. Толстая, волосатая нога Сеит-ходжи была обмотана грязными тряпками. Он размотал их и еще больше удивился: к ране присох клочок паленой кошмы. От нее шел нехороший запах.

— Безобразие! — сказал фельдшер, отшвырнув тряпки. — Как так можно?

— Ни койя!.. Кошма лучше, чем твой бинт-минт.

— А если заражение?

— Что-о?

Есильбай объяснил ему по-казахски. Сеит-ходжа презрительно сплюнул.

— Ни койя! Казах всегда так делает. А что делает казах, то правильно.

Мальчик поставил на скатерку две чаши с кумысом.

Рана запеклась кровью, кожа вокруг вздулась, посинела. На бритой голове Сеит-ходжи блестели бисеринки пота.

— Болит?

— Мал-мала.

— Надо укол сделать.

— Какой укол? — Сеит-ходжа приподнялся. — Зачем укол? Не надо. Я боюсь.

— Хэ, маленький!

— Шайтана не боюсь, баскарму не боюсь, бабы не боюсь — укола боюсь! Перевязку сделай — и ладно.

— На всякий случай укол сделаем. Вчера надо было.

— Брось, тамыр! — решительно сказал Сеит-ходжа. — Бабам сделай укол, а мне не надо. Мой не баба!

И, довольный своей шуткой, захохотал утробно.

Фельдшер тщательно обработал рану, сделал перевязку, посоветовал лежать и ни в коем случае не заниматься самолечением.

— Тогда справку дай. А то баскарма скажет: дезертир. У него все дезертиры.

Справку Сеит-ходжа сложил и сунул под подушку.

— Кумыс пей, тамыр.

Гость ополовинул чашу, поставил на скатерку.

Сеит-ходжа насупился.

— Плохая примета. Марджа не родит тебе сына. Все выпей!

— А у меня есть сын.

— Один сын — чепуха. Пять надо. Десять надо!

Фельдшер пожал плечом и последовал примеру Есильбая: опустошил через силу литровую чашу.

— Каждый день приходи кумыс пить, — сказал Сеит-ходжа.

Кумыс был настоенный, хмельной. Сухое лицо фельдшера порозовело, глаза заблестели, голова приятно кружилась.

До вечера водил Есильбай фельдшера по аулу. Старика встречали везде почтительно, усаживая на почетное место, поддакивали каждому его слову. На фельдшера смотрели с любопытством, но о болезнях своих говорили неохотно и неопределенно. И если бы не Есильбай, фельдшер редко с кем мог бы вообще говорить. Старик вызвался не только толмачить, он знал все о каждом аулчанине. Фельдшер записывал в тетрадь всех детей аула до четырнадцати лет, и когда случалось, что сами родители не точно помнили, в каком году родились их дети, Есильбай, оглаживая бороду,

глухо басил: "Он родился, когда сгорела мельница. Значит, двенадцать лет". "Она родилась в последний джут. Пиши — восемь лет". "А этот появился на свет, когда Тайшика кобылу волки загрызли. Пять лет". И родители согласно кивали головами: "Ия, ия. Дурыс. Правильно". Но Есильбай не только определял возраст, но и ставил диагнозы. Фельдшер не успевал осматривать больных или спросить о чем-либо, как старик уже изрекал: "лишай", "чахотка", "трахома", "ревматизм", "чесотка" и при этом признаки этих болезней были настолько явственны, что опровергать старика не приходилось.

— Откуда, дедушка, вы все это знаете? Сами болели?

— Нет. Лихоманка, бывало, схватывала в молодости, а так Бог миловал.

— А дети?

— Дети на кладбище покоятся. Все шестеро...

Фельдшер глянул на старика и смутился.

К вечеру они обошли почти все дома. Солнце еще не скрылось за тугаем, а с верховья, из лесов, уже надвигались сумерки. Из-за косогора поднялась пыль: с выпаса возвращалось стадо.

— Дедушка, а вы и в самом деле Есильбай?

— Уже сорок пять лет.

— А до этого?

— До этого был Егором.

— Как же это случилось?

— Э, долгая история... Время будет — зайди. Расскажу.

У медпункта его поджидал Аскер. Подошел смело и шмыгнул носом.

— Першыл, ата приходи сказал.

Почтальон, видно, только что приехал: кобылка, взмокшая и еще не распряженная, стояла у коновязи. Старик возлежал в шошале, подмяв под бок подушку. На треноге булькал казан, из-под деревянной крышки клубился пар. На шкурке, очищенной от мездры, старуха раскатывала тесто.

Фельдшер опустился на кошму, подогнул колени.

— Ия, першыл, говори, что делал...

Старик слушал, отрешенно теребил бородку, изредка взглядывал в сторону казана.

— При медпункте решил жить?

— Конечно, удобнее.

— Одному плохо. Скучно.

Старуха, раскатав тесто, вытащила из казана дымящиеся куски мяса, подкинула в огонь мелко нарубленный сухой гал. Старик швырнул подушку к стенке, сел, ловко скрестив под себя ноги.

— А у вас какие новости?

— Э-э... — не сразу ответил старик. — Нехорошие новости. Ездил в МТС, к Сакену. Тракторов мало, трактористов мало, когда уборку кончат — шайтан знает. Три месяца прошло, а от Накена только одно письмо было. Давно... Почему так, знаешь? Этот Керман-Китляр сильный, да?

— Не знаю, дедушка.

— Как не знаешь? Немыс немыса должен знать!

— Гитлер не немец. Он фашист!

Старый почтальон помрачнел. Складным ножиком молча нарезал на мелкие кусочки мясо, запихнул себе в рот горсть, жестом пригласил гостя есть. Фельдшер поерзал, двумя пальцами взял с краешка плоской деревянной чаши кусок конченки, и тогда старуха принесла ему ложку. Мясо было жестковатым, с пригорклым привкусом. Но сочни гостю понравились.

— Еще один плохой хабар, — заметил старик. — Аулная на фронт забирают.

— Как? Газиза?!

— Ия... Сам заявления писал, писал, и вот теперь повестка пришла.

— Вот-те раз! — расстроился фельдшер. — Только познакомились, и сразу разлука.

— Да, плохо... Кто в ауле работать будет? Сволышш этот Китляр! Ба-а-алшой сволышш!

Фельдшер не стал дожидаться чаю, а поблагодарив, засобирался домой. Почтальон сказал что-то старухе, и она принесла одеяло, подушку, из ларя достала две лепешки, выдавила из толстой коровьей кишки топленого масла, положила в миску кусок вареного мяса.

— Бери, — сказал почтальон.

— Что вы, дедушка... да я... нет....

— Э, оставь. Бери, говорят!

— Ну, ладно, спасибо. Потом рассчитаюсь.

Старик хмыкнул.

— Дурной.

— Что — дурной?

— Разговор твой дурной.

Старик вышел вместе, чтобы отпустить кобылку на ночь в степь. Темнело быстро. С Ишима тянуло прохладой. То там, то здесь мигали огни. На отшибе, окутанный мраком, темнел медпункт.

VII

Утром в контору заглянул баскарма. Грузный, плотный, он в черном суконном френче и галифе казался и вовсе квадратным. На толстых плечах крепко сидела тяжелая, круглая голова, подстриженная ежиком. Шея была настолько коротка, что поворачивался баскарма по-волчьи, всем телом. Глаза с воспаленными красными прожилками смотрели подозрительно, в упор. Брови срослись в переносице. В руке с силой стиснул короткую плеть — камчу.

— Фамилия? — хмуро спросил он.

— Эрлих, — краснея, ответил фельдшер.

— Ерлик?! — Баскарма вскинул кустистые брови. — Хм-м... каких только фамилий не бывает?! Посмотрим, какой ты совершишь ерлик...

Он достал из кармана необъятных галифе пузырек, осторожно насыпал в ладонь щепоть темно-зеленого, кудрявистого табаку, кинул на губу под язык, смачно сплюнул. Фельдшер поморщился.

— А у вас хорошая фамилия, — улыбнулся Газиз. — Эрлих звучит по-казахски как ерлик, а это означает геройство.

— Сеит-ходже справку давал? — строго спросил баскарма.

— Давал.

— Не давать! Понял? — лицо баскармы побагровело. — Дезертиры! Время военное. Все для фронта! Понимаешь? Скоро пойдут дожди. Потом — снег. Буран. А сено накосили мало. Урожай и наполовину не убрали. Всех на поле камчой гнать надо. А ты — справки! Не давать и все!

Баскарма говорил по-русски с сильным казахским акцентом. У него получалось: "Псио дла пронт", "синек", "сыпрапка".

— Но он же болен. У него травма.

— Болен! Травма! — Баскарма выковырял пальцем из-под губы табак и швырнул к двери. — Зимой болеть будут. А сейчас работать надо.

— Алеке, — мягко заговорил Газиз. — Все правильно. Верно говорите. Но скажите: можете сейчас дать фельдшеру лошадь?

— Какая лошадь? Быка паршивого и того нет! Управлюсь с уборкой — подумаю.

— Ладно, — сказал Эрлих. — Могу и пешком.

— Ноги, конечно, длинные, — усмехнулся Газиз. — Но пешком — не дело. Вы какого года рождения?

— Девятого.

— Да ну?! Значит, мы — курдасы. Ровесники. Выходит, мы родились в год курицы.

— Как... в год курицы?

— Такой у казахов календарь. Вот мы родились в год курицы. Потом идет год собаки, потом — год свиньи, потом — мыши, коровы. Есть еще год зайца, змеи, лошади. Всего двенадцать годов. А потом опять повторяется.

— Интересно.

— А ровесники у казахов все равно, что братья. Мое — твое, твое — мое.

Баскарма тяжело поднялся.

— Раз вы курдасы, сами все и решайте. Иди, Ерлик, к кладовщику, пусть полмешка пшеницы даст. Молоко бери с фермы. Скажешь, Алеке велел. Я пошел...

Баскарма, скрипя половицами, вышел. Через минуту он проехал мимо окна на кауром жеребце.

— Ну, так что надумал, Даут-курдас?

— Вот... — Фельдшер придвинулся к столу, достал из кармана гимнастерки аккуратно сложенный лист бумаги. — Составил примерный график. В радиусе аулов девять, а дней в неделю только семь. Желательно хотя бы раз в неделю быть в каждом ауле. Как лучше распределить дни — не знаю. А ведь еще и в бригады надо... Теперь... здесь, в ауле, я думаю, каждый день два часа выделить на прием больных в амбулатории. Скажем, с восьми до десяти утра. Потом — по другим аулам. Так?

— Допустим, — согласился Газиз.

— Ремонт нужен такой: помазать стены, побелить. Нужны дрова. Не знаю, сколько кубов. И еще необходимо выбраться мне в район за медикаментами. Вот, что намечено на ближайшее время.

— Неплохо обдумал. — Газиз погладил указательным пальцем усики. — Дай сюда график. Смотри: Карачок находится рядом с Коктереком. Можно успеть в один день. А Козловка — совсем маленький хуторок, рядом с Караталом. Тоже за день обернешься. Жана-жол и Жана-талап видны отсюда. Четыре километра, если напрямик через Ишим. Летом и зимой туда добираться — проще простого. А весной совсем невозможно. В Каратал и Алка-аган можешь ехать с Нурканом-почтальоном, когда он в район за почтой ездит. Это по пути. Вот за семь дней и один оборот.

— Неплохо получается, — обрадовался фельдшер.

— С ремонтом сам что-нибудь придумай. Деньги аулсовет даст, а людей нет. Поговори с Есильбаем. Поможет старик. Может, из школы кого-нибудь привлечь. А в район послезавтра поедем вместе. Кстати, и проводишь меня. Я ведь уже и не аулнай. Считай, красноармеец-доброволец. Повестка в кармане.

— Знаю.

— Откуда?!

— Этот ваш, как его, Узун-кулак известил.

— Что-о-о?!.. Да ведь жена еще не знает! — Газиз с силой хлопнул его по плечу. — Ай, да курдас! Ну, раз знаешь, вечером зайди к нам в гости. Обязательно!

VIII

Выехать из аула спозаранок не удалось. Пока Жарас согнал стадо на выпас и привел сельсоветского мерина, а Есильбай, не торопясь, запряг его в свой тарантас — предмет зависти колхозных председателей во всей округе — незаметно собрался народ, чтобы проститься с Газизом, и Маруар пришлось спешно разогревать и второй самовар. В маленьком домике Газиза негде было повернуться. Чай пили молча, сосредоточенно. До хлеба и масла почти не дотрагивались. Женщины вздыхали, украдкой поглядывали на Маруар. Мужчины пытались завести разговор.

— Интересно, многие на этот раз получили повестки?

— Со всего района, говорят, собирают.

— Апырай, видно, нелегко одолеть Кермана...

— А что этот лектор-Шаймурат болтал, дескать, войны не будет, а если и будет, разобьем фашистов в два счета?

— Э, что твой Шаймурат знает?! Шалается по аулам да долдонит по бумажке, сам не зная что...

Сеит-ходжа сидел в углу, вытянув перевязанную ногу, хмуро косился на женщин. Ему не нравились их жалостливые слова и вздохи.

— Ты, Газиз, помолодел, что ли?

Газиз еще вчера сбрил усы, наголо постригся, и теперь был похож на подростка-крепыша. На шутку Сеит-ходжи он не ответил, только улыбнулся.

— Зря усы сбрил, — продолжал Сеит-ходжа. — С усами мог бы запросто немцев напугать. А так тебя Керман и всерьез не примет.

— Кто же теперь у нас аулнаем будет? — спросил Тайшик.

— Э, — усмехнулся кто-то. — Может, ты на это место метишь?

Тайшик сконфуженно заерзал.

— Да нет... я это... просто...

— Просто... Небось, не прочь бы нами покомандовать, а?!

— Оставьте. — вмешался Нуркан. — Газиз, дорогой, может, Бог даст, с Накеном моим встретишься. Салем передай. Пусть пишет... И сам пиши...

— Да, да... Тебе что стоит? Грамотный ведь...

Мимо окна пролопотал копытами каурый баскармы. Все замолчали, подобрали руки-ноги. Баскарма встал у порога и, похлопывая камчой по голенищу, хмуро оглядел всех. В комнате еще потеснились, уступили ему почетное место. Он сел, кивнул Газизу, отломил кусочек лепешки.

— Ну, и долго будем отсиживаться? Работу колхозную кто делать будет?!

Никто не ответил.

— Да сопутствует тебе удача, Газиз! — прогудел Есильбай. — Возвращайся живой и здоровый! С победой! И чтобы мы вот так же всем аулом встречали тебя.

— Аминь!

Все провели ладонями по лицам.

И потом, когда уже все вышли из дома, каждый подолгу тряс руку Газиза, обнимал его, говорил добрые напутственные слова. Женщины вытирали кончиками платков и жаулыков слезы. Маруар, сидя уже в тарантасе, покусывала губы, крепилась.

— Ойбай, родной... Зачем ты нас покида-а-аешь?! — заревела было с надрывом одна из женщин. На нее прикрикнули со всех сторон.

— Заткнись, дура!

— Тайт, негодница!

— Не мути душу...

Газиз ткнул фельдшера в плечо.

— Поехали, Давид Павлович, — сказал он по-русски.

Застоявшийся мерин пошел крупной рысью. Тарантас катился легко, неслышно. У лесочка Газиз приподнялся и посмотрел назад. Возле своего домика он увидел только Жараса. Пастушонок все еще махал ему вслед. По дороге к стану мчался на кауром жеребце баскарма...

Еще вчера договорились ехать левым берегом. Вскоре проехали овраг, обогнули большую старицу, заросшую по краям осокой и кувшинками, потом узкая дорога нырнула в тугай, где было, несмотря на рань, уже душно и пахло хмелем, спелой смородиной, бояркой. Сонно жужжали шмели. Дорога вдруг резко повернула вниз, и перед путниками открылся Ишим. Под колесами заскрежетал песок, гравий. Мерин перешел на шаг, поднатужился. Газиз и фельдшер спрыгнули с тарантаса. Справа причудливо громоздились могучие камни. Гладкие и выщербленные, матово светлые и черные, плоские и бокастые, с острыми выступами, они неприступной скалой возвышались над рекой, сузив в этом месте ее ложе. Видно, надоело воде сражаться с крутолобыми валунами, она нежно ластилась к ним, гладила их шершавые бока, покорно стелилась у изножья.

— Хорошо как! — вырвалось у фельдшера.

У самой кромки мерин остановился. Газиз отпустил сыромятный чересседельник, потрогал хомутину.

— Этот брод называется Каменным, — пояснил он. — Тас-уткель.

Он разулся, закатил штанины выше колен. Фельдшер сделал то же самое. Маруар осталась сидеть в тарантасе. Они взяли мерина с обеих сторон под уздцы и медленно вошли в воду. До противоположного берега, казалось, рукой подать, однако Газиз повел мерина посередине, а потом, описав полудугу, очень осторожно свернул направо. Вода едва доходила им до колен, однако чувствовалось упругое, сильное течение: невольно тянуло, заносило в сторону.

— Запомни брод. Не раз придется тебе его переходить и переезжать, — сказал Газиз. — Он только кажется мелким. Но чуть свернешь, попадешь в водоворот. Или течение подхватит. Тогда — держись. С Каменным бродом не шути.

— Напрямик нельзя?

— Боже упаси! Видишь, какой круг мы сделали? Местами такое течение — лошадь не устоит.

В нескольких шагах от берега было значительно глубже, и мерин, увязая в податливый суглинок, с трудом вытащил тарантас. Пока Газиз подтягивал чересседельник, палкой соскребывал налипшую на колеса глину, фельдшер с восхищением оглядывался вокруг. Камни на том берегу казались отсюда еще более внушительными. Ива стояла густо, низко склоняясь над водой. В стороне одиноко рос корявый боярышник. На его ветках трепыхались разноцветные лоскутки. В середине река ослепительно сверкала под солнцем, выгибала песчаное дно, а по краям вода казалась черной, свинцовой. Левый, пологий берег был истыкан копытами коров, словно оспинками изъеденное лицо баскармы.

Теперь они ехали вдоль берега, постепенно отдаляясь от реки, и впереди уже — насколько хватало глаз — простиралась степь. Задумчиво покачивал серебристыми метелками ковыль, а с вышины, то затихая, то вновь усиливаясь, лился безмятежный трезвон жаворонка.

— Красиво, Даут, а?!

— А-а?... Да-а...

— О чем задумался?

— О, долго рассказывать...

"Хороший, видно, человек, — подумал Газиз о фельдшере. — Покоя не знает. Всего несколько дней здесь, а уже и в окрестных аулах побывал. Все дома обошел. Медпункт прибрал — не узнать. Вырубил бурьян во дворе, под окнами

смородину и черемуху посадил. Не поленился притащить с Ишима в мешке кусты. Новую плетень поставил. И когда он только спит?"

Давид Павлович сидел боком на облучке, похлопывал вожжами гнедого мерина. Маруар, притихшая, грустная, смущенно поглядывая на фельдшера, прижалась к мужу, положила голову ему на грудь.

— Ты в армии служил, Дауг?

— Семь лет.

— Ого! Где же?

— В летной школе Энгельса.

— Вон как! И звание есть?

— Лейтенант медицинской службы.

Газиз погладил жену по голове, потеребил ее толстую косу и вдруг запел, сначала тихо, вполголоса, но потом, понемногу увлекаясь, все громче, страстней. Фельдшер прислушался. Мелодия ему понравилась, в ней звучало неподдельное чувство, радость. В затейливом, шаловливом припеве часто повторялось слово "Галия". Маруар, слушая, улыбалась, щеки ее порозовели, глаза благодарно светились.

— Что за песня? — спросил фельдшер, когда Газиз умолк.

— Хорошая песня. Называется "Галия". Ее сочинил силач и храбрец Балуан-Шолак.

— О чем она?

— О любви Шолака к красавице Галии. Знаменитый силач, говорят, встретил ее на Акмолинском базаре. И пленился ею. Галия была замужем, и они встречались тайно. Тогда-то и сочинил Шолак эту песню. И слова, и музыку сам написал. Он был не только силач, но и акын, и композитор. Вот какие слова в песне: "Ты луна моя, Галия, ты мое солнце. Улыбкой в душу оно льется. То брови сдвинешь, то лоб нахмуришь, а сердце мое на сто кусков рвется". А потом припев: "Ойпырмай, любимая! О моя Галия! Облачко клубимое, теплое, голубиное, это нежность твоя!"

— Хорошо. Ну, и чем кончилась их любовь?

Газиз вздохнул.

— Печально кончилась... Шолака посадили в тюрьму, а Галия вышла замуж за другого. Долго не мог ее забыть Шолак. Много песен ей посвятил. Короткая была их любовь. И в память осталась песня. Все ее знают...

— Давно это было?

— Не очень. Шолак бывал в наших краях. И в Марьинке был. Многие старики еще помнят. Красивый, сказывают, человек был.

— Да, это так, — заметил фельдшер. — Любовь вообще очень часто кончается печально. Должно быть, печаль — плата за радость любви.

Круп и бока мерина потемнели, но он бежал мерной, ровной рысцой. Далеко впереди показались островки березовых перелесок. За ними был районный центр. За всю дорогу им не встретилась ни одна живая душа. Было тихо, печально.

— Даже не верится, что где-то идет война, — сказал Газиз.

— Да-а... Последние известия слушал?

— Вчера. Плохи дела. Отступаем, отступаем. Какие-то стратегические цели...

До Марьинки никто из путников уже не проронил ни слова.

Возле военкомата было многолюдно и шумно. Широкая площадь перед одноэтажным деревянным зданием, казалось, стонала под копытами разномастных лошадей и быков, под колесами телег и рыдванов, под шумом и гулом огромной толпы. На траве под пыльными акациями сидели пожилые мужчины и старики в просторных вельветовых штанах, в чапанах, малахаях, возле телег белели жаулыки женщин, ближе к крыльцу, заняв весь узкий проход, томились парни и мужчины. У них были суровые и отрешенные лица.

— Целыми аулами, что ли, провожают... — заметил Газиз.

У зеленого забора, где длинным рядом стояли, усердно отбиваясь от мух и слепней, оседланные кони, кое-как нашли место для мерина.

— Распрягай пока, — сказал Газиз, — а я пойду, проведаю обстановку.

Маруар тоже слезла с тарантаса, отряхнулась, поправила платок. Лицо ее осунулось, в глазах мелькнули испуг и растерянность.

— Видать, еще постоим, — сообщил, вернувшись, Газиз. — Переклички не было. И машин нет.

— Тогда я пойду по своим делам.

— Конечно. На всякий случай давай, Даут, прощаться.

Они обнялись, похлопали друг друга по плечу. Газиз отвел фельдшера в сторонку.

— За Маруар посматривай... Она такая тихая, стеснительная. А твоя помощь ей скоро понадобится.

— Понимаю... Не беспокойся.

После тихого, уютного аула в районном центре казалось очень суетливо. В райкоме, в райздраве, в аптеке — всюду толпились люди, тянулись очереди. Наконец, после утомительной беготни фельдшер уладил все дела и заспешил к военкомату. Площадь гудела, колыхалась. Все столпились возле четырех грузовиков с новобранцами. Фельдшер, подняв над головой рюкзак с медикаментами, начал отчаянно пробиваться к машинам. Ни Маруар, ни Газиза он не увидел. Все смешалось, слилось в один общий гул. Только изредка прорывались отдельные слова.

— Айта-ан! Айта-а-ан!

— А!А! Ай! Халел! Халел!

— Ва-а-ася-я! Родимый!..

У крыльца надрывался духовой оркестр. Грохот барабана взмывался над толпой. Взревели моторы, и грузовики один за другим тронулись с места. Толпа качнулась, двинулась разом вслед.

— Газиз! Газиз! — кричал фельдшер, вырываясь из толпы.

Машины обогнули клуб и свернули на грейдер. Несколько верховых пустились за ними вскачь. Оркестр умолк. Над площадью перед военкоматом плыла, клубясь, серая пыль.

Толпа постепенно затихала, таяла.

Маруар, прислонившись к тарантасу, стояла среди телег и лошадей, одинокая, жалкая. Глаза ее покраснели от слез, губы некрасиво скривились. Фельдшер запряг мерина.

— В столовую заедем?

Она покачала головой. И тогда он повернул к базару. Здесь было пусто. Трава вытоптана. Под навесом за прилавком скучало несколько старух, торговавших капустой, недозрелыми помидорами, молодой картошкой, ранетками, яйцами. В сторонке сиротливо стояла девушка с большим ведром, прикрытым белой тряпицей. Во всем ее облике чувствовалось что-то знакомое, близкое.

— Что у тебя? — спросил он.

— Вишни.

— Откуда?

— Из лесу.

Он внимательно оглядел ее. Невысокая, худенькая, смуглая, с черными, грустными глазами. Руки были исцарапаны и черны от вишневого сока. В ее речи он уловил знакомый акцент.

— Немка?

— Да... — встрепенулась девушка и покраснела. — А что?

— Ничего, — улыбнулся он ей. — Я так и подумал. Из каких краев тебя занесло?

— С Волги.

— Это я понял по выговору. А точнее?

— Из Мариенбурга.

— Что ты говоришь! Милая, да мы ведь земляки. Я из Мангайма. Соседи, выходит.

Она тоже улыбнулась, и на щеках ее появились крохотные ямочки.

— Вот так встреча! Как зовут-то?

— Олькье... Ольга Вальтер.

— Постой, постой... Помнится, был там Вальтер Иосиф, кузнец..

— Я его дочь.

Маруар с удивлением посмотрела на фельдшера и девушку. Она немного понимала по-русски, но эти беседовали, видно, на своем языке. Похоже, и в других аулах появились немцы. И они при встрече так же радуются друг другу, как и казахи.

Он усадил девушку на прилавок и стал ее жадно расспрашивать.

Привезли их, переселенцев, — пять семей — в русское село Сухарабовка. Едва устроившись, все стали работать в колхозе. Вот уже месяц будет. Отец и мать Ольги умерли еще там, дома. Брат, Иоганнес, работает в кузнице, другой брат, Антон, возит горючее. С ним она и приехала сегодня на базар. В лесу нынче вишен много, вот она с братишкой Гарри и собирает каждый день. Надо к зиме какую-нибудь одежку справить. Ведь холода, говорят, здесь лютые...

Он слушал ее и все больше мрачнел. Сердце тоскливо сжалось. "Песчинки мы, разметенные бурей войны..."

— Сейчас приедет Антон, а я и не продала ничего, — вздохнула Олькье.

— А где Антон?

— К Ишиму поехал, волов поить.

— А-а... Ну, ладно, Олькье. Передай братьям привет от земляка. Я живу в Кызыл-ту. Эрлих — моя фамилия.

— Эрлих? У нас был учитель — Вольдемар Эрлих.

— Да, да... Мой племянник.

Он пожал ей ручку, улыбнулся нежно, откинул выбившуюся из-под платка прядь ее волос и направился к подводе. Потом еще раз оглянулся, порывисто кинулся к ней, взял ведро, высыпал вишни, подстелив дождевик, в тарантас и протянул ей красную тридцатку. Она хотела что-то сказать, но он опередил ее.

— Будь здорова, сестреночка! Майн швестерляйн... Не унывай!

Всю дорогу и фельдшер, и Маруар молчали. Все поблекло вокруг. И степь, и редкие перелески, и небо — все казалось тусклым, унылым. И жаворонки умолкли, и в траве не слышно было кузнечиков. Он угощал спутницу вишнями, но она взяла лишь горсть и положила себе в карман в платочек.

К Каменному броду подъехали к закату солнца. Валуны будто пламенели под багрово-красными лучами. И река, и весь берег словно были объяты пожаром. Но мгла уже неотвратимо и воровски лезла из всех расщелин и кустов. Фельдшер разулся, высоко закатил штанины, отпустил чересседельник, повел мерина под уздцы, но конь всхрапывал, перебирал ногами, пятился назад. Он погладил его морду, шею, потрепал гриву, поцокал языком, и мерин, чуть успокоившись, нехотя пошел на поводу. Маруар легла ничком, натянула на голову жакет. Фельдшер ступал осторожно, нащупывая грунт, подбадривал коня, сделал, как и давеча, большой круг и овальным углом повернул к камням. Выбравшись на берег, дал коню отдохнуть, похлопал его по бокам, но мерин беспокойно косил глазом, прядал ушами.

Солнце зашло, лишь в верхушках ив на круче медленно умирали последние лучи, а черные тени плотно укутали Каменный брод. Было зловеще тихо. Только вода что-то глухо

бормотала и ластилась к валунам. И вдруг в кустах зашелестело, затрещало, заухало.

— У-ду! У-ду! У-У-у!..

Мерин рванулся с места, едва не опрокинув тарантас, и понесся по узкой черной дороге, извивавшейся вдоль кручи меж кустов. Фельдшер изо всех сил натянул вожжи.

— Ой! Ой! — жалобно простонала Маруар. — Плохо будет... Беда будет...

Храпя и пофыркивая, мчался мерин до самого аула, а сзади неотступно преследовал их жуткий в черной ночи стон. И эхо гулко, словно из-под земли, отзывалось на всю степь:

— У-ду! У-у-у-у...

IX

Из аула Жана-жол еле заметная дорожка, заросшая по краям диковинным кустарником, тянулась между песчаными кочками к Ишиму, к броду, и это расстояние, после приема больных в крохотной начальной школе — один учитель и шестнадцать учащихся на четыре класса — фельдшер отмахал легко, за полчаса, потом, сняв сапоги и брюки, перешел брод и с волнением заспешил к затаенному, тихому уголочку на правом берегу, где под ивами, в заводи, перед закатом солнца яростно гонялись за чебачками зубастые щуки и пестрые красавцы-окуни.

О том, что Ишим богат рыбой, а в прибрежных старицах водятся вдосталь красноперка, карась, линь, пескарь, ему поведал всезнающий Есильбай и подарил несколько уд и жерлиц, объяснив, как с ними обходиться. Для фельдшера это было внове. Там, в Поволжье, в прудах и речушках он ловил только раков. Отправляясь на медосмотр в Жана-талап, Жана-жол, Коктерек, фельдшер отныне каждый раз ставил по пути две-три жерлицы с живцами, а в укромных заливчиках, под ивняком, где темнели глубокие ямины, понадежней укреплял плетенные из лозы мордушки, обмазанные изнутри — для приманки — отрубями. Возвращаясь с обхода больных в этих аулах, по пути домой, он проверял жерлицы, обновлял живца, закидывал уду, доставал из глуби отяжелевшие лозовые мордушки, и каждый раз возвращался с заметным уловом. Опять-таки по совету Есильбая, он часть добычи солил и сушил на зиму.

Времени на эту приятную и полезную забаву он тратил самую малость. Его поражало, что в аулах никто рыбной ловлей не промышлял. То ли недосуг, то ли не было сноровки и нужды, то ли рыбу, как прокорм, всерьез не принимали.

— Разве казахи рыбу не любят? — поинтересовался как-то фельдшер у Есильбая.

Тот ухмыльнулся, поскреб по обыкновению дремучую сивую бороду.

— Если поймаешь, почистишь, сваришь или пожаришь да на стол поставишь — любят. За милую душу схрумкают, хотя, конечно, предпочитают махан. Ну, а ловить — изволь: слишком много мороки.

— А ягоды собирать? Сколько в лесу, в тугае вишни, черемухи, смородины, костяники, шиповника, боярки! Страсть! Если посушить, зимой тебе и чай, и компот, и кисель, и крюшон...

— Э, дорогой... к этому здесь не приучены. В русских селах, хуторах, знаю, собирают бабы. Пироги пекут, извар готовят. А казах до этого не охоч. Разве что дети-балашки иногда побалуются.

— Зря... Столько витаминов!

— Сказал! Витамины! В этих аулах, заметь, даже огородов ни у кого, кроме меня, нет. Ни картохи, ни капустки, ни лука не сажают.

— Почему?

— А не принято и все тут! Может, и лень-матушка. Ведь столько возни-хлопот. Зимой на бараньем сале пшеничку жарят да чай дуют — и вся еда.

— Не дело!..

— Я и говорю. Столько земли вокруг пустует...

— Надо объяснять людям, растолковать. Как можно интернатовцам без огорода? Такой простор, такие возможности!

— Вот и объясняй. Пример покажи. Сеит-ходжа чуть что — одно долдонит: мы же не урусы, чтобы в земле копаться. Наши предки и без этого обходились. Скот есть — живи не тужи.

... Вот и сегодня, размотав леску, не сумев сорваться с крючка, покорно дремала под кустом обессиленная, вся в

зеленоватом иле трехкилограммовая щука. Когда он подтащил ее осторожно к берегу, щука встрепенулась, ощерила пасть, и, извиваясь, судорожно забила упругим хвостом, но фельдшер оттартал ее подальше от крутого берега, сунул левую руку под жабры, а правой тюкнул подвернувшимся камнем по плоскому склизкому темени. Щука мигом успокоилась, обмякла.

В мордушке спокойно лежали три осоловевших толстобрюхих линька.

Фельдшер смотал уду, жерлицы, вновь укрепил под ивняком мордушки, прикрыл прелыми лопухами банку с дождевыми червями, и, довольный добычей, заспешил домой.

В тугае густела сутемень. Вокруг ни души. Невидимые зверьки шуршали в зарослях. Было жутковато.

Держа в одной руке увесистый кукан с уловом, в другой — аптечку, фельдшер шагисто поднялся на косогор, выбрался из тугая на дорогу, ведущую к аулу.

Еще один день был на исходе. Осень выпала на удивление погожей, особенно для северного Казахстана. Казалось, сама природа давала возможность людям получше подготовиться к зиме. Но, по словам Сеит-ходжи, у которого к непогоде ныла пораненная нога, вот-вот должны заладить нудные, затяжные дожди, после которых в предутреннюю пору тихо ляжет снег и уже больше не растает. А там и свирепые недельные бураны задуют, когда и собаку со двора не выгонишь.

Из аула доносилось блеяние овец. Тявкали невпопад собаки. Медленно гас мерцающий отсвет заката. Сторожко шелестели метелки ковыля.

Фельдшер думал о предстоящих заботах. Нужно побольше напилить дров. Укрыть пластами кое-где прохудившуюся крышу. Укрепить косяки входной двери. Еще раз съездить в райцентр. Сдать отчет и привезти лекарства.

Когда он подошел к медпункту, уже совсем стемнело. Возле домов, бугрясь, лежали коровы, умиротворенно жевали жвачку и шумно отдувались.

На ступеньке крыльца, скрючившись, сидел кто-то. Неужели кому-то плохо? Видно, давно дожидается. Фельдшер подошел, приглянулся.

— Жарас... ты, что ли?

— Ия... мен, — глухо отозвался пастушонок. Голос его дрожал.

— Что случилось? Что плачешь?

— Жок... просто...

— Болит что-нибудь?

— Жок... не болит.

— А почему здесь сидишь? Уже поздно. Спать надо.

Жарас не ответил, зябко поежился, пошмыгивал носом.

— Ты у кого должен был сегодня ночевать?

— У Зайры.

— Ну и что?

— Прогнала...

Фельдшер задумался. Все ясно. Зачем певунье-библиотекарше голодный оборвыш-пастушонок? Брезгует даже в дом его пускать. Расспрашивать бедного Жараса больше не хотелось. "Такой же сирота, как и я... А сироте везде плохо".

— Держи! — протянул он кукан Жарасу. — Пойдем ко мне. Будешь жить со мной. Согласен?

— Ия, ия... — блеснул зрачками Жарас. — Ошен согласын.

— Ну, и хорошо! Договорились? Жаксы ма?

— Жаксы, першыл... Будем жить, как эки жарты — бир бутун...

— Как это?

— Э-э... как два половина — ален селай.

— Две половинки — одно целое?

— Ия, ия... дурыс, першыл.

— О, да ты умница, Жарас! Правильно рассуждаешь.

— Ия, ия... мой брабильно...

С этой ночи спецпереселенец, фельдшер-акушер Давид Эрлих и аульный пастушонок-сирота Жарас стали жить вместе в маленькой комнате при медпункте. И оба были довольны. Жарас обрел кров и опекуна-защитника, а фельдшер — верного и расторопного помощника. "Две половинки — одно целое".

X

Он всегда вставал рано. Помнится, мать, вечная хлопотунья, верная крестьянскому правилу, заповеданному предками, поднимала детей на рассвете. "Что дрыхнете, бездельники! Смотрите, соням солнце глаза выест". Привычка эта позже закрепилась и в армии и на службе в летной школе. Бывало, он ставил будильник на опрокинутый таз, и от невероятного грохота сон как рукой снимало. Здесь же, на новом месте, он вскакивал и вовсе еще до зари. Скотину еще не успевали выгонять на выпас, а он уже хлопотал возле медпункта. Убрав возле дома весь мусор, оставшийся после ремонта, он вырубил бурьян, расчистил площадку и, выкопав в лесу несколько березок и сосенок, посадил их под окнами. Потом с Ишима притащил в мешке двадцать кустов смородины и черемухи и посадил их ровными рядками недалеко от крыльца. Еще через несколько дней вокруг медпункта появилась сплетенная из тала изгородь. Дельными советами ему всегда помогал Есильбай. Вечерами приходил подсоблять также Тайшик. Иногда помогали старшеклассники из интерната.

Проходя рано утром мимо медпункта, доярки весело кричали ему:

— Эй, першыл! Аман? Живой-здоровый?

— Здравствуйте, красавицы! — улыбался он им.

Шаку, самая бойкая, разбитная из них, каждый раз звала его на ферму.

— Приходи, першыл, кумыс пить.

И при этом шельмовато постреливала агатовыми глазками-щелками и заливисто смеялась.

— Приду... Обязательно приду, — смеялся и он.

Он уже знал всех доярок колхоза по именам. Знакомство началось с конфуза. Уже в первые дни приезда он пригласил их на медосмотр в медпункт, но ни одна так и не заявилась. Через несколько дней он еще раз напомнил им, чтобы каждая непременно прошла профилактический осмотр. Доярки смущенно, словно не понимая, о чем речь, опускали глаза, отворачивались, а смуглолицая, косоглазая Шаку загнала вдруг его в краску.

— Какой такой осмотр, першыл? Баб не видел, да? Зачем осмотр? Чесотки-котыра да битюков-вшей у нас нет. А остальное у казах-бабы такое же, как и у русских мардж.

Как-то, возвращаясь вечерком из Жана-талана, он завернул на ферму. Ветхая плетеная шошала, покрытая местами кошмой, местами — брезентом, стояла недалеко от старицы, на высоком, открытом месте. Скот — кобылицы и коровы — паслись поблизости. Несколько женщин с малыми детьми и пастух Укеш, рыхлый, придурковатый, прыщавый малый, набились в шошалу и о чем-то судачили перед вечерней дойкой. Когда фельдшер показался в низком, узком проеме, женщины враз затихли, сдвинулись потеснее, освобождая место, а сухопарая, вертлявая Шаку указала на подстилку возле большого сундука с горкой разноцветных одеял.

— Садись, першыл. Гость — всегда радость.

Он послушно сел, с трудом скрестив под себя длинные ноги, оглянул захламленную, заставленную всякой-всячиной шошалу, принялся расспрашивать о житье-бытье, мешая русские и кое-какие казахские слова.

— Ну, как? Все аман-сау? Бала-шага здоровы? Мужья пишут? Ауру есть?

За всех отвечала Шаку.

— Шукур, шукур... Слава Богу...

Она же и налила ему полную чашу кумыса, ловко сдув с поверхности соринки.

Он отпил глоток, почмокал губами и, перехватив любопытный взгляд малышей, тотчас полез в аптечку, достал плитку гематогена. Разломил на части, протянул малышам. Те посмотрели на матерей, потом на незнакомца и радостно заверещали:

— Кямпит! Кямпит!

— Да, да! Конфета, конфета, — догадавшись, подтвердил он.

Потом он начал говорить о гигиене доярки. Говорил медленно, выбирая слова попроще, попонятнее. Все учтиво слушали, а Шаку кивала головой, повторяла: "Э, знаим, знаим..." и тут же переводила товаркам. При этом она то и дело озорно подмигивала им, и те почему-то смущались, похихикивали, прикрывая рты краешком платка. Утеш и

вовсе колыхался от смеха, хлопал себя по ляжкам и гоготал, разинув щетиной обметанную пасть.

— Дурыс, дурыс, першыл, — подзадоривала Шаку. — Твоя правильно гауарит.

Он догадался, что шустрая молодуха переводит его, видно, излишне вольно, а то и вовсе не то, о чем он тут расшибался.

Однако Шаку делала серьезное лицо, кивала головой, подтакивала усердно:

— Правильно, першыл. Ия, ия... микроб, микроб... Ой, много-много... Сапсем зараза!..

Отчего-то возбудился Утеш. Сложил ладони, дурашливо распахнул рот и щелкнул зубами, будто разом проглотил что-то.

— Оттуойлат!.. Вот бил-лят!.. Микроб, а?!

Доярки покатились со смеху.

— Что такое? — вскинул белесые брови фельдшер.

— Э, Утеш гауарит, — пояснила Шаку, — какой такой еще микроб? Дед микроб не видел. Отец микроб не видел. Я ни разу никакой микроб не видел. Откуда першыл микроб видел? Микроб — это джинн-шайтан, шорт-мазарат, что ли? Дай мне чашку микроб, я их зараз проглочу и кумысом запью. Дурной он — этот Утеш. И бабы все дурные. Продолжай, першыл! Правильно все гауариш...

— Ну, если правильно, так слушайте дальше. После дойки, особенно на ночь, руки надо помыть в теплой воде и смазывать вазелином...

— Э, знаим... знаим...

— И сосцы коров тоже следует обмывать теплой водой и смазывать.

— Ия... ия... правильно!

— Молоко непременно процеживать через марлю.

— Э, тоже знаим...

— Бидоны каждый раз мыть горячей водой, а не просто ополаскивать тяп-ляп в старице.

— Карашо, карашо...

— А доить коров непременно в белых халатах.

— Ия, ия, першыл... А то микроб ой много-много.

Шаку тут же подхватывала все его слова и, покосившись на доярок, что-то быстро лопотала. Те делали большие

глаза, от удивления щипали себя за щеки и, прикрывая лица, конфузливо отворачивались.

— Ойбай!

— Не дейды?!

— Как он, мужчина, такое говорит!

— Астафирилла!

Он с недоумением посмотрел на всех и от досады покраснел.

— Ты что им говоришь?!

— Э, пей, пей... — как ни в чем не бывало шлепала губами узкоглазая шельма и продвигала чашу с кумысом ближе к нему. — Я гауарю, что твой гауарит.

— Ну, а почему они смеются? Я ведь ничего смешного не сказал.

— А-а, — невозмутимо махнула рукой Шаку. — Дурные бабы, вот и смеются.

Он отпил еще несколько глотков и хотел было вернуть чашу, но Шаку не приняла ее.

— Пей. Все пей. А то марджа тебя бросит.

— Какая еще марджа?

— Ну, баба-хатун твоя.

Он молча, с усилием выцедил содержимое чаши. Даже уши от натуги вспыхнули.

Потом, выходя из шошалы, тронул Утеша за рукав.

— Слушай, что эта чертовка вам рассказывала?

— А-а, — осклабился Утеш. — Чудак-баба, эта Шаку. Бил-лят! Она гауарит... гауарит... ха-ха-ха... Оттуоймат...

Утеш опять загоготал, запрокинув голову. Так фельдшер ничего и не понял.

Шаку, гремя подойником, прошла мимо, плутовато улыбнулась.

— Ну, смотри, — шутливо пригрозил он ей. — Я тебе, переводчице такой, еще покажу!

— Да-а?! — вызывающе блеснула она черными зрачками. — Что покажешь? Когда покажешь? Где покажешь? Давай, першыл, покажи!

И дерзко расхохоталась. А он опешил.

— У-у-у, шайтан-баба!

— Ладно, першыл. Не обижайся. Все шутка, — сказала она вдруг спокойно, направляясь к коровам. — Все сделаем.

Только марлю давай. Про халаты председателю скажи. Пусть достанет. А то в лавке материи нету.

"Вот это называется провел профилактическую беседу, — усмехнулся он тогда. — Нет, так дело не пойдет. Надо учить язык..."

Вот и сегодня, проходя мимо медпункта с товарками, Шаку опять пригласила его пить кумыс и прочесть лекцию.

— О чем?

— Э, сам знаешь... Про микроб. А то бедный Утеш никак ни одного микроба поймать не может.

— А ты что, толмачить будешь?

— Ия, ия, мой — толмач.

И доярки дружно захихикали.

— Ладно. Приду, — обещал он, глядя им вслед.

Над тугаем таял утренний туман. По узкой тропинке к колхозной ферме возле старицы тесной гурьбой спешили доярки в длинных цветастых платьях. Шли, судачили.

— Вообще этот першыл — дельный мужик, а!

— Э, откуда знаешь?

— Все что-то копается. Покоя не знает.

— Ойпырмай, и все умеет. Семижильный, наверное.

— И добрый. Слышали, Жараса-пастуха приютил.

— И когда он только спит?

— А зачем ему спать, раз бабы нет?

— Неженатый, что ли?

Шаку ухмыльнулась:

— А что, замуж за него собралась?

— Не мели, бесстыжая! Просто спрашиваю.

— А ты спроси у старика Нуркана. Он все знает.

— Говорят, першыл — немыс.

— Ну и что? Тебе только орысы по нутру? И тот, и другой необрезанные.

— А эти немысы, которые с нами воюют, будь они прокляты, такие же?

— Не-ет... Те другие немысы. У тех, говорят, рога.

— Апырай, а?! Где?

— Спрашивает! Не знаешь, где растут рога? Или у тебя другие рога на уме?

— Тьфу, срамница! Это у тебя одни пакости на уме.

— Какие пакости? Я же про рога толкую, а тебе мерещится...

— Что мерещится? Что?!

— Необрезанные рога, вот что!

— Вот охальница, сладу с ней нет... Месяц как без мужа живет, а уже с ума сходит.

XI

Утром, после дойки, когда грузили фляги с молоком на арбу, Маруар вдруг почувствовала резкую боль внизу живота. Боль была такая пронзительная и неожиданная, что Маруар, вздрогнув, застыла с открытым ртом, не в силах ни вдохнуть, ни выдохнуть. Потом жгучая резь прошла, и боль ударила в поясницу. "Вот оно, вот оно" — леденея от страха, подумала она. Слегка сгибаясь и крепко сжимая руками бока, она пошла деревянной походкой в юртешку и обрадовалась, видя, что здесь никого не было. Она прилегла на кошму за большой кадкой с кислым молоком и почувствовала сразу, как по всему телу разливалась приятная, томительная слабость. Потом закрыла глаза, прислонилась головой к кадке и чему-то нежно улыбнулась.

Вскоре ей полегчало. Она поднялась, села на сундук, в котором доярки хранили разное тряпье, и вдруг опять ощутила толчок, будто в животе что-то переместилось. Привычная тяжесть куда-то мигом исчезла, опустилась вниз, словно уходила, покидала ее. Она замерла, ожидая, что вот-вот опять нахлынет, нагрянет, пронзит ее та невыносимо режущая боль и заранее закусила губу. Но боль не проходила, она где-то притаилась, словно готовилась ударить исподтишка, неожиданно, и Маруар, опираясь обеими руками о сундук, точно окаменела и напряженно прислушивалась к себе, к той таинственной, неотвратимо властной жизни, которая ворочалась там, под сердцем.

"Только бы не сейчас! Только бы не сейчас, о, Алла-ай! И не здесь! Только бы не здесь!" — лихорадочно твердила она про себя и со страхом поглядывала на низкую рассохшуюся дверь. Точно сквозь сон она слышала, как товарки, гремя подойниками, шли к старице, как мимо юрты проскрипела арба — это Тайшик повез молоко в район. Маруар подошла к двери, выглянула в верхнюю щель и, не заметив никого поблизости, вышла. Она быстро дошла до осины,

росшей у болота, оглянулась и свернула в балку. Сейчас она почему-то больше всего боялась людей. Ей хотелось быть одной, только одной, и в голове теперь навязчиво стучали другие слова: "Только бы добраться до дома. Только бы добраться. Аллах, дай мне дойти..." Она пробиралась по балке, поминутно оглядывалась назад, и очень ясно чувствовала, что где-то в уголке сознания застрял жуткий страх, что вот-вот ударит, подстережет ее та, уже изведанная однажды, боль и скрутит, свяжет, свалит с ног прямо здесь, на дне бурьяном заросшей балки. "Только бы добраться до дому. О, Тэнгри..."

По небу мчались кудлатые тучи. С севера дул пронизывающий низовой ветер. По широкому полю за колодцем неслись вперегонки сухие почерневшие кусты перекати-поля. Зябко дрожали, посвистывали листья березок.

Маруар вошла в чисто убранную комнату, опустилась на кровать в углу, сняла — нога о ногу — мягкие кожаные сапожки. Сердце гулко билось. На лбу выступила липкая испарина. Но не успела она отдышаться, как боль острым ножом полоснула ее по животу, в обхват, свалила на постель и тупо отдалась в пояснице. Спина и ноги мгновенно одеревенели, стали словно чужими. Зажимая рот обеими руками, она дико вскрикнула и от боли, и от неведомого страха. Эти приступы повторялись потом снова и снова, при этом через примерно равные промежутки времени боль то утихала, уходила, затаивалась где-то, чтобы накинуться потом с еще большей силой. Маруар уже ни о чем не думала, ничего не соображала, она жила сейчас только болью, ожиданием боли, и в теле, и в сознании, и всюду вокруг была одна сплошная, немилосердная, чудовищная боль.

К обеду зашла Бигайша, старуха Нуркана, заойкала, забегала, запричитала.

— Что ж ты, айналайн, не позвала никого?! Разве можно быть тебе сейчас одной, а? Ты же вся измучилась. Ну, покричи, покричи, не стесняйся. Ай, ты, бедненькая... ай, бипара...

Так говоря безумолку, она раздела Маруар, уложила ее, погладила живот.

— Помоги, Аллах! Не покидай ее, Аллах! Ой, да ты же вся мокрая, айналайн-ау. Как же ты так...

Бигайша побежала в сарай, принесла охапку дров, растопила печь и все что-то говорила и говорила.

— О-о-о-ой!.. Умру я, апа. Не могу больше, апа... — корчась от боли, стонала Маруар.

— Тайт! Тайт, негодница! Не гневи Аллаха! Не оскверняй свои уста! Опомнись, безумная...

— Не могу-у-у, апа-а-а...

Растопив печь, Бигайша побежала за старухой Назипой, повитухой. Весь вечер и всю ночь две старухи провозились с измученной роженицей и напрасно. Дитя упорно не желало появляться на белый свет.

Наутро собрался целый консилиум старух. Они испробовали все свои познания — и молились, и поплевали, и пугали, страшили роженицу, чтобы изгнать из нее шайтана, ничего не помогало.Старухи пили чай, охали, глядя на муки молодой женщины, вспоминали, как рожали они, определяли срок беременности Маруар, решили, что схватки начались раньше срока, советовались, что же делать дальше. Вспомнили, что в таких случаях в старину вокруг роженицы водили скотину, большей частью верблюдицу. Это, якобы, всегда помогало: скотина брала на себя все грехи, все беды и муки страждущей. Верблюды были только в Коктереке, решили поводить вокруг Маруар ее же корову. Для этого Маруар перенесли в шошалу, где дверь была шире, постелили ей посередине возле очага, с трудом завели упиравшуюся корову, медленно водили ее вокруг постели, кричали все вместе: "Кош! Кош! Кет!" Но облегчение все не приходило, и Маруар опять внесли в комнату.

— Может, першыла позвать? — неуверенно заметила Бигайша.

— Э, оставь.

— Думаешь, знает он что-нибудь в бабьем деле? Он, кажется, даже не женат.

— Першыл ее сразу в район, в больницу отвезет.

— О, алла! Только не это. Избавь нас от больницы!

Судили, рядили, решили послать за баксы. Правда, ему придется отдать лучшую овцу, зато он наверняка поможет Маруар разродиться.

Младшего повитухи-Назипы, скуластого мальчика лет тринадцати, отправили верхом в Жана-талап.

Баксы был личностью известной в этих краях. Жил он на краю маленького аула с молчаливой, нелюдимой женой и с тремя детьми мал-мала меньше. Никто не знал его имени: и взрослые, и малые называли его не иначе как баксы. Он, как и полагается всем шаманам-колдунам, имеющим дело с нечистой силой, внушал всем страх и невольное уважение своим таинственным ремеслом. Он нигде не работал, хотя был вечно занят и дома бывал редко. Его возили из аула в аул по всему району и даже за его пределы. Лечил он от всех болезней: стоило ему чуть побрызгать слюной на больного, повращать глазами или пощупать пульс, как мгновенно приходило исцеление. Жил он скрытной, непонятной жизнью. Дома он сидел, скрестив ноги, под навесом, смотрел отрешенным взглядом в пространство и время от времени тряс плешивой головой, покрытой засаленной тюбетейкой, бормоча что-то бессвязное и таинственное. И женщины, и дети побаивались его. Он же их, казалось, не замечал. Говорили о нем всякое. Рассказывали, будто ночами он рыщет по аулу, заглядывает в окна, подслушивает. Уверяли, что у него дурной глаз. Однажды, якобы, он ехал в кабине с шофером из Коктерека. Как ни старался шофер, а из оврага выбраться не мог. Тогда баксы вышел из кабины, лег на траву ничком, закрыл рукой глаза, и только после этого машина вскарабкалась на бугор. Люди избегали смотреть ему в глаза.

Баксы не заставил себя долго упрашивать. Старухи услужливо встретили его, ввели в дом, напоили крепким чаем со сливками. Потом баксы сделал знак, чтобы все, кроме Бигайши, ушли и приступил к своему делу. Маруар примолкла, сумным взглядом следила за движениями баксы, казалось, она вообще плохо осознавала, что происходило вокруг.

За окном гудел-свистел осенний ветер, скрипела-стонала старая осина на кладбище. В комнате было сумрачно, в печке пылал-потрескивал огонь, и в тусклых отблесках огня плешивый, плюгавенький баксы казался женщине Азраилом, пришедшим в предсмертный час за ее душой...

Давид Павлович вернулся после полудня. Он сильно устал: еще позавчера он выехал вместе с Нурканом в Каратал, оттуда за ним прискакали из Алка-агаша. Оказалось, трое малышей объелись белены. Потом он завернул зараз и в Козловку — маленький хохлацкий хуторок, затерявшийся в лесу.

Дома он осмотрел рыболовные снасти, которыми охотно снабжал его Есильбай. Хотелось к вечеру часок-другой посидеть с удочкой на берегу старицы или поставить на ночь у Каменного брода несколько жерлиц. Пока он собирался, пришел Жарас и хмуро сообщил, что Маруар кричит второй день, никак не может разродиться и что теперь у него в стаде станет еще на одного барана меньше, потому как старухи пригласили баксы, который, непременно, этого барана заберет с собой. Давид Павлович, ничего не говоря, схватил свой чемоданчик-аптечку и вышел.

Еще с улицы он расслышал однообразный, истошный крик. "А, а-а-а-ай!" — охрипшим от боли голосом вопила женщина. Возле дома не было ни души. Он осторожно открыл дверь и опешил. В комнате пахло паленым. Окна были завешаны какой-то рванью. В середине на лежбище из толстых одеял, под грудой разного хлама билась-корчилась Маруар. На бледном, перекошенном лице зиял застывший в немолкаемом крике рот. Волосы разлохматились, глаза закатились куда-то под лоб. С потолка, с железного крюка спускался к изголовью толстый волосяной аркан, к которому веревкой поменьше были привязаны руки женщины. Вокруг постели ошалело бегал, размахивая руками и вращая глазами, баксы. Он был в лохмотьях и отрепьях, босой. Маленькая плешивая голова судорожно дергалась, как у эпилептика. Баксы был в экстазе. Он бегал и бегал вокруг несчастной женщины, что-то без умолку бормотал, выкрикивал, потом опускался на колени, растопыривал узловатые, грязные пальцы, наклонялся морщинистым, заросшей щетиной лицом к лицу, свистяще произносил: "с-с-с-с-ууу-ф|ф|ф..." и брызгал коричневой слюной. В углу возле печки сидела на корточках страшно перепуганная старуха и тоже что-то бормотала про себя. Фельдшеру стало не по себе. Этот сумасшедший оборванец, исступленно метавшийся вокруг роженицы, действительно внушал ужас. Ни баксы, ни старуха, закутанная в белом, не замечали фельдшера. Баксы, ошалело крутя головой, начал бить себя по ляжкам, подпрыгивать и, растопырив черные искривленные пальцы, отталкивать кого-то от себя руками. Потом он вдруг передернулся, перекосился весь, завыл, заскулил, бросился к печке, отшвырнул заслонку, выхватил раскаленный топор и пошел,

пританцовывая, размахивая топором над самой головой женщины. Роженица рванулась, выгнулась под ворохом тряпья, закинула голову, зашлась в пронзительном крике.

— Прекрати, сволочь! Дикарь!

Одним прыжком фельдшер очутился возле осатаневшего баксы и изо всех сил толкнул его в плечо. С грохотом отлетел топор, баксы шмякнулся у порога, с головы его скатилась тюбетейка. "Так у него же парша", — мелькнуло в голове фельдшера.

— Ойбай-ау! — взвизгнула старуха и схватилась обеими руками за ворот.

Баксы лежал на боку, поджав ноги, мелко-мелко трясся и одновременно со страхом и ненавистью смотрел воспаленными глазами на незваного гостя. Его все боялись, боялись во всей округе, все знали, что он обладает сверхъестественной, колдовской силой, и вдруг этот пришелец, худющий, долговязый першыл посмел поднять на него руки в то время, когда он изгонял шайтана, поселившегося в грешную душу роженицы! Все так же дрожа, баксы ловко дотянулся до топора, вскочил, завизжал, состроил свирепую рожу и надвинулся на фельдшера.

— Ал-лай! — вскрикнула старуха.

Фельдшер отступил на шаг, резко повернулся боком и, крякнув, всем телом ударил баксы в грудь. Тот вылетел в дверь, широко раскинув руки.

— Вон, вон отсюда, паршивец!

Роженица приподняла голову, на мгновенье перестала кричать и с недоумением посмотрела на фельдшера. Он закрыл на крючок дверь, отпихнул в угол топор, сорвал с окон тряпье, развязал Маруар руки.

— Что сидишь? — обратился он к старухе. — Давай, воду грей. Вот в этом казане. Су, су! — крикнул он, чувствуя, что старуха его не понимает. Потом оглядел комнату, поморщился. — Постель стели сюда. Вот в этот угол. — Он показал жестом. — Чистую постель. Таза! А это все убери. Быстро! Тез!

Бигайша с готовностью закивала головой, поправила платок, даже улыбнулась фельдшеру и принялась за дело. Только не стала наливать воду в казан, а принялась разжигать пузатый медный самовар. "Что ж... Может, это быстрей", — подумал он.

В дверь заколотили со страшной силой. Видно, баксы орал колом. Старуха, вытянулась, глянула испуганно на фельдшера. Тот откинул крючок, прижался к косяку, одной рукой чуть приоткрыл дверь. Вытянув вперед руки с растопыренными пальцами и выпучив красные от бешенства глаза, баксы ринулся было в дом, но фельдшер цепко схватил его за ворот, потряс изо всех сил.

— Сейчас же мотай отсюда! А то свяжу арканом и в район в милицию доставлю. Понял? Кет, кет, ит-шошка!

При слове "милиция" баксы сразу же сник, отступил назад, бормоча что-то под нос. Потом полоснул еще раз фельдшера ненавистным взглядом и ушел, затаив звериную злобу. Слышно было, как он бормотал ругательства: "Оттуойматъ!.. сил-лят!.. Немыс... си-гейн..."

И Маруар, и фельдшер, и старая Бигайша не сомкнули в ту ночь глаз. Ребенок шел ножками вперед, и возить роженицу темной осенней ночью на тряской телеге в районную больницу за двадцать пять верст было уже совершенно немыслимо. Фельдшер понял, что он обязан действовать на свой страх и риск. При свете подслеповатой семилинейки, обливаясь липким потом, он обработал остатками спирта руку, придал ребенку правильное положение, и на рассвете — за окном едва забрезжило — пришел в этот свет маленький сморщенный, как червячок, большеголовый человечек. Трясущимися от усталости и напряжения руками фельдшер перерезал пуповину, схватил, как щенка, за ноги, похлопал несколько раз по розовому, сморщенному задику и вздрогнул от визгливого, властного крика. Бигайша, что-то прошептав, нагнулась к углу, где стояла посуда, достала кусочек масла и швырнула в огонь. "Обычай, что ли..." — подумал фельдшер. Передав ребенка старухе, он подошел к изголовью, хотел что-то сказать измученной женщине, но от волнения пропал голос. Клочком бинта он вытер ей лицо, пощупал пульс, и в это время почувствовал вдруг такую слабость, что сразу же опустился на колени и прислонился к стенке. Потом еще раз наклонился к лицу женщины, прислушался к ее дыханию и, сказав старухе, чтобы поглядывала за роженицей, отполз в угол и тут же, свернувшись калачиком, уснул.

Проснулся он очень скоро от какой-то возни и свистящего шепота. Он приоткрыл глаза и увидел, как три стару-

ки, белея в сумрачной комнате жаулыками, хлопотали возле печки. Одна растапливала в большущей кружке масло, другие наливали из самовара в тазик воду. "А, купать младенца будут". — догадался фельдшер и снова впал в дрему. Через мгновение он опять с усилием приоткрыл глаз и увидел, как одна из старух поила Маруар растопленным маслом из кружки. "Как это можно?.. Ее же тошнить будет... Или и это обычай". — вяло, сквозь сон, подумалось ему. Он порывался встать, но не мог: усталость и сон сковали его. Потом он увидел, как Бигайша сыпала в воду соль, и он опять поразился, почему младенца купают в соленой воде. Ему хотелось спросить, вскипятили ли воду, но тут же ему почудилось, что все это он видит только во сне, а на самом деле нет ни старух, ни воды, ни соли, ни даже его самого.

Часа через два он, наконец, одолел усталость. В окно струились утренние лучи. Было чисто прибрано. Маруар смотрела в потолок, измученно улыбалась, прижимая к боку лежавший рядом крохотный сверток. Стайка старух и молодаек сидела вокруг скатерки и пила чай. Заметив, что фельдшер проснулся, стали наперебой приглашать к дастархану. Он подошел к Маруар. Она смутилась, натянула до подбородка одеяло.

— Ну, как, мама молодая?

Она вспыхнула, прижала сверток покрепче, тихо сказала:

— Хорошо.

— Вот обрадуется Газиз. Как назовешь дочку?

— Не знаю еще. — улыбнулась она. — Той будет, люди назовут.

— А как бы ты хотела?

— Женис. — тихо прошептала она.

— Женис? А что это значит?

— Победа.

— Хочешь, чтобы муж вернулся с победой, да?

— Ия, ия!

— Ну, ну... Грудь не болит?

Она вся зарделась, но не ответила.

— Ладно. Если надо будет, зовите меня. Поняла? И никаких баксы.

— Рахмет, першыл. Спасибо!

Он собрался уходить, но старухи силком усадили его за дастархан. Он присел на колени, выпил чашку густого, коричневого чаю, съел кусок лепешки с маслом и поспешил в сельсовет. Там каждое утро, в девять часов, можно было слушать по телефону последние известия: сообщение совинформбюро.

XII

Три месяца прошли в нескончаемых заботах и делах как один день. Степной ветер давно уже сорвал с деревьев последние листья и согнал в овраг за аулом, где их плотно прибил к земле осенний нудный дождь. Почернела степь, обнажились леса, приуныли дома. Солнце ходило все ниже и ниже и иногда надолго скрывалось за грязными, как сваявшаяся шерсть, тучами, словно стыдясь своего бессилия. Дуло с запада все яростней, все злее. Буря пооборвала телефонные провода, теперь по утрам нельзя было слушать последние известия, за почтой из-за распутицы старик Нуркан ездил редко, а от газет, приходивших с недельным опозданием, веяло тревогой. Чувствовалось, что война кончится нескоро, и по всему будет она затяжной и изнурительной. За эти месяцы мужчины в аулах сильно поредели.

Неожиданно выпал снег. Он выпадает всегда неожиданно. Еще вечером нехотя, лениво сеял дождик, а утром все было белым-бело. И такая тишина вдруг нависла над миром, осязаемая, плотная, хоть режь ее ножом. Но уже к обеду снег растаял, и потом целую неделю стояли солнечные, безветренные дни. Давид Павлович съездил в район, привез кое-какие медикаменты ("экономьте каждый клочок ваты и бинта", — предупредил его горбоносый, лысый аптекарь Бронштейн, из административных высланных), обошел еще раз все аулы, входившие в его радиус, распилил и расколол с помощью Жараса телегу дров. И все получилось очень кстати, потому что по небу беспокойно заметались пестрые облака, потом угрожающе надвинулись хмурые тучи, и вдруг запуржило, завьюжило, завыло, все погрузилось в белую круговерть и целых пять суток безумствовал буран. Лишь на шестой день он, наконец, выдохся, наметав сугробы по самые крыши. Плоскокрышие приземистые халупы и

вовсе занесло снегом. Иным из аулчан приходилось выбираться на божий свет через крыши сараев и потом откапывать окна, пробивать проходы к дверям и воротам. В школу ходили только старшеклассники.

Давид Павлович по обыкновению просыпался рано и, прислушиваясь к неистовым завываниям пурги, лежал еще некоторое время в приятной дреме. "В такую погоду и носа не высунешь, — говорил он сам себе. — Отоспаться надо". И в самом деле не было случая, чтобы за последние три месяца он спал бы более пяти часов в сутки. Однако по утрам не спалось. Он вставал, зажигал пятилинейку на плите, растапливал печь и, дождавшись, пока березовые полена ярко разгорались, уходил с лампой в медпункт. Там он тоже, не дожидаясь сварливой уборщицы Сапыш, затоплял печь, потом, накинув на плечи полушубок, подаренный ему Есильбаем, и придвинув ближе лампу, брался за отчет. "Писанину" он и раньше не терпел. "Больше строчим, чем лечим", — часто ворчал он. Но в райздраве отчеты и разные сведения требовали каждый месяц.

Давид Павлович вывалил на стол ворох исписанных бумажек, записные книжки, блокноты, принялся заполнять громадные конторские книги, раздобытые в сельсовете, сведениями о количестве детей от нуля до двух лет, от двух до четырех, от четырех до шести и так с двухлетним интервалом до четырнадцатилетнего возраста. Потом составил список детей, которым была привита оспа в предыдущем месяце, и тех, кому еще предстояло делать прививки. Требовались сведения о детях, вновь рожденных за месяц, умерших, прибывших, выбывших, из них до двух лет, от двух, до четырех лет и снова, до четырнадцатилетнего возраста с интервалом в два года. После этого он принялся за списки вакцинированных, потом ревакцинированных детей. С детьми, однако, все обстояло более-менее понятно: данные были почти точные. Полная неразбериха была с женщинами. О них он располагал весьма приблизительными сведениями. Над графой: "Сколько всего беременных женщин в радиусе медпункта?" он каждый раз просиживал подолгу. Ни одна за все эти месяцы не посчитала нужным добровольно докладывать фельдшеру о своем положении. После благополучного разрешения Маруар женщины иногда приходили в

медпункт, но приводили детей, а сами показывали себя неохотно. Можно было только строить догадки, что при широких длинных платьях и камзолах было не так-то просто. "Сколько за отчетный период было выявлено рожениц?" — спрашивала следующая графа. И на этот вопрос старик-почтальон или Есильбай могли бы, пожалуй, ответить точнее, чем молодой пришлый фельдшер. В райздраве каждый раз напоминали: добивайтесь, чтобы ни одна женщина не рожала без медицинской помощи, надо кончать с пережитками феодализма. Но сами женщины с упрямой настойчивостью избегали эту самую медицинскую помощь. Никого нельзя было уговорить поехать в Марьинку в родильный дом. Это считалось вроде как неприличным. И вообще женщины в аулах скрывали свою беременность, а о сроках беременности, как правило, ни одна представления не имела. В каждом ауле были свои повивальные бабки, и о роженицах фельдшер чаще всего узнавал от почтальона, который, как бы между прочим, сообщал, что в таком-то ауле такая-то его сноха "баранчук таскал". Всех женщин-молодиц старик называл своими снохами. Потом фельдшер укорял, стыдил этих снох, которые без его ведома, скрывая от него, "таскали баранчуков", но женщины или смущенно молчали, или несли чушь в том смысле, что "бог даст-та все хорошо будет, а не даст, так никакой першыл все равно не поможет". И он был бессилен возражать против такой логики. "Из них доношенных и недоношенных?" — любопытствовала графа. И на этот вопрос не было ясного ответа. Вообще "женский вопрос" приводил его в уныние. Требовалась долгая и терпеливая работа. Своими сомнениями он как-то поделился с Яковчуком, райздравом. "Что ж... — сказал тот. — Пункт называется фельдшерско-акушерским. А вы — заведующий. Это значит и швец, и жнец и на дуде игрец. Понимаете?" Конечно, чего тут не понимать...

Немало путаницы было и с фамилиями детей. Фельдшер в начале ничего не понимал. Семилетний сорванец Ибрагим Омаров из аула Коктерек в следующий осмотр превращался вдруг в Коспанова, а еще через два месяца он уже становился Жумановым. Потом, после долгих расспросов, выяснялось, что Ибрагим, которого, кстати, все звали Ибжаном, — сын Жумана, но поскольку он был его первенцем,

то считался по казахским обычаям дедушкиным и потому получил фамилию от имени деда — Коспанов. А брату Коспана — Омару всевышний не дал сыновей, потому мальчика как бы передали ему и, следовательно, присудили ему фамилию Омаров. А потом, когда пришла похоронная от Жумана, мальчика тут же снова переименовали в память погибшего отца: Ибрагим стал Жумановым. И таких случаев было в аулах сплошь и рядом. Чтобы не запутаться окончательно, фельдшер к каждому имени приставлял сразу же несколько фамилий. И все дети в списках шли под двойными, а то и под тройными фамилиями.

Фельдшер писал отчет, а перед глазами стоял его Арношка. За эти месяцы он написал в Энгельс раз пять, сдавал письма сам на районную почту, а вразумительного ответа все не было. Пришло одно куцее письмо, к тому же вымаранное военной цензурой, от отца Лиды. Дескать, время трудное, город наводнен эвакуированными, Лида пошла работать в лазарете. Арношка здоров и люто ненавидит немцев. Так и написал учитель истории: "ненавидит немцев".

Бедный мальчик... Что он понимает? Неужели и Лида, как тутошние казахи, изменила ему фамилию? Может, его малыш уже и не Эрлих, а Истратов? Хм-м... Арнольд Истратов... Не очень убедительно звучит... Лишь бы здоров был... лишь бы горя не знал, потом после войны, как-нибудь разберемся. И с Лидой тоже. Горе всему научит, всех образумит...

В буранные дни и в мыслях чувствовался полный разброд. Порой фельдшеру казалось, что он заблудился в этом мире, будто какая-то сила занесла его на необитаемый остров. Думалось: может, и ему уготована судьба Есильбая? Как-то старик подробно поведал свои приключения. По его словам, он был из чалдонов, из сибирской деревни, за Иртышом. Случилась с ним, здоровенным парнягой, пылким и бесшабашным ухарем, любовная история: спутался с жаркотелой молодкой местного богатея. Грозили ему расправой за прелюбодейство. Пришлось однажды спасаться бегством. Уже за Иртышом, рядом с киргизской, как говаривали тогда, степью, он заметил погоню. Разъяренные прихвостни богатея преследовали его, одинокого, вооруженного одним лишь

увесистым дрыном, несколько дней. Лошадка под ним обезножила, и настигли его, наконец, неподалеку от тугайных зарослей прибрежья Есиля. Он так и не успел спрятаться в чащобе. Настигли, стянули с лошади, сбили с ног и исхлестали камчами всласть, потом пинали, будто куль с мукой, остервенело, исколотили в кровь, до потери сознания, а напоследок один из мстителей-извергов проткнул ему грудь железным прутом...

Не знал буйный Егорушка, незадачливый любовник, сколько дней и ночей умирал он в степи близ Ишима... Очнулся в убогой юрте, обложенный кошмами, измазанный конским жиром. От очага посередине юрты тянуло кизячным дымком, до слуха доходила незнакомая гортанная речь...

Вначале его называли "урусом", потом — Есильбаем, в память того, что нашли его, обескровленного, без сознания, возле реки Есиль.

Много недель, месяцев прошло, пока он снова окреп и встал на ноги. Рана в груди затянулась — старик показал грубый рубец на груди, заросший сивой щетиной. Как-то он случайно увидел в воде свое отражение и обомлел: в бородатой, осунувшейся, лохматой, с проседью, образине он не узнал прежнего дерзкого красавца Егорушки.

Он стал Есильбаем. Через год-два его омусульманили, оженили, стал он жить в отдельной юрте с приземистой, послушной сиротой Балшекер.

Он знал много ремесел, и в ауле был незаменим. Его уважали, слушались, почитали. Он смирился со своей участью и воспринимал себя отныне только Есильбаем.

Живет человек и не знает, что ему уготовано. Вот и его, Давида Эрлиха, все чаще зовут "Даутом", "першылом" и не мудрено в такие метельные дни, в лихолетье, и вовсе свихнуться и напрочь забыть, кто ты и откуда родом...

Вьюга неистовствовала за окном. В печной трубе гудело, завывало. Маленький аул на берегу Ишима заваливал, засыпал снег. Огромные сугробы горбатились возле домов, зыбились, как барханы в пустыне. Стылая мгла окутала мир.

XIII

"Работа по переселению немцев Поволжья уже началась, и к нам в Казахстан уже прибывают первые партии переселяемых. Естественно, что среди них будут встречаться элементы, недовольные этим мероприятием правительства и враждебные по отношению к советской власти. Необходимо принять меры к недопущению распространения влияния этих элементов на местное население".

(Из директивного письма ЦК КП(б)К партийным органам республики. 4 октября 1941 г. Сов. секретно".

Глухими зимними вечерами на сердце наползала тоска. И тогда Давид Павлович тщетно пытался найти себе какое-нибудь занятие, чем-нибудь отвлечься, все валилось из рук, и сердце с такой явственной болью сжималось, щемило, ныло, подолгу не отпуская, а в горле застревало удушье. Он чувствовал себя зверем, угодившим невзначай в капкан. Ему вспоминался рассказ старого охотника-беркутчи Абильмажина: волк, попадая в капкан, случается, в отчаянии перегрызает себе лапу и, зализывая рану, уходит на свободу. Но он, Давид Эрлих, не был волком, он даже смутно представлял, из какого капкана ему следовало бы вырваться и также неясно — на какую свободу и где эта свобода. Лихорадочные обрывки видений, затейливые и тревожные клочки воспоминаний роились в воспаленном мозгу, и он ворочался на постылой, казенной, с утрамбованным матрацем кровати, забываясь в зыбком, изматывающем сне лишь под утро. Одни и те же однообразные, отупляющие сознание мысли вхолостую вращались, мельтешили в голове, и он тогда ощущал себя не волком в капкане, а подстреленным зайцем в мешке охотника.

Жизнь в полном неведении медленно убивала его. Что творится на белом свете за пределами приишимских аулов? Где его братья, сестры, племянники? Как живется Лиде, его благоверной, там, на Волге? Видно, сутками пропадает в ла-

зарете, коли и писать ей недосуг. Вспоминает ли отца сынишка Арно? И не эвакуировали ли их куда-нибудь? И сколько эта, неопределенность будет продолжаться? Что-то не похоже, что бойня с Гитлером быстро закончится малой кровью, могучим ударом, как пелось в песне. И кто в состоянии ответить, сколько ему мыкаться в этом краю, как выброшенному в одночасье житейской волной на неведомый остров? В чьей воле его нескладная судьба? И может ли он сам своим усилием, своей волей что-либо изменить в этих несуразно сложившихся обстоятельствах?

Ответа не было. А вопросы только множились, дробились, роились, как микробы в капле воды под микроскопом.

Неотступно вспоминались Указ о выселении и сама спешная, трагическая, необъяснимая, как кошмар, как наваждение, как слепая стихия, тотальная депортация с родных, насиженных мест в черные сентябрьские дни. На память вновь и вновь приходили тяжелые, как удар кувалдой, и хлесткие, как пощечина, обидные слова Указа о тысячах и десятках тысяч диверсантов и шпионов среди мирного немецкого населения Поволжья, о карательных мерах в случае кровопролития по законам военного времени, и в который раз думалось: "Неужели это так? Может, он, рядовой коммунист, заведующий кантонным здравотделом, просто многое не замечал, не видел, не знал?"... Он перебирал все свои памятные годы — комитет бедноты, ликбез, союз безбожников, сельскую комсомольскую организацию, учебу в рабочей школе в Розенфельде и в военно-лекарской школе в Ленинграде, семилетнюю службу в рядах РККА, работу в летной школе под Энгельсом, вспоминал всех своих знакомых — военных, командующих, летчиков, врачей, потом — кантоновских руководителей, передовиков хозяйств и не находил среди них ни одного шпиона или диверсанта, ни одного оборотня, ни одного — на худой конец — пакостника.

Тогда что же означают слова обвинения в Указе? И почему он, партиец, беспрекословно верящий каждому слову партии и ее вождей, вдруг позволяет себе сомневаться в истинности этого непостижимого акта в отношении целого народа? Он помнил во всех мелочах ту субботу — 30 августа 1941 года — когда в "Нахрихтен" по-немецки, а в "Комму-

шисте" по-русски был опубликован этот сногсшибательный Указ, подписанный всесоюзной старостой Калининым и секретарем Президиума Верховного Совета СССР Горкиным.

Майн Готт, какие слова — слова-булыжники, слова-карающий меч, слова-смертный приговор!

"... немецкое население районов Поволжья скрывает в своей среде врагов советского народа и Советской власти".

"...В случае, если произойдут диверсионные акты, затеянные по указке из Германии..."

" ...Советское правительство по законам военного времени будет вынуждено принять карательные меры против всего немецкого населения Поволжья..."

"Во избежание таких нежелательных явлений и для предупреждения серьезных кровопролитий... переселить все немецкое население ..."

В чью коварную, изощренно-садистскую, палаческую голову они, слова эти, могли только прийти? Приговор не одному человеку, не группе отщепенцев, не какой-то презренной шайке предателей, если даже таковые были, а целой нации, целому народу, сплошь, поголовно, без исключения, включая неразумных деток и престарелых немощных старцев! Нет, такое и вообразить невозможно! Ведь было памятное сообщение ТАСС, опубликованное в середине июля 1941 года в "Правде" и не допускавшее ни малейшего сомнения в патриотизме российских немцев. В этом сообщении говорилось: "В дни отечественной войны трудящиеся Республики Немцев Поволжья живут едиными чувствами со всем советским народом. Рабочие, колхозники, интеллигенция мобилизуют все свои силы для победы над гитлеровской сворой, поработившей германский народ, поработившей многие народы Европы. Тысячи трудящихся республики с оружием в руках пошли бороться против бешеного германского фашизма".

Текст этого сообщения Давид Эрлих переписал в свой блокнот и многократно его повторял на митингах, на которых юноши-немцы тотчас подавали заявления о просьбе зачислить их в Красную Армию добровольцами. И всем в республике было известно, что тысячи и тысячи немцев Советского Союза честно и преданно служили с первого дня войны на самых передовых участках западного фронта.

И вдруг — как снег на голову, как подлый удар из-за угла — этот зловещий Указ! Как же могло случиться, что тысячи трудящихся немцев Поволжья, которые с оружием в руках боролись с гитлеровцами, согласно сообщению ТАСС, через полтора месяца — по словам Указа от 28 августа 1941 года — обернулись пособниками фашизма?!

Нашелся бы хоть один разумный человек, который смог бы доступно и понятно объяснить, что бы все это значило, кому и с какой целью понадобилось оскорбить, унизить, растоптать, обречь на изгнание, на муки, на гибель целый народ, более мирного, законопослушного, покладистого и трудолюбивого которого и вообразить себе невозможно?!

"Wo ist der verfuchte Hund begraben?"[1] — спрашивал себя спецпереселенец-фельдшер. Где эта мерзопакостная собака зарыта? Что за этой немыслимой жестокостью кроется? Неужели и тут проявились злокозни и коварство подлого Адольфа? Или это акт мести? Против кого? За что? И неужели эта месть, эта кара оправданы какими-то недоступными ему, изгою, высшими политическими целями? Не является ли это просто-напросто плевком в душу народа? Осуществлением той самой карательной меры, которой откровенно пригрозил Указ? И не кроется ли за этим государственное, политическое недоверие к народу, который со времени Екатерины Великой сделал столько добра огромной империи, что до определенного срока особенно и не скрывалось? Неужто под предлогом войны с презренным фашистским фюрером кем-то всесильным задумано таким образом тайное возмездие всему тевтонскому племени?

От этих вопросов пухла голова, начинало колотиться сердце, становилось не по себе, и он вскакивал посреди ночи, начинал метаться по комнате и ненавидел, презирал себя за то, что никак не может уйти, избавиться от этих изнурительных сомнений, с которыми ему здесь, в аулах, и делиться абсолютно не с кем. Ни одна душа в этой глухомани вразумительно ответить ему не сможет. Более того, не в состоянии уразуметь его ночные душевные терзания. И никому из его знакомых казахов нет дела до того, что творится в его душе. Выходит, он обречен на одиночество. Он как бы замкнулся поневоле в одиночестве собственного сердца.

---

[1] Где эта проклятая собака зарыта? *(нем.)*.

" Нет... тут что-то не так... Не может быть! Не должно быть!" — с отчаянием и упорством убеждал он самого себя. Тут либо какая-то страшная, фатальная ошибка, либо вражеские происки, либо чья-то недоверчивая, подозрительная, излишне осторожная и мстительная воля... Со временем он окончательно убедился, что в своих одиноких ночных раздумьях вошел он в тупик, глухой и безнадежный, что ему одному не сладить с этим потоком сомнений, водоворотом терзаний и что во всей округе нет ни одного человека, ни единой души, которые могли бы объяснить потаенную суть случившегося народного горя и утишить его смутную тревогу. Он полагал, что все его сомнения сами по себе разрешатся победоносной войной с Гитлером, лишь скорая победа, в которой ничуть не сомневается великий вождь, развеет и его, одного из спецпереселенцев, тревогу, ответит на все вопросы и расставит, восстановит все по высшей справедливости. Значит, понапрасну он терзает, изводит себя неразрешимыми им вопросами. Ответ на них принесет только победа над фашистской мразью.

Он засыпал измученный, истерзанный, проваливался накоротке в забытье и видел чаще всего одни и те же страшные и бесконечные сны, которые являлись в сущности отражением недавно пережитой яви.

... Либер Хайланд, какая суматоха началась в селах и кантонных центрах, едва был обнародован Указ Президиума Верховного Совета СССР "О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья"! Казалось, всю республику охватил пожар, будто необоримый степной пал загудел разом по обе стороны Волги — и на Bergseite, и на Wiesenseite — и в горной, и в долинной частей, и на правом и левом берегах.

В сознании немецкой верхушки автономного руководства внедрялись неукоснительные убеждения, что всеобщее выселение — вынужденная превентивная мера, объясняемая только суровыми законами военного времени, крайние обстоятельства, которые обсуждению не подлежат, и что если в этом жестком или жестоком решении кто-нибудь и виноват, то исключительно сами немцы, все эти вольгадойче или фольксдойче, назови, как хочешь, ну, может, головорез, бандит Гитлер, но только не Советская власть, не советское — в корне своем демократическое и гуманистическое — пра-

вительство, не советский народ и тем более его великий вождь. Да, да, виновных следует искать только среди немцев. В своем несчастии — если они тотальную депортацию считают таковым — виноваты только они сами. Следовательно, пусть пеняют на себя! Или на свою императрицу единокровную, которая соблазнила их российскими просторами почти двести лет тому назад...

Большинство руководителей АССР НП из числа немцев и восприняло этот Указ в таком духе и действительно в строгих рамках положенного, то есть, всячески способствовало организованному — без сопротивления, без провокаций и каких-либо эксцессов — выезду своих попавших в немилость властей соплеменников. Раз есть такая установка родной Partei und Regierung, значит, надо ее исполнить с великим, поистине немецким тщанием. На безукоризненное проведение всеобщей депортации — кстати, это слово было не в чести, оно почти не употреблялось, так как не совсем гармонировало с декларируемыми гуманизмом и демократией, а предпочитали говорить: "эвакуация" или "выселение" — были брошены не только местная власть, армия и НКВД, но и партийцы-активисты из числа самих депортируемых. Так повелось искони: палач совершает свое подлое дело с помощью жертвы. Более того, изощренному палачу жертвы не только добровольно помогают, не только облегчают его кровавый труд, не только способствуют исполнению его черного замысла, но и еще как бы униженно благодарят за причиненные муки и погибель. В этом и заключается услада истинного палаческого искусства.

С выселением российских немцев так и получилось.

Тихая, уютная, благоденствующая республика со своим образцовым порядком за несколько дней превратилась в зону бедствия. На раздумье времени не оставалось.

Вместе со многими активистами кантона по заданию канткома партии Давид Эрлих с раннего утра до поздней ночи мотался по немецким деревням и селам, оказывая посильную помощь в организации выселения. Картины жуткого народного горя раскрылись перед ним. Всюду выселение проходило в страшной спешке. Люди не понимали, что к чему. Спрашивали друг друга, что можно брать с собой, в каком количестве, на какой станции состоится погрузка и в

какой состав, как туда добираться, какой партией кого куда отправят, как быть со скотом, кому передавать дома, подворье, нужно ли все отразить в каких-то документах или все бросать, оставлять на произвол судьбы и, голыми-босыми бежать, бежать с насиженных мест, словно с пожара, куда глаза глядят.

На другой же день, как только был обнародован Указ о выселении, все села и деревни республики Немцев Поволжья были окружены вооруженными красноармейцами и энкаведешниками. Хмурые, молчаливые, неприступные, они строго следили за тем, как суматошились немцы, не спускали глаз с общественных предприятий, выставили охрану у сельсовета, у школы, клуба, ферм, баз, у зернохранилищ и водоемах, ходили по дворам, зыркали и шмонали по углам, пугая женщин и детей, не выпускали из деревень ни одной живой души, ибо каждый немец находился на строгом учете. Грозный вид вооруженной охраны стращал даже деревенских пустолаек, они трусили между домами, поджав хвосты и низко опустив морды. Всем стало ясно, что слова Указа о карательных мерах против всего немецкого населения отнюдь не были пустым звуком. Никаких человеческих контактов с выселяемыми со стороны красноармейцев или энкаведешников не допускалось. С первого же дня выселения четко подчеркивалось: вчерашние добродушные и простодушные немецкие камерады обернулись если и не совсем врагами советской власти, то по крайней мере "ненашими". Никаких дружеских приветствий: "Рот фронт!", еще недавно распространенных повсюду после того, как сам великий вождь на съезде колхозников в Кремле приветствовал однажды этими словами делегацию из автономии Немцев Поволжья, никаких тельмановцев. Вчерашние руководители республики и кантонов, партийные и комсомольские вожаки из числа коренных немцев чувствовали себя перед любым представителем бдительных органов нашкодившим и провинившимся сорванцом.

Осеннее солнце отстраненно взирало на разливанное людское горе. По белесому небу метались тучи. Со степей тянул прелый дух увядания. С наступлением серых сумерек окрестности оглушал неутешный собачий вой. На рассвете вразнобой и задавленно, словно через силу, с оглядкой, хрипло надрывались петухи.

Давид Павлович, точно заведенный, метался по деревням Гнаденфлюрского кантона. То, что он видел в эти дни, ввергало его в тоску и уныние. В Мариенбурге селяне на двух десятках подвод медленно и скорбно, не проронив ни слова, молча, вдруг все враз онемели, потянулись на станцию Плес. За эти дни уполномоченный кантона по организации переселения привык к исступленным женским крикам, плачу детей, сдержанным мужским ругательствам и проклятиям, а тут на добрый километр растянулось скорбное, сплошь онемевшее от горя и обиды кочевье. На возах, среди сундуков и тюков, сидели древние старцы, седые, опрятные старухи, пригорюнившиеся дети, рядом понуро брели обветренные, загорелые, крепкие мужчины; тут же, чуть поодаль, трусили разнопородные деревенские псы — и все молчали, будто дали зарок молчания. Молчали старики, глядя слезящимися глазами туда, где оставалась брошенная родная деревня, где невидимыми тенями метались духи предков; молчали дети, не понимая, что творится вокруг, угнетенные горем родителей; молчали мужчины, отлученные от привычной, строгим укладом освященной работы, от родных домов, от всего привычного и казалось бы незыблемого, что составляло смысл их жизни. Даже собаки приуныли, чуяли невыразимую беду, трусили преданно и верно, сопровождая своих убитых горем хозяев, будто на погост в открытой степи. И кони не фыркали, шли обреченно. И хорошо смазанные, ладно сработанные колонистские фуры и рыдваны не скрипели. Со стороны казалось, что движется мертвый обоз в страшном нескончаемом сне.

Давид Павлович стоял на обочине дороги, взирал на это скорбное шествие, узнавал среди мужчин знакомых, поднял им вслед руку, но ни один не откликнулся, словно никто его не видел.

Стоял завкантздравом, уполномоченный партии по выселению немцев Поволжья на обочине проселочной дороги один-одинешенек, как столб, усталый, измученный, пыльный, потрясенный и растерянно глядел вслед своих соплеменников, уходивших в неизвестность, в никуда. Люди молчали, покорные судьбе, и подсознательно чувствовали, что прощаются со своим прошлым, со своей малой родиной навсегда, на веки вечные. Они ехали и шли в сторону станции Плес, точно на Голгофу.

Такое грозное молчаливое шествие, похожее на движение бесплотных теней на огромном полотне, Давид Эрлих видел впервые, и то, что он видел в затерявшемся в заволжской степи католическом селе, потрясло его.

В эти горестные сентябрьские дни он видел вмиг опустевшие, хорошо обустроенные, с любовью и тщанием обжитые немецкие деревни, по которым неприкаянно бродили недоенные коровы, козы с красными воспаленными глазами, обезумевшие, оставленные хозяевами собаки. Из распухшего вымени коров и коз струилось молоко, белое, белое, оставляя темный след на пыльной земле. Коровы дурниной ревели от боли, отчаяния и беспамятства у ворот, у калиток домов в ожидании ласковых рук хозяек с чистыми полотенцами на плечах и с подойником в руках. Чисто промытыми стеклами бездушно взирали на них молчаливые дома. По крышам, по штакетникам и изгородям, вздыбливая шерсть, гуляли, дико посверкивая зелеными искрами глаз, огромные ухоженные коты. В прудах, котлованах, на речках было белым-бело от оставленных без присмотра гусей и уток. В положенный час гусиные стаи, чинно ведомые вожаком, возвращались с водопоя домой, подолгу гоготали у знакомого плетня и, не дождавшись желанного корма, потоптавшись некоторое время в недоумении, вновь гуськом отправлялись к пруду.

Перезревали плоды в неубранных садах.

Диковинные чучела охраняли ухоженные огороды.

Замерли, застыли на полях с полными бункерами комбайны. Настоенный разнотравьем поволжский ветер вольно гулял-озоровал по безлюдному жнивью, трепал налитые золотом колосья.

Все, все, нажитое многолетним терпением, неутомимым, адовым трудом, старанием предков, было брошено — нет, нет, не божьей волей — бешеному псу под хвост: добротные дома, убранство, подворье, погреба, склады, сараи с годовыми запасами, амбарами, свинарники, курятники, бани, летние кухни, сады, клумбы, мельницы, сыроварни, колодцы, всякая всячина, заготовленная, собранная впрок на радость и счастье их трудолюбивых обладателей и их потомков — все, все, все, в одночасье, разом, по злому умыслу, безрассудно, варварски, было оставлено, брошено в эти черные

ии. Все провалилось в пропасть, рухнуло в бездну, в тартарары. Все было отнято у народа, облагородившего эти бросовые, дикие, запущенные некогда земли.

Не было страшнее наказания!

В одном селе красноармейцы остановили пожилого дядьку-немца, на рассвете направлявшегося на кладбище. Он им степенно втолковывал, что на кладбище покоятся его родители, братья, родственники, близкие, он хочет, мол, проститься с ними напоследок перед выселением. И больше ничего, weiter nicht's, ja, ja... Кто знает, когда еще выпадет случай навестить их; может, уже не суждено ему вернуться сюда из неведомой чужбины. По небритым щекам седеющего бауэра-колхозника катились слезы. Красноармейцы не пустили его.

— Не положено, фриц!

— Да не Фриц я... я Хайнрих...

— Все равно!.. Удрать решил, немец-перец-колбаса?!

— Цюрик, шпион! Диверсант! На кладбище ему захотелось!..

В Зихельберге, тщательно запирая дома, немцы опускались на колени и благоговейно целовали порог входной двери. Некоторые старухи, спускаясь с крыльца, падали в обморок. Древних старцев, чьи деды некогда обосновали в глухой степи немецкую колонию, подводили к подводам под руки. Кое-кто на дрожащих вытянутых руках нес почерневшую от времени Библию — фамильную драгоценность, вывезенную из фатерланда предками-колонистами и чудом уцелевшую в недавние крутые безбожные времена.

В глазах заведующего током стахановца Фогеля застыли растерянность и страх. Ему надо было помочь семье — собрать пожитки в дальнюю дорогу, а он день и ночь сторожит колхозное добро, не смея отлучиться ни на шаг. Ему советовали: "Бросай все к чертовой матери! Об этом ли тебе сейчас думать?!", но он никого не слушал, как угорелый, кружился возле горки зерна, аккуратно укрытой брезентовым пологом.

— Геноссе Эрлих, либер меншь... ну, скажите кому-нибудь, чтобы срочно приемщика прислали. Надо же мне ток сдать по акту! Я же от эшелона отстану... Геноссе Эрлих, ну, пришлите кого-нибудь, чтобы я все сдал честь по чести.

С такой же просьбой вцепился в него и заведующий фермой в Полеводино.

— Ну, как я брошу ферму?! Ну, есть же советская власть! Ну, пришлите же какого-нибудь русского или пастуха-татарина, чтобы я отчитался по закону. Завтра утром на станцию выезжать, а я здесь, как на привязи! Ну, сжальтесь, геноссе Эрлих... Вы же партаймап. Поймите же меня!..

А партаймап Эрлих был бессилен что-либо предпринять. Он обращался к командиру группы красноармейцев или к начальнику отряда НКВД, умолял помочь этим бедным, растерявшимся людям, колхозникам и стахановцам, знатным труженикам, передовикам, маякам, славе кантона, но те только отмахивались:

— Да пусть катятся! Без них обойдутся и разберутся!

— Но должен быть порядок!

— Оставьте! Можно подумать, что без вашего орднунга мы тут все пропадем...

У учителя семилетней школы меннонита Фрезе была своя забота. Всю жизнь он собирал фольклор российских немцев, книги, рукописи по истории колонистов, литературные издания, журналы, альманахи, газеты, старинные экспонаты, занимавшие почти весь его дом; при всем желании он даже малую толику этого богатства не мог забрать с собой, и он бросился к местным властям, съездил в кантонобр, прося, умаляя начальство взять его сокровища в управление архивами или в музей, выделить, может, один класс в школе и передать все это в надежные руки, но о том сейчас никто и слушать не хотел.

— О чем вы говорите, учитель Фрезе!

— Судьба страны решается, а вы о каком-то хламе печетесь!

— Это не хлам. Это культура, народное достояние. Этому цены нет!

— Учитель Фрезе, успокойтесь, опомнитесь! И не путайтесь, пожалуйста, под ногами. Не до вас!

А в сельских магазинах днем и ночью звучала граммофонная музыка: стража порядка, бравые ребятушки НКВД лихо расправлялись с дармовыми немецкими запасами, уверенные, что в организации выселения законопослушные немцы обойдутся вполне и без их бдительного надзора.

Грязные клеветнические слухи ползли-волочились по униженной, поруганной земле немцев Поволжья. Эти слухи кем-то усиленно распространялись, раздувались, внушались. Не зря, видно, советская власть их выселяет. Без дыма огня не бывает. Сверху все видней. Должно быть, и впрямь все они шпионы и диверсанты. Только прикидываются невинными, трудолюбивыми бауэрами. Подлое тевтонское племя! Сколько горя оно принесло русскому народу! Слышали, слышали?... Говорят, колодца отравляют... пшеницу сжигают... скот уничтожают... дома минируют... оружие в погребах прячут... хлебом-солью фашистский десант встречают... что-то там взрывают.... панику и пораженческие настроения сеют...

От этих слухов и измышлений немел рассудок. Никто не видел ни шпионов, ни диверсантов, ни оружия, ни десанта, ни охваченных огнем пшеничных полей, ни отравленных колодцев, ни взорванных домов... а нелепые, злые слухи волочились по земле, щедро политой кровью и потом народа, которого в спешном порядке выселяли в неведомые края...

Руководство кантона из числа немцев после того, как оно активно посодействовало властям в исполнении высочайшего Указа о выселении немецкого населения Поволжья, в знак признания заслуг также организованно было доставлено на железнодорожные станции, где оно погрузилось в последний эшелон, отправлявший их в Сибирь и Казахстан вслед за униженными, оклеветанными, покрытыми позором несчастными соплеменниками.

Лес рубят — щепки летят.

Палач и жертва — едины. Как партия и народ.

Война без жертв не бывает. Победа будет за нами.

Глухими зимними ночами фельдшера-спецпереселенца Давида Эрлиха в ауле на берегу казахской реки Есиль преследовали тяжкие, как кошмарный сон, видения и воспоминания.

XIV

В соответствии с постановлением ГКО от 7 октября с.г. № 2388 (сс) обязать облуправление НКВД и облвоенкомат мобилизовать в рабочие колонны всех немцев в возрасте 15—16 лет и 51—55 лет включительно, годных к физическому труду, как переселенных из центральных областей СССР, Республики немцев Поволжья в пределы области.

2. Одновременно провести мобилизацию в рабочие колонны также женщин-немок в возрасте от 16 до 45 лет включительно. Освободить от мобилизации женщин-немок, беременных и имеющих детей в возрасте до 3-х лет; имеющихся детей старше трехлетнего возраста передать на воспитание остальным членам данной семьи, а при отсутствии других членов семьи, кроме мобилизованных, детей передать на воспитание родственникам".

(О мобилизации немцев в рабочую колонну. 9 октября 1942 г. Особая папка).

Резкий стук в окно разбудил его. И в комнате, и за окном было еще совсем темно. Жарас безмятежно спал. Давид Павлович быстро оделся, накинул на плечи полушубок. У крыльца стоял кто-то в тулупе. В нем он не сразу узнал кладовщика Альмиша.

— Ой, першыл, пойдем скорее. Сыну совсем плохо.

— Что с ним?

— Не знаю. Стонет, кричит, за курсак хватается.

— Давно ему плохо?

— Два часа кричит. Дрожит весь. Думал, до утра подождать. А ему все хуже.

— Подожди минутку.

Фельдшер исчез за черным провалом двери и вскоре вышел с аптечкой под мышкой. Шли молча. Аул спал. Снег взвизгивал под ногами и эхом откликался с верховья. Тускло

мерцали звезды. Казалось, они застыли там, на черном небе. Он зябко поежился. Уже несколько ночей подряд не удавалось выспаться: то дежурство в сельсовете, то бесконечные вызовы. А тут еще пошли изнурительные, изматывающие холода.

В доме кладовщика было душно и угарно. Возле печки чадила лампа. Под лоскутковым одеялом постанывал сын-подросток кладовщика. Рядом, согнувшись, сидела старуха, гнусавила: "О, Аллай", все поправляла одеяло и гладила серой, моршинистой рукой внука по голове.

Давид Павлович бросил у порога полушубок, шапку и рукавицы, потер руки.

— Как зовут тебя, жигит?

— Хам-за.

— Ах, да... вспомнил. Я ведь тебя знаю. Где болит, Хамза?

— Все... все болит.

— Ну, все сразу болеть не может.

— Живот болит. Голова болит. Спина... ой!

— О, алла-ай... — простонала старуха и вся сжалась, сделалась еще меньше.

Фельдшер пощупал пульс, рукой коснулся лба, откинул одеяло. Живот и грудь Хамзы были туго затянуты пуховой шалью. Под ней оказалась тряпка. Под тряпкой — что-то желтое, маслянистое.

— Что это?

— Это... это... — замямлил кладовщик. — Лошадкин жир. Сало нутряное. Наш казах говорит — помогает.

— Убери!

Живот парня был густо измазан конским жиром. Хамза подтягивал ноги, кусал губы. Лицо было бледное, синюшное. Его то познабливало, то бросало в жар.

— Бабушка, дайте ему глоток горячего чаю, — сказал фельдшер. — А ты, Альмиш, беги за подводой.

— Зачем?

— В Марьинку отвезти сына надо. Срочно.

— Зачем Марьинка? Ты дай лекарство.

— Лекарство не поможет. Нужно к хирургу.

— Зачем хирург?! — возмутился кладовщик. — Зачем Марьинка? Ты — локтр. Ты лечи! Хирург, он резать будет. Зачем резать?!

— Слушай! Давай за подводой! — нахмурился фельдшер. Что-то пробубнила-проворчала старуха. Кладовщик напялил малахай, но все еще топтался у двери.

— Скорей же!

— Бабушка говорит: не надо Марьинка. Там плохо, говорит. Пусть дома будет, говорит. Бог даст-та — не умрет, живой будет, говорит.

— Слышал я этот аляуляй... — Фельдшер молча оделся, схватил Альмиша под локоть, ногой пихнул дверь. — Пошли и не рассуждай.

Разбудили заведующего фермой, взяли у него лошадь, сани, потом фельдшер сделал Хамзе укол, и они, укутавшись потеплее, еще при густых утренних сумерках поехали в район. Хамзе полегчало. Укрытый тулупом, он вскоре уснул. В лесу лежал глубокий снег. Было тихо и тепло. И лошадь, и сани часто проваливались в сугробы. Фельдшер то и дело соскакивал с саней, неуклюже трусил рядом.

В район доехали, как раз солнышко выглянуло. В больнице было холодно, неуютно. В коридоре за длинным столом дремал дежурный врач. Он хмуро выслушал фельдшера, мельком глянул на Хамзу, приказал ему снять верхнюю одежду и отправил в приемную. Потом и сам исчез. Фельдшер ждал в коридоре. Врач вернулся озабоченный.

— Вы правы: все признаки аппендицита. Сейчас придет Коваленко. Будем оперировать. Вещи заберите.

Фельдшер взял в охапку шубу, тулуп, валенки, направился было к выходу, но дежурный врач остановил его.

— Да, кстати, вас уже несколько раз спрашивали из военкомата. С аулом вашим связи нет: за почтой не едут, и провода бураном пообрывало. Обязательно зайдите.

— А что такое? — холодея, спросил Давид Павлович.

Дежурный врач только плечом дернул и исчез за одной из дверей.

В райвоенкомате ему вручили повестку в трудармию. Он долго читал ее, вертел в руках и снова читал, будто не веря своим глазам. Сборы были назначены на завтра в одиннадцать часов утра. При себе надлежало иметь две пары белья, теплые носки, продукты на три дня...

Он отправился в райздрав. Яковчука не было. Вместо него сидела высокая, худая женщина. Она растерянно похлопала глазами, развела руками, многозначительно протянула в нос: "Война!" и сказала, чтобы он закрыл медпункт, а ключи оставил в сельсовете.

Потом вдруг опомнилась:

— А каким вы, собственно, заведуете медпунктом?

Он криво усмехнулся и вышел. Потом долго стоял возле лошади, все гладил, гладил ее заиндевевший бок. Мысли путались, к сердцу подкатывала слабость. Его поразила не повестка. Кто ее ныне не получает: кому — на фронт, кому — в трудармию. Его поразило то равнодушие, безразличие, с каким вдруг все это произошло. Будто и не о человеке шла речь. Дежурный врач только плечом дернул, в райвоенкомате едва спросили: "Эрлих?" и сунули повестку. И теперь и новая начальница: "Каким вы, собственно, медпунктом заведуете?" Видно, еще не успела бедняга вникнуть в положение.

Ну, вот и все дела. Враз нигде и никому он стал не нужен. На всякий случай он вновь завернул в районную больницу, узнал, что Хамзу успели прооперировать. Коваленко, хирург, похвалил фельдшера за решительность и оперативность, еще немного и аппендикс у парня лопнул бы, а так все в порядке, коллега, дней через пять можете забрать больного...

Заезжать к аптекарю Бронштейну смысла не было. За лекарствами приедет уже кто-нибудь другой...

Он бросился в сани, тронул лошадь. Она застоялась на морозе, видно, продрогла и теперь побежала резво, без понукания, словно чувствовала, что человеку в санях сейчас не до нее. Там, за лесом, отчаянно, но тщетно лезло-карабкалось вверх солнце. Поднимался пронизывающий ветер. Вокруг простиралась безмолвная белая равнина. Тоже бесчувственная, безразличная ко всему на свете. Темной, едва заметной полоской тянулась по ней безлюдная зимняя дорога. Ненужным, до слез одиноким чувствовал себя сейчас путник в санях. Ему тоже не было дела ни до этого бесцветного, беспомощного солнца, ни до тоскливого безлюдья стылой степи, ни до мертвенной белизны снега. Пустынно было вокруг; пусто, черно — и на душе. Он лежал ничком, уткнувшись в грязную овчину тулупа, и ни о чем не думал. Очнулся он только в лесу, когда лошадь, утопая по брюхо в сугробах, пошла шагом. Тогда, он слез и побрел рядом, держась одной рукой за оглоблю.

В Каратал он заезжать не стал, поехал нижней дорогой. Он укутался потеплее и стал смотреть в степь, таинственно ушедшую в себя. Лошадь бежала рысцой, из-под копыт летели мерзлые комки, а рядом по стылому серому небу, не отставая, скользило насквозь промерзшее, совсем-совсем одинокое солнце.

В аул он вернулся после полудня. Заехал к кладовщику, передал лошадь и вещи, успокоил, утешил, напомнил забрать

сына через неделю, а навестить хоть завтра. "Ну, что ж, — думал он. — Теперь все заботы позади. Отработал свое, перышл. Сейчас затоплю печь, напьюсь горячего чаю и усну. Хорошо!"

Он нашарил под крыльцом ключ, вошел в комнату. И здесь было уныло. Лишь будильник равнодушно отстукивал время. "А зачем топить печь? И к чему мне чай? Все равно есть не хочу... не могу. Спать... спать... Получается как бы еще одна спешная депортация".

Он прямо в верхней одежде плюхнулся на кровать, укрылся полушубком, отвернулся к стенке. Обычно он засыпал легко, сразу же, едва коснувшись головой подушки. А теперь сон не шел. Вдруг его пронзила мысль: а дома-то, кажется, и есть нечего. Ни муки, ни пшеницы не осталось. Он вскочил, заглянул в закуток за печкой, где хранились скудные харчи. Да, так оно и есть. На полке стояла банка с горохом, а внизу — полведра картошки. Он открыл сундук. На дне лежал тощий мешочек. Пшеницы в нем было не более двух мисок. "Вот-те раз! С чем же я Жараса оставлю? Да и мне велено брать с собой продуктов на три дня..." — растерянно подумал он. Денег тоже было мало. Зарплату задерживали. К баскарме пойти? Он еще осенью выписал два пуда пшеницы. А на заседании правления недавно говорил, что кроме семенного фонда, ни грамма в колхозном амбаре не осталось. Он вспомнил, что Жана-жольский председатель еще месяц назад обещал дать пуд ржи. Вот, как кстати. Он быстро оделся. Нет, и подводы просить не будет. Туда-сюда каких-нибудь восемь-девять километров. За два часа вполне обернется. Еще Жарас из школы не придет, к заходу солнца уже будет дома. Он подпоясался туже, по карманам рассовал почти все содержимое аптечки — на всякий случай — схватил рюкзак и отправился в путь.

Ветер поддувал, подталкивал его в спину, да и дорога все время шла под уклон, и он резво добежал до тугая, а там до Каменного брода тропинка вилась по затишью. Под кустами тальника пробивались беляки. Непривычная тишина Каменного брода настораживала. Ишим был до обидного мал и узок, и льдины прочно сковали его. Гордый, строптивый поток, с ревом пенившийся, бурливший летом, теперь был обуздан лютым морозом. И было больно и жалко смотреть на это смирение. Не река, не грозный и опасный Каменный брод, а просто высохший, вымерзший ручеек, через который сейчас мог запросто перешагнуть, перепрыгнуть

каждый, кому не лень. Не урчал, не рычал он сердито, как летом, не швырял насквозь просвеченные солнцем пригоршни воды в лицо путника, не клубился, не закипал в крутом коловороте, хвастаясь необузданной силой, а тихо лежал у его ног, унизительно примиревший, безвольный. И как бы жаловался на судьбу свою: вот, видишь, красив, силен и молод я был, страшен в гневе, но нашлась черная, дикая сила, сковала, ледяными обручами скрутила. И теперь бессилен я, беспомощен. Снегом жестким, как саваном, укрыло, до самого дна заморозило. Смирен и ничтожен...

С тоской глядел он на заваленные сугробами, ставшие оттого низкими и пологими берега, на оледенелый камень, врезавшийся в безмолвную реку, на застывший тугай, на заячьи и птичьи следы на снегу вокруг, на оцепеневший, онемевший Каменный брод. И еще больше омрачилась его душа. Он вздохнул и, сильно сутулясь, потупив голову, пошел по льду...

Председателя он в Жана-жоле не застал, но кладовщик, поверив на слово, отпустил пуд ржи. О повестке, о том, что завтра уезжает, фельдшер ни слова не сказал. Однако сразу уйти не удалось. Сначала его уговорили посмотреть одну бабку, мучавшуюся поясницей, потом повалили со всех сторон: у кого-то болел зуб, у другого — голова, у третьего открылся свищ, еще кому-то понадобилось направление в районную больницу. На дворе уже начинало темнеть. Он вспомнил про повестку, про то, что ему нужно еще добраться до дому, подсушить на печке рожь, смолоть ее на домашней ручной мельнице, испечь лепешки на дорогу, собрать кое-какие вещички, да и выспаться за все эти дни очень не мешало бы. Просить подводу? Кому охота ехать на ночь глядя через Ишим? Да и возить-то кому? Старики, женщины, малолетки. И просить неловко: в этом ауле его еще слишком мало знают. Он закинул за плечо рюкзак, попрощался с больной старухой и ее невесткой, все уговаривавшей остаться на ужин, и вышел. Краешек солнца еще чуть висел над горизонтом. По степи скользили тени. Смеркалось. "А ведь не успею, — подумалось ему. — Уже темнеет, а шагать против ветра, да еще с пудовым рюкзаком. В тугае зимой, в бездорожьи, и заплутаться не мудрено".

У крайнего дома он остановился. У ворот стояла оседланная лошадь. От нее шел, клубился пар, а бока прямо на глазах куржавели, покрывались инеем. Старик в громадном лисьем малахае снял седло и начал укрывать лошадь попоной. Рядом,

высоко задрав длинную, сухую голову, сидела гончая. Кто он, этот старик? Кажется, ни разу не обращался к нему за помощью, и, должно быть, они вообще друг друга в глаза не видели. А что, если все же попросить у него лошадь? Верхом он бы добрался за полчаса, а утром Жарас пригнал бы ее назад. Старик между тем тщательно поправил попону, похлопал лошадь по гриве, взял седло и направился к входу в дом.

— Эй, дедушка! Аксакал!

Старик медленно обернулся. Давид Павлович подбежал к нему, поздоровался и, путая русские, казахские слова, сбивчиво объяснил, что он фельдшер, из Кызыл-ту, что ему во что бы то ни стало нужно добраться до дому, потому что завтра ему необходимо быть в районе, вот он даже может показать повестку, вот она, смотрите, и что ему очень, понимаете, аксакал, очень нужна лошадь, он может дать расписку ("нужна ему моя расписка"), а лошадь завтра же, рано утром, доставят в целости и сохранности. Старик слушал, выбирал из бороды сосульки, поглядывал из-под заиндевевших бровей на долговязого путника. О фельдшере он слышал, хотя и видел впервые, потому что редко бывал днем в ауле, все по степям рыщет, охотится, и еще потому, что до сих пор еще никогда не обращался ни к каким локтрам или бакеы и — если на то будет воля Аллаха — и впредь не намерен с ними знаться. Старик молчал, а фельдшер все говорил и говорил, боясь, что старик его совсем не понимает, и убеждал, уговаривал дать ему лошадь, словно от согласия старика зависела вся его дальнейшая судьба.

— Э, болды! Куатит! — сказал вдруг старик. Он сорвал попону, оседлал лошадь, затянул подпругу. — Ал! Бери! В аул приедешь, жуген... э-э-э... уздечку крепко привяжи к седлу и раза два ударь лошадку. Она сама домой придет.

— Понял, дедушка. Спасибо, дедушка. Рахмет, рахмет! — пробормотал он.

— Э, ладно. Жаксы.

Он ловко взлетел в седло, все твердя "рахмет, рахмет" и чувствуя, как комок перехватил вдруг горло. Лошадь сходу пошла резвой иноходью, и Давид Павлович почувствовал себя легко, будто сам летел над снежной равниной. Теперь и ветер был не страшен. Он даже привстал на стременах, слегка, в такт иноходи, подпрыгивал в седле и опустил ворот полушубка. У Каменного брода он круто свернул в сторону. Не хотелось ему сейчас видеть его печальный, удрученный вид. Он спустился

по пологому берегу, на льду немного попридержал коня, а выбравшись по чуть заметной тропинке из тугая, тронул его шенкелями, пустил наметом — снежные комья искрой сыпались из-под копыт. Давно он не ощущал такого подъема, радости и бодрости от верховой езды. У дома он вдруг вспомнил, что забыл даже спросить, как зовут старика, кто он. Только и запомнилась жиденькая бородка в сосульках да огромный лысый треух. "Ай, как нехорошо! Первый и, может, последний раз человека вижу, и имени даже не спросил". Он похлопал, погладил разгорячившегося коня по бокам, по крупу, по шее, пошарил по карманам, надеясь найти кусочек сахара или гематогена, но ничего не нашарил. Привязал конец уздечки к луке, ладонью шлепнул по крупу, свистнул, гикнул, и лошадь, задрав голову, грациозно выкидывая ноги, понеслась к Ишиму. Он восторженно глядел ей вслед, пока она не исчезла в сумерках. Жарас растапливал печь.

— Ты где пропадаешь, Дяу-ага? — спросил он по-казахски.

"Ай, дорогой, — подумал Давид Павлович, — кончились наши занятия. Все. Отучился". Ответил, однако, тоже по-казахски:

— В Марьинке был. В Жана-жоле был. Э... рожь, кара бидай, привез. — И опустил перед ним рюкзак. — Вот! Давай, суши. И сегодня же молоть будем.

Последнее сказал уже по-русски.

— Почему сегодня?

— Надо!

Он решил утром сказать все Жарасу.

Жарас растопил печь, сготовил чай, поджарил на бараньем сале немного пшеницы, и они поужинали. Жарас принялся было по заведенному им порядку говорить по-казахски, но фельдшер был рассеян, отвечал невпопад, и Жарас оставил его в покое.

— Ты почаще мешай рожь на печке. Чтобы не сгорела. А я сбегаю в одно место. Скоро вернусь.

"Что это сегодня с ним? — недоумевал Жарас. — Может, болеет кто".

Директор школы Жанахмет сидел за столом и, щурясь на лампу, протирал очки. Видно, он только что пришел из школы. Рядом, у ног, стоял тяжелый, с раздувшимися боками портфель, на столе возвышалась стопка тетрадей. Обложки тетрадей были серые, грубые, как бумага из-под ма-

хорки. В верхней части были нарисованы самолеты, танки, воин в каске, а пониже крупным шрифтом выделялись слова: "Наше дело правое, победа будет за нами".

— А, проходите, Давид Павлович! Добрый вечер!

Директор пристально посмотрел сквозь толстенные стекла очков, придвинул стул.

— Как дела? Какие новости?

— А дела вот какие. — Фельдшер протянул директору повестку.

Жанахмет близоруко пробежал глазами бумажку и положил на стол.

— Та-ак... В райкоме не были?

— Нет.

— Напрасно. Что они там думают? Вокруг на все аулы один медработник и того забирают! Где они сейчас, да еще зимой, фельдшера найдут? А? Райздрав куда смотрит?

— Райздрав сказал, чтобы я ключи оставил в сельсовете. И спросил, каким медпунктом заведую.

Давид Павлович усмехнулся.

— Как? Яковчук, что ли?

— Нет. Яковчук отправился на фронт. Вместо него Лебедева сидит.

— Вон как! Добился наконец-то старик. С первого дня на фронт просился.

Директор помолчал, задумчиво посмотрел куда-то поверх очков.

— Будем о вас хлопотать... Попробуем через райком отстоять вас. Пусть повременят. Где нам сейчас фельдшера искать?

— Пустое. Ничего не выйдет. Дело решенное.

Директор опять задумался.

— Попробуем. Попытка — не пытка.

— Я к вам по одному делу, Жанахмет Калиевич.

— Да? — встрепенулся директор.

— Надо что-то с Жарасом делать. Мальчик — сирота. Я уеду, вместо меня кого-нибудь пришлют. А ему куда? По домам опять ошиваться — не дело. Устройте его в интернат.

Директор опять взялся протирать очки.

— От дяди его писем нет?

— Одно письмо было. Еще в декабре.

— Да-а-а... Вопрос. В интернате ведь, Давид Павлович, ни одного места нет. Я и так двоих сверх нормы принял. Приедет комиссия — голову мне снимет. К тому же я имею право принимать в интернат только с пятого класса. А Жарас в третьем?

— В третьем. Но что-то придумать надо. Сирота ведь. Круглый.

— Что-то придумать надо... — согласился директор и встал, пошел по мягкой, узорчатой кошме. — Давайте так сделаем. Пусть он пока живет при медпункте. Дрова есть, одежда тоже есть. Поверьте мне, фельдшера найдут еще нескоро. Чтобы ему не скучно было, пусть берет к себе одного из интернатцев. А питаться будет в интернатской столовой. Где тридцать человек столуются, там и тридцать первого прокормят. Вот! А осенью я добьюсь, чтобы его приняли в интернат. Как?

— Пожалуй, выход.

— Ну, и хорошо. Не пропадет ваш Жарас.

— Спасибо, Жанахмет Калиевич! Успокоили.

Давид Павлович собрался сразу же уходить, но директор взял его за локоть.

— Подождите. Поужинайте с нами.

— Нет, нет. Что вы?! Спасибо. У меня ведь еще столько дел!

И, как бы боясь, что его не пустят, он схватил с вешалки полушубок, шапку, кинулся к двери.

— Ну, что ж... Легкой вам дороги, Давид Павлович! Очень грустно с вами расставаться, честное слово. Все же что-нибудь предпримем. Может, еще удастся вас отстоять. Непременно свяжусь с райкомом.

— Спасибо за добрые слова. За все!

Дома он еще несколько раз переворошил рожь на печке, потом уселся за ручную мельницу. Жарас, придвинув к себе пятилинейку, готовил уроки. В комнате было тепло, пахло подсушенной рожью. В трубе подвывал, поскуливал февральский ветер. Давид Павлович крутил жернов, щупал муку, не грубоват ли помол, пробовал на вкус, не горчит ли. Крутил он долго, муку тщательно ссыпал в мешочек, изредка поглядывал на Жараса.

— Хватит! — сказал тот. — Давай спать. Завтра сам смелю.

— Спи, спи, — улыбался ему Давид Павлович.

Жарас лег. А Давид Павлович все прислушивался к скрежету жернова и думал, думал о недолгой своей жизни в этом ауле, о почтальоне Нуркане, о Жарасе, о Маруар, о жанажольском старике, уступившем ему сегодня лошадь, о директоре школы, и на душе его становилось все легче, теплее, будто неожиданно смягчилось, оттаяло сердце в груди.

Покончив с помолом, он доверху, туго набил мешочек ржаной мукой и, завязав, поставил в сундук. Остальную муку высыпал в чашу и принялся месить тесто.

Тихо было дома. Жарас спал. В печке потрескивал огонь. Давид Павлович, засучив рукава, раскатывал на столе лепешки на дорогу. Потом он их пек на сковороде и просто так, зарыв в горячую золу. Так — он видел — пекли казашки под остывающим очагом. Потом он сложил в рюкзак свои пожитки, сверху положил, завернув в полотенце, еще теплые душистые лепешки, соль в спичечной коробке, ложку, жестяную кружку, завязал, поставил у порога, завел будильник и уже во втором часу ночи плюхнулся в постель. Та-ак... вроде все более-менее уладилось. Ага... с утра надо успеть заглянуть к Есильбаю, вернуть полушубок, попрощаться и заодно оставить на сохранение скрипку. Кто знает, как сложится жизнь? Письмо Лиде напишет при случае, может, в Марьинке или Кызыл- жаре. Да, да... это потом, потом...

Он закрыл глаза и сразу же увидел снежные увалы, меж которых бескрайно вилась зимняя дорога, увидел старика, его бородку в сосульках, скованный стужей Каменный брод, увидел, как из-под копыт иноходца летели твердые снежные комья и опять сугробы, сугробы и бесконечную безмолвную степь. Ну, что ж, сказал он, засыпая, сам себе, вот и прошел еще один день в моей жизни, такой длинный, длинный зимний день...



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ХРИСТЬЯН

Бежит на юг и кружит на север, кружит, кружит на бегу своем ветер.

Экклесиаст



I

Ранней весной 1943 года, когда после бурного половодья Ишим откатился назад, в извечное русло, наполнив прибрежные старицы полой водой, а в оврагах и березовых колках еще истаивал снег, в ауле Кызыл-ту объявилась многолюдная семья Вальтер. Для небольшого аула на берегу степной реки это стало заметным событием. Изнуренный, облезлый вол, запряженный в старый, скрипучий рыдван, понуро тащился в сторону кузни на краю аула.

На рыдване громоздился пузатый, оббитый железом, обтерханный, с облупившейся по краям краской сундук; рядом, спереди, было прилажено черное деревянное корыто, завалено доверху ведрами, кастрюлями, чугунком, глиняными крынками; на задке рыдвана горбился тюк, из которого торчало разноцветное тряпье в лоскутах и клоках ваты, а на сундуке, точно озябший воробышек на куче назема, гого и гляди вот-вот вспорхнет или свалится, сидел рыжеватый, конопатый мальчонка лет восьми, обеими руками прижав к груди гитару. Вид у него был бледный, болезненный. Из-под коротких штанин высовывались тонюсенькие ножки в дырявых шерстяных носках. Сбоку с хлыстом в руке брел чернявый, чубатый юноша, а позади рыдвана плелись еще пятеро, и каждый что-то нес в руках: кто — лопату, кто — ухват, кто — балалайку за плечом, кто — корзину.

Солнце скудно пригревало только недавно оттаявшую землю. Над прогалинами вился сизый парок. По небу задумчиво плыли облака. По безлюдному приунывшему аулу тянулось спротливое кочевье.

К рыдвану была привязана измученная дальней дорогой ободранная брюхастая коза. Она обреченно перебирала ножками, низко склонив голову, а за ней семенила крохотная девчушка в не по росту больших истоптанных ботинках и время от времени слегка нахлестывала козу тонким прутиком, на что та лишь нервно подергивала куцым хвостом.

Нетрудно было догадаться, что конопатый малец на сундуке и его белокурая сестренка гнали козу попеременно и по очереди отдыхали на рыдване, поскольку на двоих была одна разношенная обувка.

Возле скособоченной, завалившейся кузни кочевье остановилось. Старший, рыжий и сутуловатый парняга с несоразмерно маленькой головой, деловито обошел кузницу, потрогал ржавый замок-пудовик, остальные, окружив рыдван, растерянно оглядывались вокруг.

Ватага аульных сорванцов, гонявшая войлочный мяч на пересохшем лугу за кузницей, мигом собралась и таращила глаза на странных пришельцев.

— Эй, это еще кто такие?

— Немыс, — сказал всезнайка Салим. — Их мой коке пригласил работать в колхозе. Вот тот рыжий, коке говорил, искусный уста.

— Немыс?!..

— Ойбай, пашис, что ли?! Пленный?!..

— Нет, — цвиркнул по обыкновению слюной меж зубов Салим. — Наши немцы. Советские.

— Что ты говоришь?! Немыс разве советским бывает?

— Бывает.

— Вот да-а!.. А с кем они воюют?

— Ни с кем. Сам посмотри: какие они вояки?

— Ия, ия... совсем доходяги. Видать, давно досыта не ели. Попадешь войлочным мячом — свалятся.

Сорванцы еще больше вылупили глазенки, зацокали языками, покачали головами, глядя на незнакомцев.

Возле кузни находился просторный деревянный сарай-зернохранилище. На воротах его тоже висел громадный замок.

Старшой обошел сарай, заглянул в щель, почесал затылок и тут только обратил внимание на любопытствующую поодаль ораву.

— Идите сюда, балашки!

Балашки насторожились, не двинулись с места.

— Ну, подойдите, не съем, небось... Кел, кел!

Большеголовый, чумазый пацаненок выступил вперед, спросил хмуро:

— Штой нада?

— Да иди же! Кел давай... — Рыжий улыбнулся, и лицо его стало совсем мальчишечьим. — Где живет председатель... э... баскарма, знаешь?

— Знаим... знаим... — солидно ответил чумазый. — Вон!

И указал на высокий деревянный дом за школой.

— Ага... А где сейчас баскарма?

— Дома, дома, — с готовностью отозвался светлолицый рослый Салим. — Баскарма — мой атес.

— Отец? — уточнил рыжий. — Тогда веди к нему.

Он на ходу что-то сказал своим на непонятном аульной ватаге языке и пошел протоптанной тропинкой в верхний аул. Ребятня, забыв про игры, последовала за ним. Чумазый, осмелев, спросил:

— Твой как зват?

— Иван. А тебя?

— Мой — Аскер.

— Жаксы, жаксы... Познакомились, значит.

— Кознес, да? — встрял в беседу и Салим.

— Угадал: кузнец. Работать буду в вашем колхозе.

— Карашо! — загалдели одобрительно все разом.

На этом, должно быть, запас русских слов у аульных шалопаев иссяк, а кузнецу, видно, тоже было не до праздных разговоров. Он озабоченно молчал, теребил редкие щетинки на подбородке. Молча шла за ним и ребятня.

Председатель, грузный, рыхлый мужчина под шестьдесят, с выбритым до синевы черепом, насупленными бровями, тяжелыми складками на лице, расположился, скрестив под себя ноги, на толстом, сложенном вчетверо, одеяле. Маленькие глазки из-под набрякших век глядели пристально и пронзительно. Рубаха на груди была расстегнута и из-за ней выпирала густая сивая шерсть. Огромное, как жбан, брюхо покоилось на коленях. Перед ним на цветастой скатерке стояла большая расписная чаша с кумысом. Не отвечая на приветствие кузнеца, он ощупал его брезгливым взглядом, потом глухо проронил:

— Э! Приехал, знашыт... Хорошо...

Дышал он тяжело, с присвистом, будто дыхание вырывалось с трудом из бездонных глубин необъятного брюха. И, видно, потому говорил очень медленно, через длинные паузы, хватая воздух после каждого слова. Жена его, худо-

шавая, болезненная женщина, подала кузнецу миску кумыса. Кузнец улыбнулся, поблагодарил и залпом выпил кислый, пузырящийся, бьющий в ноздри напиток.

Председатель, продолжая буравить гостя цепким, тяжелым взглядом, отпил глоток, почмокал толстыми губами.

— Жить пока будешь в сарае... Он все равно... пустует. За лето мало-мало... построишь землянку... Немного поможем. С фермы... можешь брать по ведру обрата. Пшеницы, муки нет... Ячмень дам... Семья йес?

— Семья большая — братья, сестры.

— Женился?

Кузнец замялся, даже чуть покраснел.

— Собираюсь...

— Знашыт, работников много... не пропадете. В колхозе всем работа будет.

— За палочки? — кисло осклабился кузнец.

Баскарма не посчитал нужным ответить. Он так мучительно выталкивал из себя слова, что кузнеца и самого бросило в пот. Подумав, председатель отправил светлолицего сынка к кладовщику за ключом и, когда мальчик примчался с ним назад, кинул его кузнецу.

— На... открой сарай и устраивайся. Ключ от кузницы получишь завтра. Утром пришлю бригадира. Он всех вас к делу приставит. Понял?

— Понятно.

Баскарма уронил тяжелую, как шар, голову на грудь, показывая, что разговор на этом закончен. Кузнец, сутулясь, повернулся к выходу.

— Постой!.. Здесь, в ауле, твой брат живет... першыл.

— Брат?! Какой брат?

— Ну, тоже немыс. Знашыт, брат. Першыл... Даут зовут. Сходи к нему... познакомься.

— Как?.. Как вы его назвали?

— Даут... Ерлик...

— Эрлих?.. Давид?

— Ия... Даут Ерлик... Шалобек кароший. Першыл. Казах казаху — брат. Немыс немысу — брат.

— Верно. Надо, чтобы и казах немцу братом стал.

Баскарма задумался, пошевелил губами.

— Если шалобек кароший, и немыс казаху братом будет.

Кузнец, повеселев, кивнул напоследок и вышел. Несколько дней в ауле судачили лишь об одном: о приезде большой немецкой семьи, обосновавшейся в пустующем зернохранилище подле колхозной кузницы.

II

Весть о том, что фельдшер из "Кызыл-ту" после трехнедельного отсутствия благополучно вернулся, мгновенно облетела прибрежные аулы Есиля. Давид Павлович еще раз убедился в том, что мифический Узун-кулак — "Длинное Ухо" — более расторопен и проворен, чем "поштабай" Нуркан-ата со своей кобылкой-замухрышкой. И этому можно было только удивляться: лютует зима, аулы завалены снегом, метель колобродит по безлюдной степи, ветры свищут-завывают на все лады, все вокруг будто вымерло, погрузилось в гнетущую мглу, а людская молва — добрая или худая — каким-то образом скачет-носится по округе, заворачивая в самую глухомань.

Добирался Давид Эрлих из областного центра в Кызылту несколько дней то на попутной подводе, то пешком, с почевками в незнакомых селах, а в аулах, входивших в его радиус обслуживания, уже загодя прознали о его возвращении.

На душе было смутно и тревожно. В Кызыл-жаре в нервной суете формировался эшелон трудмобилизованных из депортированного контингента — главным образом из немцев, крымских, украинских, кавказских, поволжских, московских, хотя встречались также поляки, эстонцы, латыши, литовцы, финны.

В ожидании спецсостава мобилизованные в так называемые трудовые колонны НКВД временно работали на местном военном заводе. Все было неопределенно. Никто толком ничего не знал. Поговаривали, что трудармейцев (так называли себя сами мобилизованные в трудовые колонны) отправят отсюда то ли в Челябинск, то ли в Свердловск, то ли в шахты, то ли на лесоповал на каторжный труд. Встретил здесь Давид немало знакомых с Волги и даже из сел бывшего Гнаденфлюрского кантона. Депортированных распределили, раскидали по всем селам, хуторам и аулам облас-

ли, и люди обменивались адресами, расспрашивали про знакомых, разыскивали родных. Все были удручены, растерянны, подавлены. Командиры и политруки пока условно распределенных отрядов смотрели на мобилизованных подозрительно и даже враждебно. Немцы старались говорить между собой больше по-русски. Некоторые предпочитали и вовсе молчать, предаваясь тягостным думам. О том, что творится на фронте, почти ничего не знали. Семьи оставались без кола и двора, без догляда, пропитания, в чужой среде, без кормильцев и опоры. Из некоторых семей мобилизовали зараз и отца, и его старших сыновей. Неизвестность томила. У каждого было свое горе, свои беды. А когда эти горести и беды сосредоточивались на одном месте, становилось совсем уж тошно, хоть в петлю лезь.

Давида сразу определили в медсанчасть. Особых хлопот не было: в обязанность его входило следить за общей санитарией. Он написал несколько писем жене и сыну, знакомым в Алтайский край, где по слухам очутились братья, и в Павлодарскую область, куда предположительно попала со своей семьей старшая сестра. Открытку с приветами отправил в Кызыл-ту на имя директора школы Жанахмета Калиевича. Время протекало в тягостном ожидании отправки в Сибирь.

Через три недели его неожиданно вызвали в обком партии и сообщили, что по ходатайству властей Октябрьского района он, Давид Павлович Эрлих, спецпереселенец, член ВКП(б), временно освобождается от трудмобилизации и отправляется назад по месту работы. Он спешил, не зная, радоваться тому или огорчаться. На такой поворот судьбы он никак не рассчитывал. Однако на раздумья времени не было. К тому же за семь лет армейской службы он свыкся с мыслью: приказано — выполняй. Уж кому-кому, а спецпереселенцу, да еще в военное время, и вовсе не положено рассуждать и тем более перечить. В тот же день, выправив все документы и наспех попрощавшись с новыми знакомыми, нескрывавшими своей зависти, он отправился в обратный путь.

Встреча с аулчанами растрогала его до слез. В первый же день все сбежались в медпункт, поздравляли с возвращением, искренне радовались ему, обнимали, жали руку, рас-

спрашивали о том, о сем, приглашали наперебой на чай, а Жарас и вовсе расплакался от радости, повис на шее, бормотал: "Дяу-ага! Мой ага!"

Старики бубнили молитвенные слова, благословляли его, степенно оглаживали бороды. Говорили: "Э, першыл, кайырлы болсын! Удачи тебе!" Говорили: "Добрый знак. Хорошая примета. Пусть за тобой последуют и наши жигиты, воюющие с собакой Керманом!" И еще говорили: "Ты, Даут, первый из нашего аула, кто вернулся живым-здоровым". Говорили: "Дошла наша мольба до Аллаха и до властей. Сам всевышний послал тебя нам на радость". Потом говорили: "Не отрекайся от того, у кого на лице иман. Ты человек с иманом. Добрый гость — божий посол".

Сколько разных высоких и приятных слов довелось услышать Давиду в эти дни от простодушных аулчан! Каждый посчитал нужным обласкать его добрым вниманием. Давид смущался от такого душевного радушия и почувствовал себя обязанным перед этими людьми.

Потом он узнал, как все происходило. После его отъезда в аулах действительно всполошились. От председателей колхозов в райком и райвоенкомат посыпались письма с просьбой вернуть им фельдшера Эрлиха. Жанахмет Калиевич съездил в район, зашел к секретарю райкома, к комиссару, к главному врачу, в райотделение НКВД и просил, убеждал их от имени населения восьми аулов оставить им коммуниста Эрлиха, проявившего себя за какие-нибудь шесть месяцев самоотверженным, ответственным и знающим медработником. "В наших краях такого никогда не было", — уверял он. Видно, все эти хлопоты возымели действие. О том, что Давида решено временно освободить от трудмобилизации, первым узнал в ауле директор школы. Он и сообщил эту новость Жарасу, чтобы утешить пригорюнившегося парня. А тот оповестил весь аул, прося сюнши за радостную весть. Ну, а слухом, как говорится, земля полнится.

И заведующий фельдшерско-акушерским пунктом с головой ушел в нескончаемые заботы. Работал он, как одержимый, стараясь успевать всюду и во всем. А времена надвигались худые. Сводки совинформбюро мало утешали. Ясно было только одно: самонадеянному блицкригу фашистов Красная Армия хребет поломала, но на скорый конец войны

никто уже не уповал. "Черная бумага" — похоронки — все чаще обрушивались на убогие дома и подворья, поражая скудный очаг, точно черная молния в грозовой день. Угнетало и то, что по-прежнему не было вестей от жены, братьев, родных. Давиду чудилось, что письма его никуда не доходят. Особенно тревожно стало после того, что он увидел на сборных пунктах мобилизованных в трудармию. Наверняка и братьев загнали куда-нибудь в Сибирь, по возрасту они все подходили под указ о мобилизации в трудовые колонны НКВД. Может, не избежали этой участи и сестры: ведь малых, до трехлетнего возраста, детей у них не было. О племянниках и вовсе речи нет: все молодые, крепкие парни. Но почему молчит Лида? Понятно, работает в военном госпитале, ухаживает за ранеными, недосуг. Но разве нельзя было за столько времени послать хотя бы открыточку? Что с Арно? Не хворает ли изнеженный маменькин сынок? Может, Лида, как русская, а потому абсолютно благонадежная, не состоящая на учете спецкомендатуры, знает что-нибудь о его близких и родных? Неужели подводит почта? Или есть причины, обстоятельства, о которых он здесь, в глуши, в глубоком тылу и не ведает?.. Или?... С ума сойти!.. Чтобы хоть как-то отделаться от этих назойливых дум и сомнений, фельдшер с упоением изнурял себя работой.

Весной, перед самой распутицей, Нуркан-поштабай в последний раз на санях съездил кое-как в Марьинку и доставил в аул несколько казенных похоронок, а среди них и замызганное, помятое, Бог весть как дошедшее письмо из Алтайского края на имя Давида. Чернильным карандашом неумело и коряво, с ошибками и исправлениями, вкось и вкривь был выведен его адрес, и от самого треугольничка, неловко сложенного из листика школьной, в клетку, тетрадки, со штампом "доплата" веяло горем и тревогой. Первая строчка была написана по-немецки: "Lieber Onkel David!", далее неровным рядком выстроились невпопад русские буквы: "Пишет вам ваша племянница Вика". У Давида вдруг заколотилось сердце, точно в предчувствии беды. В волнении он не сразу сообразил, что за племянница, какая Вика. Вроде среди его родственников не было никаких Вик. В сознании его лихорадочно вспыхивали имена племянниц — Вера, Вильгельмина, Элла, Эмма, Эрна, Миля, Валентина,

Виктория... кто еще?... Потом осенило: как же он не смекнул сразу, ведь Виктория и есть Вика, дочка брата Фридриха. Помнится, такая белокурая, пухленькая, смышленная непоседа, вечно на гитаре бренчала, песни горланила, активистка, с красным галстуком и в буднях не расставалась. Сейчас ей, должно быть, лет тринадцать, четырнадцать. Видно, отвыкла от карандаша и бумаги: буквы теснились, лезли друг на дружку, шли вперемешку — латинские, готические, русские, не сразу разберешь. В нетерпении взгляд выхватывал то одно слово, то другое. "Живем плохо, голодно... Зимой сильно мерзли... Работаю в колхозе... Забрали в трудармию... умер... тоже умер..." Давид похолодел, зашатался, опустился на топчан, ближе к свету придвинулся и старательней вчитывался в корявые горестные слова. Все поплыло перед глазами. Кто же умер? "Unser Tade ist tot"[1]... Как?! Фридрих, что ли?! "А еще раньше него умер наш Вольдемар..." Вольдемар? Неугомонный, вездесущий, добрый Володя, музыкант, художник, учитель, гордость семьи? Как это может быть?! Ему ведь и двадцати еще не было... "Онкель Христьян тоже в трудармии, но где — не знаем..." Всю родню, значит, расшвыряло, как щепки в бурю. "Ja, und Onkel Heinrich ist auch gestorben"[2]. Что эта Вика пишет? Напугала что-нибудь? Откуда все знает? Получила официальное извещение? Или пишет с чьих-то слов? Онемев от ужаса, Давид все вновь и вновь перечитывал измызганный клочок, не в состоянии воспринять обрушившуюся вдруг на него жуткую весть. Выходит, депортация была еще не самым страшным событием в их жизни, это только начало их скорбного пути, хождения по мукам, а комендантский надзор и трудармия оборачиваются новым тяжким испытанием для российских немцев, которое может быть сродни их всеобщему истреблению? Может, эта трудармия и задумана главным образом с целью окончательного уничтожения депортированных? Может, это чей-то чудовищный замысел — предварительно выкашивать активных и грамотных мужчин, разрушить их семьи, расселить народ, лишить их компактности, разбросить по просторам Сибири и Казахстана, как пти-

---

[1] Наш папа умер.

[2] Да, и дядя Хайнрих тоже умер.

чий помет в степи?! Давид задохнулся от этой неожиданной догадки, испугался ее сокрушительного подспудного смысла. Неужели? Неужели это продолжение шабаша насилия, акт мести, сознательное истребление? Всхлип, похожий на стон отчаяния, вырвался из груди Давида. Что он может знать, сидя здесь, в глуши, оторванный, отлученный от всего и всех? Что может знать девчонка Вика, брошенная в водоворот непосильных горестей и бед? Она вскользь поведала лишь о тех родных, что очутились в Панкрушихинском районе Алтайского края. Ей неизвестно, куда выслали дядю Вильгельма и его семью. Не знает она ничего и о двоюродных братьях, служивших в Красной Армии еще до войны. Они-то где? Живы ли? Когда удастся хотя бы вызнать, кто и где находится? И если такие потери происходят в глубоком тылу, то страшно даже представить, что творится на фронте, в самом пекле схватки. Он вспомнил брата Фридриха, высокого, худощавого, как все Эрлихи... веселого, затейника, острослова, заводилу сельских торжеств, любившего танцевать, покуралесить на свадьбах, не отказывавшегося от доброй чарки шнапса. А Хайнрих... степенный, деловитый, вечно в клубах сизого махорочного дыма, подкручивающий сосредоточенно кончики жестких обкуренных рыжих усов... глава большого семейства. И их нет? Уже нет?! А Вера, Вильгельмина, неразлучные сестрички-хохотушки, певички... что им-то, едва успевшим вступить в хрупкую девическую пору, уготовано в трудармии? А каково племянницам-малолеткам, надрывающимся на непосильной колхозной работе в сибирской глуши? А он, их дядя, оказавшийся один-одинешенек здесь, в казахском ауле, бессилен чем-либо помочь им.

От отчаяния опускались руки, белый свет стал не мил. И поделиться горем было не с кем. Кому из аулчан он поведает о своей беде? У каждого своего горя хватает с избытком.

В эту весну Ишим разлился особенно широко. Ледоход был бурным, буйным. Торосистые льдины, громоздясь, сшибались, лезли друг на дружку, в ярости выпирали на берег, круша прибрежные туган, заливая темной, дымящейся водой все старицы, уремы, овраги. Зрелище было потрясающим. Тихая, незаметная степная река, приток седого Иртыша, ярилась, буйствовала, сметала все на своем пути, и ди-

кая, неукротимая эта силища завораживала, притягивала, манила, будоражила. Поднимаясь на крутояр, Давид подолгу смотрел на это неистовство пробуждавшейся стихии, любовался разливанным морем, восхищаясь необузданным нравом обычно смирного Есиля. Яростный весенний колоброд, творившийся вокруг, как ни странно, успокаивал его, наполнял скорбящую душу энергией и напором, пробуждал волю, взывал к действию, вселял надежду. В половодье связь с левобережными аулами прерывалась на месяц-другой, да и в правобережные аулы из-за жуткой распутицы, непролазной грязи добираться становилось невозможным, даже лошадь безнадежно увязала в крутом месиве чернозема. В верховные аулы Ак-су и Жана-су Эрлих добирался главным образом пешком. Вода подступала вплотную к аулу, к огороду Есильбая, шипела, пузырилась, побулькивала у крайних домов, угрожая затопить ветхие постройки. Ночью при зыбком лунном свете огромное пространство между Жанаталапом и Кызыл-ту чудилось неспокойным морем, которое надсадно дышало, ухало, ворочалось, стонало, все более и более заливая низовье бурлящим, мутным потоком.

Вода все прибывала; река усердно очищалась, исторгая из себя всю муть, весь мусор, накопившийся за долгую зиму, выбрасывая на берега вороха, сена, коряг, сухого ивняка, ила, ветоши, хлама. Голоногая малышня день-деньской резвилась на солнцепеке, у пенящейся кромки, подбирая всякую-всячину. Люди радовались: богатый будет ныне травостой, скот быстро войдет в тело, а на лугах, как только отступит вода да пригреет малость солнышко, пойдут в рост дикий чеснок, лук, щавель — желанное лакомство детворы.

Иногда Давид заходил в крохотную кузню Есильбая, помогал раздувать ему горн, содействовал старику в его немудреных поделках. Старик ковал подковы, лудил посуду, готовил обручи для колес, даже ювелирствовал-зергерствовал, вытачивал из старинных серебряных монет кольца, серьги, браслеты. За разговорами Давид и рассказал ему однажды про свое горе — гибели двух братьев и племянника. Видно, от Есильбая прознали о том и аулчане. Поговаривали-судачили:

— Ойбай, першыл тоже получил "кара-кагаз".

— И даже три!

— Кудай-ай, как же? Немыс разве с немысом воюет?!

— Не знаю... Видно, и немысы не все одинаковые.

— Ия, ия... Говорят, одни на стороне Китлера, другие, наши, Сталина поддерживают.

— Выходит, война — для всех горе.

— Апырай, а! То-то першыл ходит подавленный, молчаливый.

— Бедный... трудно ему одному.

— Ия, ия... Одному всегда плохо.

— Одиночество лишь Богу угодно.

Не успел Давид оправиться от этого горя, как на исходе лета того же года настиг его новый тяжкий удар.

Пришло, наконец, письмо из Энгельса от Истратовых. Писал тесть, учитель истории — скупо, сдержанно, отстраненно. Обычно он обращался к зятю по имени-отчеству, а на этот раз ошарашил с первой фразы: "тов. Эрлих!" И от этого усеченного "тов." у Давида мгновенно вспыхнули уши, и он сразу почувствовал неладное. Старый учитель сообщал, что получил все письма и ему, мол, отрадно сознавать, что не только на фронте, но и в глубоком тылу народ героически сражается с неметчиной, что внука Алешу... ("Алешу?!... с каких пор?!") он воспитывает в высоком патриотическом (Ach du, lieber Heiland) духе, как и положено настоящему советскому человеку ("Хм-м... надо же!"), что ныне осенью, с хорошей домашней подготовкой внук пойдет в первый класс, что трудности, конечно, есть, но все трудности ради великой цели преодолимы и что Лидия неожиданно выкинула номер ("Что еще такое?!"), крепко подружилась ("Что, что?!") в госпитале с одним майором-артиллеристом и решила... решила... вместе с ним ("тьфу, соринка, что ли, в глаз попала?!") в действующую армию ("Куда? Куда?!"), а не отсиживаться в столь тяжкое для родины время тыловой крысой.

Давид с трудом перевел дух, скомкал помимо воли письмо в кулаке, судорожно расстегнул ворот рубахи. Он явственно услышал деревянный, бесцветный, с хрипотцой, ровный голос тестя, который и на этот раз остался верен себе: о самом главном поведал сухо, строго и вежливо. К менторским манерам старого учителя Давид успел привыкнуть. Он и дома, в кругу семьи, говорил всегда с таким безупречным пафосом и выверенно правильно, взвешенно, будто выступал с

трибуны перед партийным активом. Оплошностей не допускал, даже к знакам препинания, к тональности и к паузам нельзя было придраться.

Но на этот раз в письме Давиду мерещились явный упрек и даже вызов. Резануло по сердцу не только это бездушное обращение "тов.", но и то, что внука, которого всегда называл "Арнольдом" или "Арюшкой", переименовал вдруг в Алешку, и это, конечно же, не было случайной опиской: в патриотическом порыве или, может, исключительно бдительности ради тесть, видно, не счел возможным в столь суровое время схватки с немецкими оккупантами называть внука нерусским именем. Впрочем, какой он теперь ему тесть, коли дочка его, как он сам изволил выразиться, выкинула такой номер. Давид даже не сразу сообразил, что, собственно, случилось. Неожиданная весть точно оглушила его, сердце замерло на миг и будто оборвалось в груди, кровь мгновенно хлынула в голову до звона в ушах, он бросился к окну, толкнул форточку. Все поплыло перед глазами. На что намекает старый хрыч? Что стряслось с Лидой? Какой еще "майор-артиллерист"? Откуда он взялся? Что значит "действующая армия"? Как это? Опять сама все решила или ее призвали?.. Он не знал, сколько времени простоял у окна медпункта в оцепенении, не видя ничего, словно погруженный в поток темных сомнений. Он только смутно чувствовал, что случилось самое страшное, непоправимое, то, что в глубинах неприкаянной души роилось неосознанно, неотступно, вызревало, как рок, уже давно, но никак не определялось в суматохе последних месяцев. Выходит, ушла... ушла насовсем, навсегда, бесповоротно, разом зачеркнув все, что было между ними за восемь лет супружеской жизни... Ушла, изменила, бросила... Вспомнив о зажатом в кулаке письме, он развернул его, разгладил, вновь заскользил мутным взглядом по проклятым, оглушившим его строчкам и вдруг в самом конце письма увидел приписку — мелкий, торопливый почерк Лиды. "Все, что написал папа, — правда. Так получилось. Прости. Ты ни в чем не виноват. И моей вины нет. Виновата во всем проклятая война. Не кляни меня. Зла на меня не держи. Уезжаю на фронт. Так надо. Прощай, Лидия".

Прощай... У него запершило в горле, глазам стало горячо. В изнеможении он опустился на топчан. "Так получи-

лось...” “Так надо...” Ничего себе объяснение. И ни у кого никакой вины. Во всем виновата война. И все — правда. Так просто и коротко все объяснила, что Давиду стало жалко и себя, и Лиду. Ничего не поделаешь. Так получилось. Так рассудила жизнь. И все. Конец.

Ему стало дурно. От слабости мутилось сознание. Он затравленно заозирался вокруг. Встал в полной растерянности. Начал вдруг механически переставлять пузырьки, банки, коробочки на столе. Потом вышел из медпункта, постоял на крыльце, не зная, что делать дальше.

Быстро темнело. Тучи сбивались, шли медленно, сплошняком. Вдоль Ишима жутковато темнел тугай. В звенящей тишине было слышно, как возле Тас-уткеля бормотала, перекатывая камешки, река. Над аулом веял влажный ветерок. Пахло дымком. Перед домами в угасающих земляных печах таинственно мерцали огоньки.

Мысли лихорадили. Как быть? Что делать?.. Так получилось. Так надо. Всю ночь его преследовали кошмары. Сон не шел. Было душно, одиноко и безнадежно горько. Тучи клубились над аулом, опускались все ниже. Давид ворочался на постылой постели, временами вскакивал, садился на кровать, сгорбленный, растерянный, и все силился собраться с мыслями, понять, что же случилось, почему все так обернулось, с чего началось крушение его семьи. Он вспоминал всю свою жизнь с Лидой Истратовой, со дня их знакомства, с той случайной встречи, когда белокурая, круглолицая, крепенькая, коротко остриженная, в береточке девушка из медучилища в толпе женщин, встречавших возвращавшихся под будоражащий грохот духового оркестра с изнурительного марш-броска красноармейцев Первого татарского стрелкового полка, вдруг подбежала к нему, правофланговому курсанту-санитару, с букетом цветов. Почему ее выбор пал на него, он так и не понял и она впоследствии объяснить не могла. В следующий раз он увидел ее в парашютном кружке, во время контрольных прыжков с тридцатиметровой вышки. Еще раз встретились в той же летной школе за городом, где она проходила практику санинструкторов. На пикнике на берегу Волги в честь праздника военно-воздушных сил оказались опять вместе до самого утра. Тогда-то и показалось им: судьба. Встречались урывками,

накоротке: армейская дисциплина не располагала к длинным свиданиям. И сошлись словно в спешке, на ходу, что очень не понравилось родителям Лиды. Он был горд. Как-то нежданно получил в жены не какую-нибудь там деревенскую Амалию, которая только и умеет, что по хозяйству копошиться да детей рожать, а городскую, образованную, культурную, русскую, дочь учителя. Редко какому сельскому гансу такое подфартит. И все у них пошло, ладно, складно — так ему во всяком случае казалось. Любопытным Лида обычно отвечала коротко: "Из немцев" и поспешно добавляла: "Из наших... поволжских". А отец ее непременно уточнял: "Из колонистов", что в свой черед резало слух Давиду — "колонисты", он знал, имел разный оттенок. Он тогда ходил кандидатом в члены ВКП(б), и нечеткое понятие "колонист" его смущало. Время было тревожное, суматошное, по всей стране волна за волной прокатывались шумные процессы, праздные разговоры не поощрялись. Да и недосуг было. Все как-то закружилось, завертелось, как в лихорадке. Сплошь встречи — разлуки. При этом разлуки все чаще и длинней, встречи — все короче и реже. Молодые не успевали привыкнуть друг к другу, все казалось, настоящая жизнь впереди, потом. Его направили в школу военных лекпомов в Ленинградский военный округ, потом он был санинструктором, фельдшером Четырнадцатой военной школы летчиков в городе Энгельсе, на службе РККА. На семейную жизнь времени не оставалось. Чувства были и — видел Бог — взаимные. Жили как придется — в бараках, в общежитиях, в командирских блоках, изредка у родителей Лиды, всегда в тесноте, без уюта и удобств. Он, Давид, этого и не замечал. А как родился Арно, так и вовсе пошел сплошной аврал. Все внимание, все заботы и хлопоты, вся любовь Лиды всецело переключились на болезненного малыша, а Давид разрывался между службой и семьей. Месяцами Лида с сыном проживала вообще у родителей, куда Давид наведывался очень неохотно. До 38-го года, пока его не уволили исключительно по национальному признаку из рядов РККА, у них, помнится, ни одной размолвки и не было. А вот потом недоразумения случались. И родня с прохладцей приняла русскую невестку, и быт оказался неустроен, и к практической жизни, как выяснилось, Давид оказался мало приспособлен,

и Лида начинала раздражаться по пустякам и чуть что — уезжала к родителям и незаметно отчуждалась от него. Нет, ни в чем дурном упрекнуть он ее не может, не было и повода для ревности, а вот огня в их отношениях, как прежде, не было, он это чувствовал по ее скованности, по вечному страху забеременеть, этот страх преследовал ее, как наваждение, и это ввергало его в уныние и раздражение. Он вообще не вдавался в тонкости супружеских отношений, и не потому, что был черств, бездушен или равнодушен, а, скорее, потому, что был воспитан в том духе, что фрау — верная тень мужа, так положено искони, куда муж, туда и безропотная фрау, иначе не бывало и не должно быть. Главное — работа, долг, а фрау — нечто прикладное, само собой разумеющееся. И ничего плохого в подобном раскладе он искренне не видел. Правда, ему не раз приходилось слышать от родичей и просто знакомых соплеменников, что он, мол, слишком много воли предоставляет своей благоверной, что кончится это плохо. Он посмеивался и возражал иногда в том смысле, что это старый, отживший взгляд, что женщина прежде всего друг, а не постельная подруга, не сопостельница...

И все же с чего все началось? Откуда пошел разлад? Почему она тогда так твердо решила не следовать за депортируемым мужем? Почему она прежде всего подумала о своем благополучии? Не замышляла ли она уход от него уже тогда? Не использовала ли она треклятый указ о выселении немцев как весьма удобный повод для разрыва семейных уз? И почему он не проявил тогда характера и согласился с ней, не настоял на совместный отъезд? Неужели он не мог предвидеть, к чему приводит столь длительная разлука?

Всю ночь он думал, вспоминал, терзал себя сомнениями и вопросами. И было ему гадко, будто скользкие, холодные твари, жучки или паучки, ползли по его телу, вызывая мерзкий зуд. Временами чудилось, что он проваливается в черный омут.

Кого винить? И какой теперь в том смысл? Говори не говори, горюй не горюй, строй бесконечные догадки, казни себя — что было, то было, что прошло, того не вернуть. Горько, обидно, больно, но ты был беспомощен тогда, в канун депортации, а теперь и вовсе бессилен. Приходится

смириться, носить постоянную, ноющую боль в себе, сознавать свое полное одиночество.

Он чист и честен перед Лидой и сыном. И Лиду вроде как не в чем упрекнуть. Видно, и ей нелегко было решиться на такой шаг. "Так получилось. Не кляни меня. Прощай". Выходит, жертвой стал он. Бросили его. Предали. Оставили одного. На четвертом десятке жизни лишили всего. Ни кола, ни двора. Ни жены, ни сына. Один, как перст. Спецпереселенец, изгой... першыл казахского аула...

К утру обрушился ливень, дождь неистово хлестал землю. Грязные подтеки исполосовали окна. Казалось, ливень скоро размочит пласты и пробьет крышу. С потолка сразу в нескольких местах закапало. Давид встал и, шатаясь, как больной, расставил тазы, кастрюли, ведра. В комнате было сиротливо и убого. На столе лежало скомканное письмо от бывшего тестя. Давид почувствовал, как сжалось и упало куда-то вниз сердце. Во рту было сухо, в горле стоял горький комок, руки мелко дрожали. Он схватил письмо, подошел к окну, приоткрыл форточку. Дождь лил так плотно, что не было видно домишек напротив через дорогу. Вдоль стены бурлил грязный, пенистый поток.

Давид почувствовал себя еще более опустошенным. Он постоял, как потерянный, неистово поскреб заросшие щетиной щеки. С недоумением уставился на смятое письмо в руке. Долго и аккуратно разорвал его на мелкие кусочки и выпивырнул в форточку в мутный пузырящийся поток. Блуждающий взгляд его неожиданно упал на зеркальце на простенке. Он вздрогнул. На него сумрачно глядел чужой, больной мужчина с воспаленными красными глазами, с запавшими щеками, с длинным носом и тощей шеей. Давид не сразу узнал себя в нем. "Ты неудачник" — вспомнились сказанные когда-то слова жены. Он снова почувствовал тяжесть сердца, отвернулся от зеркальца и, как подкошенный, упал на кровать, зарылся лицом в подушку. Слез не было. Пролежал он долго, на какое-то время даже провалился в забытье, а когда очнулся, ливень угомонился, выдохся, но славаться, видно, не желал. С потолка падали крупные бурые капли. Потолок весь потемнел, глина набухла и еще еле-еле держалась за штукатурку. "Надо перекрыть крышу, нарезать новые пласты. Только выдержит ли матица?" —

подумал Давид. Ему стало легче. Тупая боль разлилась по всему телу. Голова была горячая. Слегка познабливало. Он побрился, помылся, причесался и отправился в медпункт.

И здесь было убого, пусто. Пахло сыростью и лекарствами. Ходики на стене встали. Давид походил по комнате: машинально переставил все склянки, бутылочки на столе, заглянул в регистрационный журнал, несколько раз прочел последнюю запись, никак не улавливая ее смысл. Все уплывало мимо сознания. Он опустился на топчан, схватился за голову. "Надо взять себя в руки. Нужно встрепенуться. Все выкинуть из головы, все вырвать из сердца. Все. Все. Раз и навсегда. Хватит. Довольно. Все уже... Все ведь. Ее нет. Нет и не будет. И не надо больше об этом. Не надо. Забудь... Забудь".

Он почувствовал страшную слабость. Слабость до тошноты. До изнеможения. А жернова подсознания продолжали тупо перемалывать тысячу раз перемолотые мысли. Нет, ну зачем? Почему? Что я сделал ей? Почему она так?.. Ничего не было. Все было не то, не то, не то. Опять пошел дождь. Осенний дождь. Осень жизни. Когда это кончится? Так получилось. Так надо. Все кончилось. Кончилось. Что еще? Забудь. Забудь. Очнись. Встряхнись. Хватит. Довольно. Но почему, почему, почему?! О-о-о-о!.. Ладно. Хватит себя изводить. Это как смерть. С нею приходится смириться. И продолжать жить. Да, да... надо как-то жить. Нужно жить...

III

Христьян, сгорбившись, сидел у печки и отрешенно глядел на догорающие березовые поленья. Он даже не заметил, как окутанный клубом пара, вошел в комнату брат, не вошел, а ввалился, вобрался, протиснулся в заскорузлом заиндевевшем бараньем тулупе и застыл у порога.

Был Христьян сзади похож на замороженного подростка. Даже под ватной фуфайкой выпирали острые лопатки; цыплячья шея обросла белесым пушком; голова беспомощно свисала на грудь; истончившиеся белые уши просвечивал слабый отблеск пламени; худые мосластые ноги в несуразно огромных подшитых пимах торчали в разные стороны. От всей тщедушной фигуры Христьяна веяло безнадежьем.

У Давида сжалось сердце, озноб пробежал вдоль спины. Мани Готт, неужели это тот Христьян, рослый, статный, верзилистый парняга-увалень, который, бывало, при встрече в отчем доме, казалось, смущался своего бьющего через край здоровья и неуемной юношеской силы? Каких-то три года назад, в очередной приезд в село, братья озорства ради на потеху сельчан устроили борьбу на открытом поле за конюшней и, помнится, лишь благодаря армейской сноровке, ГТО-вской выучке и выносливости Давид с трудом одолел не в меру раззадорившегося, по-юношески честолюбивого брата. Ни ростом, ни ловкостью, ни весом он, пожалуй, ему тогда не уступал. А теперь Давид мог бы его — щуплого, иссохшего, сгорбленного — запросто унести под мышкой, точно кутенка.

Ему вспомнились сейчас первые слова, сказанные Христьяном при встрече на станции: "Не пугайся, Давид, я ведь — доходяга". Он произнес это незнакомое слово таким мертвым, будто деревянным голосом, что Давид в первое мгновение опешил. В этом тощем, изможденном, длинноносом, с запавшими, потухшими глазами существе в грязной рвани трудно было признать еще недавно пышущего здоровьем родного человека. Помнится, боялся его даже обнять: казалось, брат тотчас рассыпется, рухнет при малейшем к нему прикосновении. Длинные, истонченные руки и ноги, казалось, были кое-как приживулены к изнуренному, точно призрак, тельцу. В чем только держалась душа?

Христьян поежился, шире открыл заслонку, положил на догорающие угли еще одно полено и весь подался вперед, словно норовил залезть в печку. Окна были наполовину заметены снегом, и в комнате при медпункте было сумрачно и убого. Стынь струилась через щелястый пол. Углы стен потемнели от сырости.

О чем думалось сейчас Христьяну? Может, он чувствовал себя в дремучем лесу, на лесоповале, возле костра? Может, мерещились ему такие же, как он, доходяги-трудармейцы? Слышались визг лучковой пилы, стук топора, стон подрубленного дерева, хруст сучьев?

Давид осторожно опустил у ног рюкзак, негромко кашлянул, но Христьян, занятый своими думами, не шелохнулся.

— Что, браток, никак согреться не можешь?

Христьян обернулся на голос, виновато улыбнулся, чуть приоткрыв старческий беззубый рот.

— Никак, Давид... Мне кажется, все внутренности мои оледенели. И никогда уже не оттают...

— Никогда не говори "никогда". Верь: все образуется.

Христьян не ответил. Держа ладони над разгоравшимся поленом, наблюдал, как брат ловко скинул у порога тяжелый овчинный тулуп, шапку-ушанку, кожей обшитые шерстяные рукавицы и с таинственным видом принялся развязывать рюкзак. Он достал оттуда что-то мерзлое, увесистое, в ярко цветных перьях, положил рядом с печкой, потом — еще и еще. Лицо его сияло от радости.

— Ну, что скажешь?!

— Was ist das? — равнодушно спросил Христьян.

— Хм-м... Rebhühne... Куропатки! Видишь, красотки какие!.. Застыли, бедняжки, пока добирался. А вот и самец. Какие перья, а?!

Давид ликовал, поглаживал тушки, держал на весу за ноги, любовался алыми гребешками, всматривался в лицо Христьяна, ожидая, что тот разделит его радость и восторг. Но, казалось, ничего не могло вывести Христьяна из состояния тупого безразличия.

— Вот что, брат... — помрачнел Давид. — Хватит тебе киснуть. Устроим сегодня пир.

— Пир?!.. В честь чего?..

— В честь того, что мы живы, что морозам скоро конец, что впереди весна, а там... О, там, брат, жизнь, надежды...

Он хотел было хлопнуть брата с силой по плечу, приободрить его, но спохватился, испугавшись причинить ему боль.

Христьян, еще сильнее сгорбившись, вновь прильнул к печке. На сером измученном лице не было ни кровинки.

— Ты бы хоть спросил, как я их достал. Без ружья, без силков..

— Кого?

— Да куропаток этих!

— А-а... Ну, и как?

— Представь... голыми руками! Ехали с Нурканом-почтовозом из Каратала через лес. Тишь, понимаешь, все в инее, снежная навись, сизая мгла. От мороза кора на деревьях лопается, сучья трещат. И слышно глухое бухание, снег под деревьями взвихривается, искрится. Я не сразу понял, в чем дело. Нуркан объяснил. Оказывается, в лесу куропаток до черта. В мороз бедняги с верхушек деревьев камнем падают вниз, чтобы глубже зарыться в сугроб. И тут они совсем беспомощные. Ни взлететь, ни бежать не могут. Ну, я и стреб пяток.

— Хм-м... — безучастно промычал Христьян. — Интересант... Такого там, в сибирском лесу, видеть не приходилось.

— Ты сегодня как... ничего? — с надеждой спросил Давид. — Ночью что-то кричал во сне, ворочался. Потому утром не стал будить.

— Нет, я слышал, как ты уходил... А состояние так себе. Вроде как живой покамест. До уборной кое-как добрел, а дров занести не смог.

С жалостью и состраданием посмотрел Давид на сгорбленную фигурку брата. Бедный, бедный... как дошел! Точнее, до чего довели сильного молодого крестьянского парня-увальня. Предельная степень истощения... крайняя дистрофия. Не человек — призрак, тень бесплотная. Видно, трудармия — тот самый ад, которым пугала, бывало, детей и внуков-неслухов покойница-мать, истовая лютеранка. Непросто будет поднять брата на ноги. Конечно, подкормить, отогреть можно, но как душу-то оживить? Как вернуть ему вкус жизни, веру, надежду? В нем убиты все желания. Каким образом поддержать еле теплющийся огонек под грудой золы?

В аулах уже давно нет спичек. Кое-кто изловчился выбивать искру кресалом, но дело это хлопотное и не каждому с руки. Попробуй эту искру поймать да возжечь... Терпения не напасешься. Поэтому в домах старались пуще всего сохранить огонь, хотя бы крохотный горящий уголек в печке, под таганом, под золой. Если же он угасал — беда. Тогда поневоле приходилось с чумазым, помятым котелком бежать в ближний дом, над крышей которого вился жидкий дымок, чтобы разжиться крохотным угольком, с помощью которого, подбрасывая березовую бересту или сухие щепки,

можно было кое-как раздуть в очаге спасительный огонь. Дело благое, святое. Аульчане выручали таким образом друг друга. Угас в доме огонь, считай, в опасности сама жизнь. В аулах всегда находились люди, которые зорко следили за тем, чтобы над крышей мазанки струился дымок. Вполне возможно, что не в каждом доме найдется что есть, что положить на зуб, но огонь в дому угасать не должен.

Вот и в душе доходяги Христьяна необходимо удержать любой ценой едва тлеющий уголек жизни. Давиду порою казалось, что это возможно, что ему это удастся. Парень-то молод, основа здоровая, крепкая. Придется поначалу как за малым дитем поухаживать. Изваром попоить, благо он запасся на зиму сушеными шиповником, черемухой, смородиной, бояркой, вишней, солодковым корнем. С харчами, конечно, туго, но мир не без добрых людей, кое-что раздобудет, прикупит, а иногда, может, зайчонка-беляка изловит, или куропаток, как сегодня. Лишь бы дотянуть до весны, там дикий лук и чеснок пойдут, щавель, у соседей можно будет брать молочко, куры начнут нестись, а после половодья и рыбешкой промышлять не грех. Быстро Христьян поправится, войдет в тело, как колхозная кляча на вольном разнотравье.

— Давай, брат, сделаем так... Я сейчас принесу пару ведер воды, ты приготовишь на плите кипятку, ошпаришь и общипешь этих красоток. Я за это время сбегаю в тот край аула, проведаю больных. Три семьи лежат в сыпняке. Понимаешь? Температура — жуть. В забытьи лежат... А вечером мы с тобой пошпрехаем. Abgemacht?

— Gut, — тихо отозвался Христьян.

...Когда часа через три Давид со своей неизменной аптечкой-чемоданчиком вернулся домой, Христьян, скрючившись, спал возле печки, держа в руке недощипанную куропатку. Две синеватые круглые тушки, общипанные кое-как, лежали в тазу, еще две валялись чуть поодаль нетронутыми. Березовые поленья догорали в черной пасти печи, в чугунке на плите побулькивала вода, а Христьян, неловко завалившись набок, лежал, точно подкошенный. То ли разморился, целый день сидя у печки, то ли обессилел от монотонной работы.

Давид сначала испугался, бросился к брату, высвободил из его рук наполовину общипанную куропатку, по привычке быстро пощупал пульс у запястья и только тогда успокоился. Христьян спал, как ребенок, приоткрыв рот. Дыхания почти не было слышно. Одну руку он подложил под голову, другая висела вдоль туловища, точно плеть. Из-под мышек фуфайки торчал грязный клок ваты. Колени он так крепко прижал к груди, что, казалось, прямо к фуфайке были пристегнуты огромные, неумело подшитые гнилой дратвой катанки. Давид подумал: если бы не эти громоздкие валенки, брата и во двор отпускать опасно; ветер подхватит, закружит, как куст перекати-поля, и унесет куда-нибудь в овраг за аулом. В медицинских книжках и справочниках ему не однажды приходилось читать про дистрофию и дистрофиков, но в жизни он не мог представить, что до такой степени может истощиться человеческое тело. Нечто подобное он увидел мальцом-подростком лишь в моровом двадцать первом году, когда люди в немецких селах Поволжья умирали, как мухи.

Давид не стал будить брата, вылил из чугунка кипяток в таз, ошпарил оставшиеся тушки куропаток, подержал немного в кипятке и сноровисто, быстро общипал их. Потом на вертеле опалил тушки на огне, поскреб их до нежной белизны ножом, разрезал, вынул внутренности, вымыл и, разделав две тушки на кусочки, принялся в чугунке готовить жаркое с картошкой.

Сытый, дразнящий запах заструился вскоре по комнатке. Сухие поленья затрещали в печке веселее. Золотистые блики огня заиграли-замелькали по стенам. Над плитой клубился пар.

Христьян дернулся судорожно, потянул носом. Потом разлепил веки, видно, не сразу сообразил, где находится, присел, оглянулся, хрустнул затекшимися коленями.

— Ты бы осторожней у открытой печки-то... — посетовал Давид. — Эдак и сгореть немудрено.

— Виноват... виноват, начальник, — сипло отозвался Христьян. — А пахнет как, а? Будто нудельзуппе варишь...

— То-то же! Нудельзуппе, конечно, не будет, а вот жаркое — пальчики оближешь!

— Ловко у тебя получается, однако!

— А что, я ведь не зря поваром был в колхозной бригаде, когда ты еще под столом ходил. Из топора, как тот солдат, щей не сварю, а из куропаток нечто сварганю, как пить дать. Не хуже любой фрау.

— Хы-гы-гы... — пытался рассмеяться Христьян, но тут же зашелся кашлем. — Hunger ist der beste Koch[1].

— In der Not schmeckt jedes Brot[2].

Давид приставил колченогий стол к печке, зажег лампу-семилинейку. Мрак рассеялся, лишь по углам стыла сутемень.

Ели жаркое деревянными ложками прямо из чугунка. Картошка разварилась, пропиталась нежным жирком, зарумянилась, покрылась по краям золотистой коркой. Сладкий парок вился над чугунком, приятно щекотал ноздри.

Христьян ел торопливо, тяжело вел кадыком на тощей шее, сопел, хлюпал носом, поперхнулся.

— Не спеши, — урезонил его Давид. — Нам на двоих хватит.

— Да, да... знаешь, привычка... Там... там нельзя было мешкать. Успевай только глотать.

Христьян еще усерднее зачмокал, давясь; еще сильнее захлюпал носом, бросил вдруг ложку, выхватил из кармана носовой платок.

— Что, опять?

— Опять... — растерянно ответил Христьян, откинув голову. — Прямо беда.

— Это от слабости. Малокровие. Окрепнешь — пройдет.

Каждый раз во время еды или после нее у Христьяна из носа шла кровь. И не было с этим никакого сладу. После этого он всегда отлеживался некоторое время в полном изнеможении. Говорил: "Мне, наверное, лучше вообще не есть?.." Иногда пытался шутить: "Не в коня корм". Вот и сейчас он откинулся затылком на спинку стула, платком зажимая ноздрю и ловя ртом воздух. Даже при тусклом свете семилинейки было видно, как он побледнел, а в глубине зрачков мелькнул испуг.

— Ничего, ничего... отдышись. Потом поешь еще немного. Я тебе пока отвар приготовлю.

---

[1] Голод — лучший повар.

[2] В нужде всякий хлеб вкусен.

— Надо же... и так крови мало, так еще и эта напасть.

— Пройдет... бывает. Я слышал от казахов: хворь входит в тело пудами, а выходит золотниками. Во всем нужно терпение.

— И мама папа всю жизнь твердила: терпи, терпи, терпи.

— Правильно говорила. Вот доберусь до Марьинки, выпрошу у аптекаря Бронштейна пузырек рыбьего жира. Тебе это пойдет на пользу.

— Сроду не пил... Говорят, от него тошнит.

— Зато витаминами богат.

Видно, к ночи резко похолодало. Чайник на плите начал жалобно высвистывать. В печной трубе гудело. Ветер временами обрушивался шквалом, грозясь сорвать с крыши плотно улежавшиеся дерновые пласты. От мороза трещал сруб дома.

Христьян пришел в себя, еще раз осторожно поел, потягивал из алюминиевой кружки горячий отвар из степных ягод и время от времени крупно вздрагивал.

— Это стынь из тела выходит, — размеренно бормотал он. — Душа оттаивает.

— Ну, а теперь я еще малость повеселю тебя, — сказал Давид, доставая из футляра скрипку. — Споем с тобой наши, немецкие песни.

— Гы-гы-гы, — затрясся в кашле Христьян, — из меня певец. Один скулеж собачий... и то не получится.

— Ничего... споем. А то от родной речи совсем отвыкаем. Только во сне слышу. И то редко.

Давид тщательно обтер скрипку, подул на нее, как бы отогревая дыханием, погладил, положил на колени, покачал. Потом подтянул смычок, долго канифолил его, слегка провел по струнам, приговаривая, воркуя:

— Ай, бедная... Совсем онемела... От сырости охрипла. Подружка моя, сиротинушка... одинокая, заброшенная... Печальница моя. Знаешь, Христьян, скрипка — что женщина. Ее нужно любить, ласкать, холить, гладить. Душа у ней хрупкая, нежная, чуткая. Не любишь ее, не играешь на ней — она чахнет, становится непослушной, сварливой, теряет голос, не поет — а хрипит, пищит, гнусавит... или вовсе отобьется от рук, а то и рассыпится от обиды и злобы.

— Скажешь тоже!

— А как же? Скрипка — это тебе не бездушная деревяшка, а существо живое, нежное... В постоянном уходе нуждается.

Давид долго, с явным удовольствием, настраивал скрипку, и так, и сяк подкручивал колки, осторожно вел смычком по струнам, прислушивался к терциям, нащупывая лад. Потом встряхивал пальцами, помял суставы, сыграл несколько музыкальных фраз из знакомых мелодий.

— Слушай, Христьян... а куда ты дел свой кларнет?

— Э... вспомнил! Клара украла у Карла кларнет... Еще в начале сорок второго.

— Как это?

— Просто... Пришла повестка из военкомата, в трудармию, а дома — шаром покати. Ну, и выменял одному балбесу из местных за мешок картошки и пуд ячменя.

— Какая жалость!.. Такой инструмент!

— Да-а... Инструмент хороший, да голод не тетка. Теперь кларнет мне все равно без надобности, — взгрустнул Христьян. — Сил нет, зубов нет... все, отыгрался.

— Брось!.. Ну, с чего начнем?

Давид вскинул скрипку, поудобнее зажал подбородком, широко взмахнул смычком, приосанился.

— Что вспомнишь, то и играй.

Давид ударил смычком, сходу завел озорную, залихватскую мелодию. Это получилось так неожиданно и заразительно, что Христьян даже встрепенулся и поневоле откликнулся на рефрен знакомой песни. И Давид, подзадоривая брата, высоким голосом запел:

— Ich ging emal spaziere...

— ...nanu, nanu, nanu... — тотчас робко просипел Христьян.

— Ich ging emal spaziere... — Давид сделал паузу, вскинул смычок жестом заправского дирижера, и Христьян тут же окликнулся:

— Was sagst du denn dazu?

— Ich ging emal spaziere.

— ...bums, vallera!..

И далее братья на два голоса в лад пропели:

— und täte Mädel führe, hahaha-aha!

И пока Христьян прокашлялся, налаживая дыхание, Давид, притопывая левой ногой, бурно проиграл весь куплет еще раз и вновь запел:

— Sie sagt, sie hätt' viel Gulde...

— ...nanu, nanu, nanu, — более уверенно поддержал Христьян.

И хотя некоторые слова популярной шуточной народной песни братья вспомнили не сразу, все же с паузами и повторами допели ее до конца.

Чтобы приподнять настроение Христьяна, Давид сыграл и бесшабашную "О, Сузанна!", и шаловливую "Аннемари", и озорно-любовную "Mein Mädel hat einen Rosenmund" и еще несколько шуточных, весьма распространенных среди немцев Поволжья песен, но вскоре понял, что весь этот беспечно-веселый репертуар не особенно созвучен нынешнему духовному состоянию физически и морально подбитого, изнуренного брата. Тогда Давид, передохнув, сыграл величавый "Интернационал", торжественно-призывную "Варшавянку", патетическую "Марсельезу", бодрящую "Мы кузнецы", все яростнее отбивал ногою такт, изредка подпевал-выкрикивал воинствующие фразы, но Христьян не воодушевлялся, не взбадривался духом, наоборот, как-то приуныл и улыбался напряженно, кисло, через силу. И лишь когда без всякого перехода пальцы Давида набрели сами по себе на интимно-исповедальную, бесхитростно-задушевную "Du, du liegst mir im Herzen", Христьян немного оживился и, едва шевеля сизыми губами, выдохнул:

Du, du liegst mir im Herzen,
du, du liegst mir im Sinn.
Du, du machst mir viel Schmerzen,
Weißt nicht, wie gut ich dir bin.

Давид опустил скрипку, взмахнул смычком, как дирижерской палочкой, и вступил высоким альтом:

Ja, ja, ja, jaaa...
Weißt nicht, wie gut ich dir bin.

И далее братья спели песню слаженным дуэтом до конца.

— Вот это у нас получилось wunderbar! — довольный воскликнул Давид. — Может, повторим?

— Найн, — пытался улыбнуться Христьян. — У меня уже нет сил.

— Слушай, а вы там, в лесу, пели?

— Ах, Готт!.. Какие там песни? Лай овчарок, мат охранников, визг пилы — вот и вся песня.

— А после работы, в бараке?

— В бараке все думы об одном: что бы пожрать, как бы малость обсушиться, как бы избежать издевательского шмона, отогреться да на нары скорее взобраться. Какое тут пение? Выть охота, да нельзя и невмочь.

Помолчали, вслушиваясь в вой ветра за стеной. Давид задумчиво перебирал, пощипывал пальцами струны скрипки, как бы нащупывая забытую мелодию.

— Ужасно!.. — вздохнул он через некоторое время. — Где не поют, там нет жизни. В этом смысле мне нравятся казахи. Ведь бедность жуткая. Холод, голод... похоронки идут... детишки голые, босые. А ведь как соберутся — поют. И на стане, и на ферме... и женщины, и подростки. Едет себе казах на клячонке — мурлычет. Скребет бабенка казан — напевает. Случается застолье — все попеременно поют. А как иначе? Не поют, где нет надежды...

— Впрочем, — как бы очнулся вдруг Христьян. — Был у нас там, в бараке, один. Тоже с Волги, из Бальцера. Он вроде учителем был. Так он, случалось, сочинял стихи. И пока обсушивался у буржуйки, тихо пел.

— Ничего не запомнил?

— Сейчас... — Христьян наморщил лоб, пошевелил губами. — У него была длинная печальная песня на мотив "Стеньки Разина".

— "Из-за острова на стрежень"? — переспросил Давид, тотчас подбирая мелодию на скрипке.

— Да... Это... А слова были такие:

Neunzehn hundert ein und vierzig
kam das bitterböse Wort,
und wir Deutschen von der Wolga
mußte nach Sibirien fort.

Давид, вслушиваясь в эти отравленные болью слова, старательно выводил протяжно-скорбную мелодию, а Христьян не пел, а хрипло в такт песни, декламировал:

Alles mußten wir verlassen:
Haus und Hof und Vieh und Land,
Felder, Walder und die Wolga,
wo auch unsre Wiege stand...[1]

Христьян перевел дух. Голос его дрожал. Чуть успокоившись, сказал:

— Дальше не все помню. Длинная была песня. Душещипательная. В ней говорилось, как нас выселяли с родных мест, как выли собаки, ревели коровы, как сердца людей обливались кровью от черного указа, как нас разбросали по всей Сибири, как детей отлучили от родителей...

— Ладно... Не надо. Не трави душу.

— Как хочешь... Конечно, лучше, если бы этого не было, если бы всего не знать. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist...[2]

Христьян умолк, а Давид продолжал все увлеченней терзать скрипку, переиграл почти весь свой репертуар — вальсы, польки, танго, фрагменты из оперетт. Он играл самозабвенно, все более и более увлекаясь. Он испытывал радость оттого, что еще не все забыл, что память услужливо подсказывает все то, о чем он в последнее время ни разу не вспоминал, испытывал удовольствие от того, что пальцы и скрипка по-прежнему послушны ему и слова давних песен еще не совсем заглохли в душе, не угасли, не отмерли. Он и не заметил, как Христьян, уронив голову на стол, затих, должно быть, уснул от усталости, слабости и эмоциональной встряски или разомлел от тепла и сытого ужина. Давид подошел к нему, погладил по волосам, участливо спросил:

— Спишь?

Христьян поднял голову. По серым запавшим щекам его текли слезы.

---

[1] В году девятьсот сорок первом пришла горестная весть, и нам, немцам с Волги, пришлось перебраться в Сибирь. Все должны были оставить: дом, подворье, скотину, землю, поля, леса и родную Волгу, где стояла наша колыбель *(подстрочный перевод)*.

[2] Счастлив тот, кто забыл того, чего нельзя переделать *(погов.)*.

— Давид... ты знаешь, за что с нами так, а? В чем мы провинились?

— Ну, не надо об этом, дружище. Какой смысл терзаться? И я не знаю, и ты не знаешь. Кончится война — все прояснится.

— Уверен?

— А как же!.. Кончится война, вернемся домой, на Волгу, заживем лучше прежнего... Многое забудется...

— Ай, верится с трудом... Не забудется. Разве возможно? Нет, не забудется.

Давид промолчал, только сильнее стиснул гриф скрипки.

— Как думаешь, Давид... только честно... я еще поправлюсь?

Такая тоскливая боль плескалась в запавших глазах Христьяна, что Давид не выдержал, отвернулся.

— Э, брат, не получается что-то у нас веселье... Ладно. Концерт окончен. Давай-ка спать. Завтра с утра мне нужно добраться до Коктерека.

Тугой ветер сотрясал стены ветхого медпункта, выл в трубе, швырял в окна пригоршни колючего снега. Трепыхался обреченно фитилек лампы-семилинейки, как подбитая душа в изнуренном теле Христьяна.

IV

Он просыпался по обыкновению сам за несколько мгновений до того, как в непроглядной тьме за остывшим, затхлым бараком начинали яростно колотить об чугунный рельс. Вслед за этим в барак врывался в клубах пара кто-то из охранников и луженой глоткой сходу срывался на ор:

— Пааа-дъе-ееем, немчурааа!

Некоторым из бывших урков доставляло особое удовольствие по-волчьи врываться в барак и молча стягивать рывком с нар еще не очнувшихся ото сна трудармейцев и швырять их, точно куль, на грязный, затоптанный пол. Измученные непосильной работой покорные труженики лесоповала, так и не отогревшись и не выспавшись за ночь, только таким образом и просыпались. Дежурные, матерно ругаясь, расталкивали их тумаками, пинали ногами, вопя дурниной и распаляя себя с утра пораньше.

— Пааа-дъе-ееммм, сучары!

— Недобитки проклятые!

— Встать, фрицы!

Барак приходил в движение. Возле буржуйки замельтешили уродливые тени: мужики разбирали так и не подсохшие за ночь вонючие чуни, портянки, фуфайки, ушанки, рукавицы. Кряхтя, отдуваясь, переругиваясь, трудовая колонна второго лесопункта готовилась к повседневному каторжному труду. В промозглом барачном смраде из угла в угол перекатывался глухой немецкий ропот:

— Toller Hund!

— Sauschwanz!

— Mißgeburt!

— Lagerhengst!

— Donner und Wetter!

Старый дядюшка Франц из поволжского села Шафгаузен (было ему чуток за пятьдесят, но облысевший, обросший сивой щетиной, беззубый, тощий, как Кащей, он казался дряхлым, суетливым старичком) подавал замешкавшимся у нар сопревшую, еще волглую одежку, пытался растопить буржуйку, урезонивал, успокаивал наливавшихся спросонья раздражением и злобой соплеменников.

— Киндер, киндер... Спокойно, тише... Не ропщите напрасно. Что должно быть, то и будет.

— Начинается... философ засранный, — ворчал кто-то в стылом углу.

— А что будет, то уже было... Верно, Vetter Франц? — с ехидцей отозвался с другого края голос.

— Ja, ja, mein Junge, stimmt[1]. Воистину так, — подтвердил старик.

У дядюшки Франца на все случаи жизни имелся завидный запас банальных сентенций и житейской премудрости. И он сыпал ими без разбору, к месту или не к месту, что иных трудармейцев забавляло, а других раздражало.

— Заткнулся бы Vetter Франц. И так тошно...

— Конечно... Schlafende Hunde soll man nicht wecken[2]. Но что поделаешь?

---

[1] Да, да, мой мальчик, верно.

[2] Спящего пса не надо будить.

Старик обессилел еще в прошлом году, и была опасность, что его вот-вот переведут в "доходяги", что было равносильно приговору к скорой смерти от истощения. Дядюшка Франц из Шафгаузена, тихий колхозный счетовод, все чаще вспоминал полузабытые строчки из "Vater unser"[1] и мысленно прощался с дородной своей фрау Амалией, детьми и внуками, от которых его отлучили призывом в трудовую колонну еще в феврале 42-го из глухой алтайской деревеньки под нелепым названием Кривое. Недолго многочисленная семья Франца Зауэра прозябала в этом селе в старой, заброшенной развалюхе. Ее даже мало-мальски обустроить и обжить не успели. Сначала забрали в трудармию двух сыновей, Эрвина и Эдвина, куда-то в Молотовскую область, потом призвали дочку Эльвиру в Архангельскую область, потом дошел черед и до Эриха, едва исполнившему семнадцать, а в февральскую метель прислали вызов из райвоенкомата и ему, отцу семейства. И остались в том русском селе на Алтае неутешная, растерянная Амалия с тремя малолетками и двумя внуками без кола и двора. В неотвязных, садняших денно и нощно душу думах о них и загнулся почти было тихий счетовод из поволжского Шафгаузена. Он уже с трудом ковылял по бараку, еле передвигал распухшие, как бревна, ноги, кое-как перемалывал, перетирал кровоточащими деснами свои триста граммов хлеба, как судьба смилостивилась над ним: в самый отчаянный момент трудармейской жизни его Амалия, милая Мальхен, умудрилась непостижимым образом сообразить посылочку с крупой и шматом сала. Как это ей удалось, обреченный на верную гибель дядюшка Франц представить не мог. Однако этот крупяной приварок, жидкая блеклая похлебка с мелкими кусочками сала и спас его от неминуемого списания в разряд безнадежных доходяг. Вперемешку со слезами хлебал он этот приварок с чесночным, желтоватым салом и на этот раз увернулся-таки, выскользнул из холодных объятий костлявой старухи с косой.

Старика пожалели. Лес валить, даже сучья рубить, понятно, он уже не мог, и его оставили дневальным в бараке — поддерживать огонь в буржуйке, натаскать топку,

[1] "Отче наш".

воды, сушить мокрое тряпье, подтачивать топоры и разводить зубья пил. Иногда ему доверяли чистить картошку на кухне. Дядюшка Франц старался быть расторопным и услужливым, угождал, как мог, лагерному начальству, безотказно выполнял его мелкие поручения.

— Эй, старик! Где моя шапка? Не сжег случайно?

— Wer keinen Kopf hat, braucht keinen Hut[1], — парировал дядюшка Франц.

— Ein Esel nennt den andern Langohr[2].

Кто-то громко хмыкнул.

— Верно, Vetter Franz. Все мы здесь — ослы.

— Ja, mein Sohn... Narren sagen das, was die Klugen denken[3].

— Also мы все дураки, один ты умный?

— Я этого не сказал, — миролюбиво ответствовал старик.

Христьян, прислушиваясь к привычному кряхтенью и сопенью вокруг, к коротким фразам, доносившимся приглушенно из барачной сутемени, оделся, обулся, нахлобучил шапку-ушанку, обмотал шею молью побитым шерстяным шарфом, туго затянулся кожаным офицерским ремнем, некогда подаренным братом Давидом, когда он приезжал из летной школы на побывку, — предмет зависти лагерных охранников, и стоял в проходе между нарами в ожидании команды построиться и топать в столовую неподалеку. Его поташнивало: сердце будто ворочалось, опускалось вниз, потом затихало, вставало на место.

Мерзкая дрожь волнами ходила по озябшему телу, в животе урчало, посасывало. Старый Франц, должно быть, заметил его смурное состояние, спросил заботливо:

— Na... mein Kind... крепишься?

— Держусь пока. Но муторно как-то.

— От слабости все. Подкормить бы тебя...

В последнее время дядюшка Франц привязался к Христьяну, как к сыну. Он готовил для него отвар из еловых шишек, варево из картофельных очистков, иногда подсовывал ему краюшку подсушенного на буржуйке черного хлеба. Христьян стеснялся, отказывался, но дядя Франц поотповски уговаривал:

---

[1] У кого нет головы, тому и шляпа не нужна.

[2] Осел другого называет длинноухим.

[3] Дураки говорят то, о чем умные лишь думают.

— Ты молодой. Ты не должен здесь сгинуть. Еще пригодишься. Не теряй надежды...

Христьяну особенно нравился родной поволжский выговор дядюшки Франца, его прибаутки, побасенки, поговорки. Он не раз думал: была бы бумага, записал бы весь этот кладезь фольклора поволжских немцев, которым напичкан бывший колхозный счетовод. Христьян восхищался меткостью фраз, диковинными сравнениями, причудливыми неожиданными словечками, давным-давно выпавшими из нормированной немецкой речи, сохранившими привкус забываемой ныне устной речевой культуры колонистов-бауэров. Из нечастых разговоров Христьян уловил, что в плешивой голове дядюшки Франца сохранились бесчисленные пословицы, дразнилки, стихи, загадки, диалектные выражения Бог весть из каких времен и исчезнувших с лица земли германских княжеств. Христьян помнил, как из Саратова и Энгельса наезжали, бывало, в немецкие деревни левобережья группки любознательных студентов под предводительством ученого языковеда-этнографа, которые охотно и прилежно записывали на потеху сельчан образчики устного народного творчества, придавая ему особый смысл и значение. Какая досада, что все это пропадает втуне в сибирской глухомани!

Дядюшка Франц осторожно толкнул Христьяна в бок, повел глазами в угол нар на второй ярус. Там под одеялом и ватной фуфайкой что-то неподвижно бугрилось. Христьян оцепенел. В последние месяцы во всех бараках трудармейцы мерли, как мухи. Каждое утро на нарах оставались лежать два-три окоченевших трупа. Обычно их обнаруживал дневальный и тотчас сообщал лагерному начальству. Приходили с носилками угрюмые, также ослабшие от недоедания мужики из похоронной команды и относили отмучившихся бедолаг к сараю у самой "колючки", где трупы сваливали штабелями, пробивали им кувалдой на всякий случай черепа и оставляли их лежать там до весны, пока не оттаивала земля, чтобы сбросить в общий, кое-как вырытый ров. В дальнем углу на втором ярусе за прошедшую ночь предстал перед Небесным Петрусом Оскар-музыкант. Он был популярен в поволжских деревнях еще до войны. С небольшой концертной бригадой Оскар-музыкант разъезжал по кантонам не-

мецкой автономии и запомнился своими длинными, не по пролетарской моде, до плеч, пышными волосами и тонкими очками на внушительном носу и еще тем, что ловко играл на множестве инструментов и высоким голосом, аккомпанируя себе на аккордеоне, искусно выводил тирольские песни.

Здесь, в лесу, этот броский молодой человек, артистическая натура, сразу же сник, растерялся. Начальник лагеря, обратив внимание на его буйную шевелюру и очки, от возмущения заорал:

— Это что еще за красотка в пенсне?! Не потерплю!!

В тот же день Оскара-музыканта обрили наголо, и он сразу превратился в беспомощного, жалкого галчонка. Работник он был никудышный. Не удерживал пилу, валился, обессиленный, в сугроб, то и дело ронял очки, топором размахивал так неуклюже, что, казалось, норовил отрубить себе тонкие костлявые ноги. Бригадир-самодур тоже отчего-то взъелся на него, заставлял его для подкрепления духа трудармейцев играть на аккордеоне зажигательную "Камаринскую" и патриотические марши, а в лесу, у костра, петь во весь голос тирольские песни, пока Оскар-музыкант не сорвал на морозе окончательно голос. Бедный, он отчаянно вытягивал тощую шею, глядел слезящимися глазами на стылое сибирское небо, всхлипывая, выводил веселые трели, а бригадир с охраной, помирая со смеху, гоготали на весь лес. Когда Оскар вконец осип, бригадир отобрал у него аккордеон для своего сына-балбеса, заметив с издевкой: "На хрена попу гармонь..." Оскар превратился в ходячую тень. Единственное, что можно было ему доверять, — собирать ветки, измерять поваленные деревья и поддерживать огонь в костре.

Однажды доставили ему посылку от сестер из Алтая. В плотную бумагу с нотными записями была завернута селедка. Бережно разглаживая засаленные, потрепанные нотные листы с записью разных попурри из классических оперетт, Оскар-музыкант плакал, как ребенок. И простодушные парни из крестьянских семей Поволжья недоумевали, не зная, как утешить его. После этого случая Оскар-музыкант угасал на глазах. Он смирился со своей горькой участью и стал безразличным ко всему, что вокруг происходило. И свою урезанную из-за невыполнения плана порцию хлеба дожевал

рассеянно, уставясь невидящими глазами в пустоту. И вот преставился бедняга. Тихо, незаметно, на втором ярусе нар в промозглом бараке глухой сибирской ночью.

Христьян, застыв от ужаса и скорби, долго смотрел в тот угол, где под одеялом и рваной, подпаленной по краям фуфайкой покоился Оскар-музыкант со странной фамилией Мунтаниол.

Иоганнес Фрезе, новоиспеченный бригадир, из поволжских меннонитов, давно догадался, что тщедушный музыкант из его бригады отмаялся. Сейчас, поймав взгляды Христьяна и дядюшки Франца, подошел к ним и приложил палец к губам. Все было понятно. Бригадиру не хотелось раньше времени сообщать куда следует о гибели еще одного трудармейца, пусть дежурные о том догадаются позже, днем или вечером, а пока надо успеть заполучить пайку покойника, положенную на завтрак, и разделить ее между другими изголодавшимися тружениками таежного фронта. Шестьсот граммов хлеба, отпущенные на долю Оскара-музыканта, могут спасти или хотя бы продлить жизнь другого бедолаги. Расчетливый меннонит Фрезе это понимал. Оскара-музыканта уже не вернуть, но заприходовать его последнюю пайку надо ради жизни на земле.

Бригадир выпучил глаза, скорчил строгое лицо и выразительно кивнул на выход. Христьян и дядюшка Франц послушно опустили головы.

— По четыре строооооой-сяяя!..

Толкаясь, как бараны в загоне, все ринулись к выходу из барака. Резкий холодный воздух перехватил дыхание, точно тупым ножом полоснул по горлу. Все сгорбились, инстинктивно зарылись носами в шарфы, натянули на рот куцый воротник фуфайки, ниже нахлобучили шапки.

— Бр-р-р!... Холодрыга... Градусов сорок, однако, будет.

— Сорок, сорок пять — какая разница? Раз нет пятидесяти — топай в лес.

— А и пятьдесят будет — погонят.

— Найн... при пятидесяти не положено. Ни один охранник носа не высунет.

Жидкий парок вился, клубился сизым облачком над колонной трудармейцев. Еще не рассвело, все расплывалось в сутемени. Вдали мерцала вышка. На верхотуре ее едва

различалась неуклюжая фигура охранника в тулупе и с винтовкой. Колонна, взвихривая сугробы, двинулась в столовую. По краям сновали охранники-конвоиры в овчинных полушубках, ватных брюках, заправленных в пимы-самокаты. Скуля от холода, брели на поводках овчарки.

Сумрачную, грязную столовую едва освещали по краям два керосиновых фонаря. Трудармейцы тяжело опустились на скамьи вдоль длинного, ляп-тяп сколоченного стола в ожидании, когда десятники принесут и раздадут положенные им пайки хлеба — 800 граммов — выполнявшим норму и 600 или еще меньше — невыполнявшим — и кипяток, случалось, перловую кашу на воде. Наспех уминав пайку и малость отогрев брюхо кипятком, трудармейцы гуськом потянулись к выходу. Снова сквозь сумрак и стынь обрушилась команда:

— По четыре строоооой-ся-я-я!..

И опять колонна покорно побрела на плац неподалеку от вышки, где каждое утро проводилась ритуальная перекличка.

Григорий Подтыкайло, рыжий детина в полушубке и валенках, изрыгая из луженой глотки клубы пара, сипло выкликивал сначала десятников, с наслаждением перевирая, переиначивая их фамилии. Его помощники, мастера и охранники из выслужившихся урков, сытно гоготали над остроумием своего начальника.

— Гитлер! — начинал валять ваньку начальник.

В первое мгновение никто не откликнулся. На плацу становилось тихо. Начальник победоносно вышагивал вдоль тесно столпившихся понурых трудармейцев, перекатывая желваки.

— Гитлер... твою мать! — надсаживался пуще.

— Гитлер капут, — угодливо хихикнул кто-то из охранников, но верзила Подтыкайло шутку не оценил.

— Это бесноватый Адольф капут, а наш Гитлер пока еще не околел... Гитлер!!

Начальник гаркнул с такой яростью, что овчарки на поводках охранников насторчили уши, напряглись, ожесточились волчьими зрачками.

— Я не Гитлер, моя фамилия Гитнер, — отчетливо донеслось из колонны.

— Один хрен! — отрубил начальник. — Для меня ты — Гитлер!

— Гы-гы-гы, — зашлись в смехе охранники.

— Вав-вав-вав, — ощетинились овчарки.

— Риббентроп! — пальнул, как из пушки, Подтыкайло.

И снова молчание в ответ. Только охрана щерилась, испытывая удовольствие от спектакля.

— Риббентроп, мать твою промеж ног!

— Редекоп я, Редекоп, — мягко поправил начальника тихий голос с отчетливым немецким акцентом. — Рее-дэкооп!..

— Молчать, сука! Борман!

— Борнеман... Борнеман... — убежлал голос из колонны.

— Я и говорю: Борман, — наивно недоумевал начальник. — Геринг!

— Вся фашистская сволота в сборе, — опять хихикнул подхалимски охранник.

— Всю шайку свезли на мой участок, — пророкотал Подтыкайло.

— Го-го-го! — сипела охрана.

— Хверзе!.. Х...хер-зо!..

— Я — Фрезе, — отозвался с готовностью бригадирменнонит.

— Ну, докладайте! Все в сборе? Никто не отлынивает? Никто за ночь не окочурился?

Колонна молчала. Десятники и бригадиры растерянно переминались с ноги на ногу. Кто за ночь отдал Богу душу? Кого сегодня колонна не досчитается? Неужели сейчас затеют на ледяном ветру нудный пересчет? Фрезе почудилось, что начальник лагеря забуравил его своими бесцветными глядельками. Он представил скрюченный труп Оскара-музыканта на втором ярусе нар в бараке, лихорадочно соображал, пронюхало начальство или еще нет, зажмурился, будто собрался нырнуть в ледяной прорубь, и произнес, чуть запнувшись:

— По... порядок...

Обрушилась пауза. Колонна затаила дыхание. Весть о гибели Оскара-музыканта успела дойти до многих.

— Хорошо, — пробасил, наконец, Подтыкайло. — На моем участке значит полный... как его... орднунх...

И ощерился по-волчьи. Фрезе облегченно перевел дыхание.

Начальник отступил на шаг назад, и на утрамбованный пятачок плаца выкатился заведующий культурно-воспитательной частью — долгоносый коротыш в роговых очках, весь такой сытенький, кругленький, завел, загнусавил свою привычную шарманку.

— Помните всегда, везде и всюду: ваша вина перед советской властью и народом безмерна. В тяжкую годину, нависшую над нашей родиной, когда героический советский народ истекает кровью в схватке со злейшим врагом человечества, вы... вы... вы оказались пособниками германского фашизма. И свою вину вы, как диверсанты и шпионы, можете смыть только беззаветным, честным...

— Покороче, Яков Семенович, — буркнул начальник лагеря. Коротышка осекся, поправил очки на носу, прибавил пафосу к голосу:

— ...беззаветным, честным трудом во имя победы над германским фашизмом! Помните об этом ежедневно, ежечасно...

На пронизывающем до костей морозе угрюмо молчали трудармейцы, теснее жались друг к другу, откашливались. Все знали, знали, что свою политическую пятиминутку коротыш, подражая популярному киноартисту, завершит чтением зажигательных стихов молодого советского сочинителя-патриота. И, действительно, коротыш, весь напрягшись, вскинув голову и размахивая ручонками, зловеще чеканил набившие оскомину строки:

Если немца ты не убил,
то молчи о своей любви.
Край, где рос ты, и дом, где жил,
своей родиной не зови.

Морозный воздух перехватил дыхание. Коротыш захлебнулся, закашлялся, наспех пробормотал несколько строк, потом вдруг снова взвил голос, полный негодования и пафоса:

Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
столько раз его и убей!

Униженные, молча стояли немцы-трудармейцы, точно перед расстрелом. Юркий заведующий культурно-воспитательной частью с упоением, взахлеб, читал эти стихи каждый день при утренней перекличке на плацу. И каждый день изнуренных трудармейцев всех вместе и поодиночке расстреливали словами поэта, пробиравшими хлеще сибирского мороза до костей, отравлявшими сознание до умопомрачения. Христьян вычленял из этих стихов лишь две строчки, которые проборматывал про себя без конца: "Край, где рос ты, и дом, где жил, своей родиной не зови"... Где он, тот край, где он рос? И где остался тот дом, где жил?.. Все рухнуло в небытие, все разрушено, все в невозвратном. Родиной не зови... не зови... не зови. Именно эти слова проникали в затаенную глубь сознания, огнем обжигали все его существо. "Убей!" — его не касалось. Истерическое "Убей!" было не страшно. С того дня, с того черного последнего четверга августа 41-го, его убивали столько раз, что священный призыв поэта-патриота его не волновал, не трогал. К тому же Христьян понимал, что поэт призывал убивать на каждом шагу поскорей "тех" немцев, это уж лагерный культуртрегер-коротыш ухитрялся свой гнев обрушивать на отечественных немцев-бедолаг. Бог весть, в чем они перед ним так провинились. Видно, мстить тутошним безобидным немцам было сподручней, нежели воевать с теми, кто — послушный воле ублюдка-фюрера — пришел в страну с войной. А вот слова про край, где рос, про дом, где жил, про отнятую родину причиняли такую невыразимую боль, от которой могла избавить, пожалуй, только смерть.

— Колонна.... марш-ш!..

Только теперь Христьян очнулся от дум и тронулся вместе с колонной в сопровождении вооруженной охраны и овчарок на коротких поводках к широко распахнутым воротам за колючей оградой. В сумраке занимавшегося дня колонна, окутанная сизой изморозью, молча двинулась в лес.

Привели их сюда в январе 42-го. Так же лютовал мороз. Так же взвихривал под ногами снег. Так же враждебно взирал на них стеной стоявший могучий лес. И так же покорно брели под охраной трудармейцы, еще не ведавшие, что это такое — трудармия, их — целый эшелон мобилизованных через военкоматы — везли со станции Чапа Новосибирской области до Ивделя через Свердловск. Потом километров шестьдесят топали до поселка Вижай. В колонне было около шестисот человек. Сплошь поволжские немцы. Из Вижая, сутки спустя, погнали в глубь леса еще километров на пятнадцать.

Место оказалось жуткой глухоманью. Поблизости ни поселка, ни жилья. Отвели им участок. И сами трудармейцы сперва-наперво огородили себя колючей проволокой в несколько рядов, построили вышки, чтобы их могли бдительней охранять, поставили временные палатки. Работали без выходных с шести утра до шести вечера. Весной взялись сооружать типовые бараки на тридцать-пятьдесят человек каждый. Валили деревья с метками — спецлес для авиа- и судостроительных нужд. Выбирали могучие, ровные и гладкие, как на подбор, пятиметровые сосны. Называлось: выборочная рубка. Расценки были совершенно дурные. План по кубометрам никто не был в состоянии выполнить. Лес валили пилами, "лучки" — последнее слово техники — появились лишь через год. Снег лежал в лесу толщиной более метра, а пилить полагалось на высоте тридцати сантиметров от основания. Попробуй разгрести снег, отаптывать основание вековой сосны, а потом пили, опустившись на корточки, вытягивая все жилы, при скудных харчах, при постоянном холоде. Уже к весне появились первые "доходяги". Лес вывозили к реке и весной сплавляли до Ивделя. Лошади не выдерживали, быстро выходили из строя. И трудармейцы вывозили его волокушами — адская, изматывающая работа. Люди валились с ног, вечерами едва добредали до бараков. Дневальный раздавал хлеб и кипяток, и трудармейцы, наспех проглотив пайку, замертво, едва стянув верхнюю одежду, валились на нары. Некоторых смертный час настигал прямо в лесу или на обратном пути в барак.

Облегчение какое-то наступало лишь летом, когда поспевали ягоды, грибы (правда, от них многие отравлялись до кровавого поноса), а в августе спасением становились

кедровые орешки. Погибали, в основном, мужчины в возрасте тридцати-сорока пяти лет. Часть выживала за счет молодости. По словам бывалых урков-бригадиров, Ивдельлаг был одним из самых паршивых лагерей. К весне первого же трудармейского года выбывали из строя две трети лагерного контингента. Безнадежных "доходяг" списывали и отправляли домой, то есть, в ту же ссылку, но к родным и близким, куда редко кто добирался, а из тех, кто добирался, редко кто доживал. На место погибших поступали немцы с Украины, Крыма, Кавказа. Жернова войны изрядно перемалывали в глубоком тылу бессловесный, бесправный репрессированный люд. И никто не ведал, когда кончатся эти муки. Догадывались: когда кончится война. А она все затягивалась, несмотря на победные сводки совинформбюро, о которых раз в неделю на плацу сообщал им юркий лагерный культуртрегер.

— Христьян, Христьян, — окликнул его десятник Фрезе. — Куда тебя заносит? Опять задумался?

— А-а-а-а... Нет, нет... просто, — рассеянно откликнулся Христьян, только сейчас заметив, что выбился ненароком из строя.

— Ты это брось! От дум устаешь больше, чем от работы. Ни о чем не думай! Тогда оклемаешься. Понял?..

Фрезе был старше всего года на четыре, а рассуждал и вел себя так, как бывалый мужик, и душевно заботился обо всех в своей бригаде. Он вскоре понял, что никакой наряд выполнять практически невозможно, и ловко составлял "туфту": тонкий лес оформлял как толстый, с умом, осторожно приписывал кубатуру, правдами и неправдами добивался полной пайки, совсем уж обессилевших определял на день-другой на кухню, на хлеборезку, назначал дневальными. Однажды, углядев, что долговязый Лангеман из Марксштадта половину и без того скудной пайки обменивал на махорку, закатил ему при всех оплеуху. "Что делаешь, сукин сын?! Подыхать хочешь? — налетел на него бригадир. — Я тут жизнью рискую, фальшивые наряды закрываю, а ты куревом пробавляешься? Я хочу, чтобы ты, кретин, все сдюжил и домой вернулся, понимаешь?!" С того дня больше никто не осмеливался менять хлебную пайку на табак.

Фрезе вплотную подошел к Христьяну, зашагал рядом, незаметно сунул ему кусок хлеба.

— На, ешь... пайка Оскара-музыканта. Съешь на помин его души.

— Не могу, — отстранился в испуге Христьян.

— Тише... — Фрезе оглянулся на охранников. — Спрячь за пазухой... Потом съешь. — И запихнул ржавый кусок за ворот его фуфайки.

Впереди открылась поляна с черной проплешиной посередине со вчерашнего костра. Отсюда трудармейцы, разбившись на группки, углублялись в дремучий лес, и вскоре из него доносилось приглушенное жиканье пил и дробный стук топора.

В верху стояла тишь и морозная сутемень. Внизу, в снегу, копошились люди, обреченные на тихий подвиг, неусыпную боль и бесславную гибель. Вечером, сваливаясь в сон, как в яму, никто не знал, проснется ли он утром на скрипучих, постылых нарах. Утром, на рассвете, отправляясь на лесоповал, никто не ведал, суждено ли вернуться вечером в барак...

V

До костей пронизывающая, мертвящая стынь сковала землю. Гнетущий мрак окутал мир. За сырыми, сизым инеем покрывшимися стенами кружилась, завывала уж который день метель. Ледяной ветер неистово выдувал последнее тепло из тела земли, гонял по безлюдной степи волну за волной, вал за валом колючий снег, наметал по своему капризу причудливые сугробы там, где еще накануне зияли темные проплешины.

От изнурительной мглы, от беспросветного холода Христьян точно отупел. Буран мерещился ему косматым чудовищем. Этот страшный зверь проникал всюду, завывал в трубе, шарил по углам, теребил ржавый мох в пазах сруба, сыпал пригоршнями льдинки в ослепшее окно, выматывал душу. Казалось, лютый шабаш зимы длится вечность. Время остановилось. День, ночь, недели, месяцы — сплошной мрак, стынь, сырь. Все смешалось, зыбилось в серой круговерти.

На казенной кровати, придвинутой к печке, на слежавшемся соломенном матрасе, под ветхим одеялом и овчинным тулупом день-деньской томился Христьян в тягостном

забытьи. Выныривая временами из мучительной дремы, точно из затягивавшего водоворота, он не сразу соображал, где находится, испытывал в первое мгновение знобкий страх, ужас, будто затерялся один-одинешенек в глухом сибирском лесу в Ивдельлаге или остался в огромном, заброшенном бараке с длинными рядами голых нар и с потухшей, закопченной буржуйкой посередине. Но ужас, пронзив сердце, уступал место кроткой вспышке радости... нет, нет, Gott sei Dank, не на гиблом лесоповале затерялся он и не в бараке оставили его бедолаги-трудармейцы, обреченного на голодную и холодную смерть, где потом, вечером, после возвращения с каторжной работы, спохватившись, выволокут его, закоченевшего, угрюмые ангелы похоронной команды, оттартают к общей яме за сараем... Христьян мысленно улыбался себе, утешаясь тем, что обитает ныне в захолустном казахском ауле под присмотром родного старшего брата и что крохотный лучик жизни в его измытаренной душе еще не угас.

Он чувствовал, как холод даже под одеялом и тулупом грыз его ослабшую плоть, подбирался ледяными щупальцами к сердцу. Господи, согреюсь ли когда-нибудь? Наступит ли конец этим мукам? Разгонит ли солнце этот мертвящий сумрак? Доживет ли он до лета? Тяжко мне, зябко. Будто глыба льда смерзлась внутри меня...

Он снова забывался, потеряв счет времени. И опять безрадостные, опостылевшие видения всплывали в воспаленном, бредовом сознании.

Пурга... снег... мороз... скрип веток под стылым, низко нависавшим небом... визг пил... стон умирающей сосны, падающей нехотя в глубокие сугробы, оглушая окрестность предсмертным гулом... молчаливые тени у костра... промозглый барак... ощетинившаяся "колючка"... вышки... цимон... хриплая ругань у раскаленной буржуйки... ворочание на скрипучих нарах... лай овчарок... перекличка на плацу...

Как бы отряхнуть с себя этот кошмар... как бы вытравить из сознания, из души все эти неотступные, уродливые видения... забыть бы все враз и навсегда...

Все перемешалось — сон и явь, день и ночь. С усилием приподнимая голову, размежив слипшиеся веки, Христьян подолгу смотрел в оледеневшее окошко, стараясь разглядеть

хоть краешек неба. Но плотная мгла окутала все пространство. И также завывал ветер, сотрясал стены аульного медпункта, шевелил мшистыми прокладками по углам сруба, устрашающе гудел в печной трубе и кружилась в сатанинском исступлении нескончаемая метель.

Где он, млечный путь на стылом небе? Где заплуталась моя звезда? Может, она давно погасла, покинула меня, бросила, и я, неприкаянный, напрасно маюсь на неведомом и чуждом краю? Иногда, обессилев, Христьян погружался в безмолвие мрака. Чудилось, будто жизнь остановилась, застыла, и лишь слабый, зыбкий огонек, как пламя свечи, мельтешил то здесь, то там, точно светлячок в аспидно-черной ночи, трепетал, бился умирающей бабочкой вокруг, и Христьян, напрягая остатние силы, ловил его внутренним взором, в ледяном ужасе едва сознавая, что вот-вот потеряет его совсем из виду, и тогда оборвется тонкая нить жизни. Огонек трепетал-трепетал, исчезал, проваливался в пропасть, нырял в беспредельную небесную тьму, — потом вдруг снова появлялся неожиданно где-нибудь сбоку, на мгновенье вселял надежду и опять странным образом угасал, накрытый густым мраком. Это продолжалось долго-долго бесконечно, и, вконец измученный, Христьян чувствовал, что готов зажмуриться, потерять из виду этот обманчивый, жалкий лучик, напрасно трепыхающийся в беспредельной тьме и соблазняющий его истомленную душу, он устал, изнурился, измучился от этой вечной борьбы света и мрака, жизни и смерти, у него нет уже сил, нет даже желания желать. Бог с ним, с этим вселенским обманом, все равно всему приходит однажды конец, и конец этот один, так к чему сопротивляться неизбежному: ему, Христьяну, уже надоело, просто невмоготу продолжать эту изначально обреченную игру, не станет он уже цепляться взором за это едва различимое блеклое пятно, похожее на солнечного зайчика на стене, пусть исчезнет, угаснет, нырнет в черную бездну, чтобы и его бренному телу с облегчением обрушиться, сорваться, ухнуть в гибельную пропасть. И он в тот же миг, срываясь с шаткой крутизны, камнем ринулся навстречу стремительно приближающемуся дну черной ямы.

— Давид... Давид... — надсадно, в отчаянии вскрикнул он, еле шевеля непослушными губами.

— Эй, эй... што такой?! — тотчас отозвался незнакомый казахский голос. — Дауг нету. Каратал поехал...

Слабый лучик на мгновение вновь вынырнул из мрака, затрепетал, расплываясь, расширяясь, и Христьян медленно выплыл из омута, открыл глаза.

— Што кырчишь? — спросил участливый казахский голос. — Вставай, Гыриша. Тиоплый молоко куший.

В сумраке комнаты у плиты возилась женская фигурка в пуховом платке, в фуфайке, цветастом, длинном до пят, платье, из-под которого высовывались огромные, растоптанные мужские сапожища.

— Сишас, сишас... Гыриша, — ласково ворковала-приговаривала казашка и налила в миску молоко, насыпала из мешочка, похожего на кисет, горсть зажаренных на бараньем сале пшеничных зерен, помешала ложкой. — Куший, Гыриша, куший. Твой сапсем болной. Молоко надо... Иримчик надо...

Она положила рядом с миской несколько рыжеватых комочков сушеного творога, присела на табурет у печки, улыбаясь всеми мелкими желтыми зубами.

"Гыриша...", — усмехнулся про себя Христьян. Он вспомнил, что Давид представлял его аулчанам Гришей, убеждая, что так проще и понятней. К тому же, мол, казахам "Христьян" малоудобно для произношения, в лучшем случае все будут говорить "Кырыстиан", так, какая разница, быть тебе Гришей или Григорием. На доводы брата Христьян ничего не ответил. В самом деле, какая ему разница, как его станут называть в этом Богом забытом захолустье. И вот, пожалуйста, в устах незнакомой казашки и вовсе обернулся "Гыришой".

И там, в Сибири, на лесоповале, он заметил, что немцы-трудармейцы понемногу и незаметно переиначивали свои исконно германские имена на русский лад. Он не сразу догадался, для чего это вдруг понадобилось: то ли для того, чтобы отстраниться, отречься от всего немецкого, дабы не дразнить лишний раз патриотических гусей, то ли инстинктивно защищаясь от обидных прозвищ и насмешек (племянника Эммануила русские мальчишки в сибирском селе доводили до слез уничижительной "эммочкой-немочкой", пока он не стал заурядным "Васей") охраны и прочего лагерного

начальства. С такими именами, как "Фриц" или "Адольф", и высовываться никуда нельзя было. Дитрих становился Дмитрием, Фриц — Федором, Хайнц — Геной, Вернер — Вовой, Готлиб — Богданом, Райнгольд — Романом, Вильгельм — Василием. Некоторые умудрялись переиначивать даже фамилии: Шахт — Шахтов, Аммон — Амонов, Ауман — Ауманов, Франц — Францев. Христьяна коробило от этого, все его существо бунтовало против такого приспособления. Он не менял, не переиначивал ни имени, ни фамилии, наоборот, с каким-то нажимом, с явной нарочитостью подчеркивал, что он именно Христьян Эрлих, а не какой-то там Гришка Подтыкайло или еще кто-либо.

— Ай, ай... бишара Гыриша... — Маленькая казашка в пуховом платке стрельнула в него живыми угольками-глазками, звучно щелкнула язычком. — Плехо, да?... Иии... пешауа... летом масло мал-мала кушит будешь — карашо будет...

Христьян облизнул сухие, потрескавшиеся губы, покосился на миску с молоком, на рыжеватые комочки сушеного творога. Он стеснялся подняться при гостье, обнародовать свою немощь, вдруг закружится голова, не дойдет до стола, рухнет, и смуглянка с мелкими желтыми зубами, видно, догадалась по-женски об этом, смекнула, и тотчас вспорхнула с табуретки, поправила шаль.

— Куший, Гыриша... Мой пошол...

— А... кто ты? — спросил Христьян, удивляясь своему тусклому, хриплому голосу.

— Мой — Шаку, — приветливо отозвалась гостья. — Запперма...

— Как, как?

— Запперма, — повторила казашка.

"А-а... завфермой", — догадался Христьян.

Гостья, грохоча сапожищами, ушла, оставив после себя непривычный кисловатый запах, перемешанный с кизячным дымком, затхлым душком прелой кошмы и еще чем-то, а Христьян с усилием поднялся с кровати, дотащился до стола и долго глядел на миску, как бы соображая, что же делать дальше, потом, еле унимая дрожь в руке, отхлебал две-три ложки все еще теплого, с золотистой пленочной молока, почмокал губами, прислушиваясь к себе, выловил не-

сколько зерен прожаренной пшеницы, разжевал их аккуратно, шамкая по-стариковски, и опять задумался. Он помнил совет Давида: есть не торопясь. В самом деле, он же не в лагере, не в бараке, куда ему спешить, никто его пайку не отнимет, на баланду его не позарится, он может себе позволить такую роскошь — растягивать блаженство от приема пищи. Он понял также, что зараз ему все не одолеть, и, выхлебав половину, отодвинул миску, рядом положил два-три комочка сушеного творога для брата, а один шершавый комочек отправил себе в рот и стал медленно обсасывать, перекатывая языком внутри рта, точно вожделенный леденец в детстве.

В одинокие зимние дни, когда неугомонный брат Давид выезжал в соседние аулы, случалось, наведывала Христьяна также неожиданно расторопная Олькье, и ее появление точно рассеивало постылый сумрак в убогой комнатенке двух обрылей.

— Шен гутен таг! — приветствовала она его таким родным, ласковым выговором и при этом простодушно улыбалась, точно давнему знакомому. Приходила она обычно в старом, куцем пальтишке, облезлой кроличьей шапке-ушанке, в пушистом, домашней вязки, шарфе вокруг шеи, в валенках, но даже в таком скудном, нездешнем обличье угадывались ее стройный стан, гибкая девичья осанка и свойственная молодости свежесть. Христьян старался тоже улыбнуться ей в ответ, тихо откашливался, норовя придать своему простуженному, сиплому голосу мягкость и выразительность.

— Sei gegrüßt, mein Mädel!

Что-то родное, близкое, поволжское исходило от девушки, что-то едва уловимое — в манере говорить чуть врастяжку, в движениях, в повадке, даже — чудилось Христьяну — в запахе. Она быстро оглядывала убогое убранство и говорила немножко нараспев:

— Узнала, что Vetter Давид уехал в соседний аул, ну и пришла к вам прибрать немного. А у вас и делать нечего. — Она мило морщила нос. — Не то, что у нас... вечный ералаш, .. alles runda-kapunda.

Она ловко растапливала плиту, протирала стол, подоконник, мыла посуду, выносила помои, проверяла бачок в

углу — есть ли вода. И Христьян радостно следил за ее хлопотами, отмечая про себя ее сноровку и деловитость. "Добрая жена для кого-то подрастает... Только где жениха-то достать?" — мелькнула непрошенная мысль. Христьян стеснялся своей хвори, слабости, беспомощности; ему было неловко лежать при этой вся светящейся добротой и приветливостью кареглазой, круглолицей девушкой. Он и там, на Волге, еще до войны, когда учился в школе, а потом и сам преподавал в начальных классах, всегда робел перед смешливыми девчонками, не умел, как многие деревенские парни, вести себя развязно и раскованно в общении с ними. За годы скитаний и трудармии и вовсе отвык от женского внимания и общения. В лагере он и не упомнит, чтобы кто-либо говорил о девушках, там все думы вращались вокруг одного — как бы раздобыть дополнительную пайку. Помнится, однажды его напарник, крепыш Михель, с блеском в глазах сообщил, что он увидел жену лесничего. "Ну и что?" — спросили у него трудармейцы в бараке. "У ней в руках, — Михель судорожно повел кадыком, — понимаешь, была целая буханка хлеба! Я оторваться не мог..." Не молодайка лесничего, не ее женские прелести, а целая буханка хлеба едва не лишила рассудка беднягу Михеля.

Христьян понимал, что неприлично молчать, тягостно, но не представлял, о чем можно говорить с этим милым созданием.

— Что нового в деревне, Олькье? — спросил он через силу.

— Какая деревня? — откликнулась она. — У нас — аул.

— Аул разве не деревня? Не дорф?

— Найн... аул — совсем другое. И что может быть нового?... Зима лютует. Все, точно суслики, забились по норам. Некоторые даже от снега не откапываются. Только трубы торчат из-под сугробов. И из них еле вьется дымок. Значит, люди живы. Между некоторыми домами и тропинки не протоптаны. Все вокруг в снежном плену. Хорошо, что хоть пурга улеглась да мороз смягчился.

Вслушиваясь в ее доверительное щебетание, в интонации родного наречия, Христьян улыбался в пространство.

— Плохо зимой, — заключила Олькье. — Скучно, тоскливо. Пришла бы хоть весна скорей...

Весна... весна... Доживет ли он до нее? И что дальше? Что их всех — его, Давида, Олькье — ждет? Так и будут прозябать здесь от зимы до лета и от лета до зимы? Нет, не будет, видно, конца этим холодам, метелям. Не дожить ему до весны. Ich werde wohl in der Fremde sterben[1]...

— А дома как?

— Дома?.. Что же хорошего? Тесно, бедно... Иоганнес и Антон целыми днями в кузне пропадают. Что-то мастерят, чинят, лудят, паяют, ремонтируют. И все больше за палочки-трудодни. Редко когда от местных что-либо перепадет. Все ведь бедные. Эмма все по дому хлопочет, стирает белье интернатовцев. Злится на все и всех. Эрна и Эльза на ферме, коров и телят обихаживают, сено возят в ясные дни. Я — по мелочам, на подхвате. Гарри что-то рисует, книжки читает... И где их только добывает? С казашатами играет. Уже свободно болбочет с ними.

— А ты?

— Я... только отдельные слова знаю. Бар, кел, бер, нан, сут, айран, бидай, сиыр, кой, ат, шана, бала...

— О... не так уж и мало! — одобрил Христьян. — Вашего Гарри и Давид всегда нахваливает. Способный малец, говорит. Все на лету хватает. Учиться бы ему.

— Нынешней осенью пойдет в школу. Уже решили. Сразу во второй класс.

— В казахскую школу?!

— А что? Vetter Давид говорит: какая разница? Казахская, русская... предметы-то одни. Хуже не будет. Русская школа только в Марьинке. Вот кончится война, вернемся домой, пойдет в немецкую школу. Верно?

Христьян не ответил.

Олькье вымыла пол, подтопила печку, поставила на плиту чугунок с картошкой, прибрала в медпункте и вскоре ушла.

И опять стало сумрачно и тоскливо, тихо и выморочно в комнатке при аульном фельдшерско-акушерском пункте. И нельзя было понять, то ли уж вечерело, то ли все еще длился безрадостный зимний день. Христьян вновь погрузился в свои тягостные думы.

Да-а... все живут одной надеждой: вот кончится война... Война, конечно, кончится, как и все на свете, ибо все имеет

[1] Умру я, наверное, на чужбине.

начало и конец. И победа будет за нами. Как сказал усатый вождь еще в самом начале войны, так и будет. Он знает. На то и вождь. Но наступят ли благие времена после войны? В этом он, Христьян, не очень-то уверен. Вот Давид, напротив, полагает, что все быстро образуется, восстановится, и справедливость несомненно восторжествует. Хотелось бы... Хотелось бы, чтобы скорее кончилась эта затянувшаяся бойня, воцарился мир, люди вернулись бы по домам и занялись бы извечным спасительным трудом. Но Христьян в это не верит. Он ничему уже не верит. Хотел бы, да не может. За последние годы, во время депортации, мытарств на чужбине и непомерных мук в трудармии за колючей проволокой он воочию увидел, познал столько людского горя, отчаяния, гнева и ненависти, что ему трудно поверить в то, что с окончанием войны все быстро уляжется. Что станет с людьми после войны? Голодные, злые, обиженные, униженные, искореженные всеобщей ненавистью, злом и насилием, где и как найдут они силы для новой мирной жизни? И что это будет за жизнь? Очевидно, это будет другая жизнь, но лучше ли — кому это дано провидеть? Мыслимо ли восстановить, обустроить все, что разрушено, загублено до основания, до тла? Мыслимо ли, скажем, обустроить Поволжье, из которого насильно выселили ее верных и послушных тружеников и наспех заселили случайными, тоже переселенными, перемещенными людьми, не испытывающими к этой земле ни любви, ни сострадания, ни привязанности? Кто вернет жилье, постройки, хозяйство, весь этот налаженный, размеренный, упорядоченный исконним немецким тщанием быт, возведенный предками-колонистами со времен Екатерины Великой? Нет, нет... непросто это, а, скорее, и вовсе невозможно.

Он вспомнил рассказ одного трудармейца о том, как по пути из действующей армии ему удалось заскочить на денек в родное село на Волге. И то, что он, командир Красной Армии, там увидел, его ужаснуло. Заселили деревню беженцами из Украины, Белоруссии, юга России. Они быстро разграбили все запасы в погребах, разорили сараи, жилища, убежденные, что скоро война кончится и они вернутся домой, и потому надо было успеть уничтожить все, что построили, накопили, заготовили впрок проклятые колонисты,

потомки и единокровники фашистов, принесших всем народам столько горя и зла. В ухоженном, уютном деревянном доме недавнего командира Красной Армии, уволенного из рядов по приказу Верховного Главнокомандующего и разжалованного в трудармейцы, поселились две семьи из западных областей, оказавшихся под оккупацией гитлеровцев. Обосновались все в просторной гостиной. Детскую и кухню раскурочили неузнаваемо. Выломили рамы, косяки, пол на топку. Стены были обшарпаны, измазаны дерьмом; погреб и вовсе превращен в туалет. Деревья в саду были спилены, сараи разворочены. Вокруг царило сплошное запустение. Все было не только разорено, а разрушено, разворошено, растерзано с какой-то яростью, неистовством, будто Мамай прошел. И посреди этой разрухи жил эвакуированный, обозленный люд, потерявший в первые дни войны близких и родных, оставивший в неведомом краю тоже ухоженные жилища на поругание врагу... И, представив живо родные села, дома на Волге, еще совсем недавно уютные, облагороженные трудом и любовью не одного поколения, ныне злобно растоптанные, разграбленные, сожженные, как ненавистный вражеский стан, Христьян задавался вопросом: "Почему столько зла и ненависти? Откуда все пошло? За что так унизили народ? Разве они, российские немцы, поволжские трудяги, die Wolganegger, виноваты в том, что в Германии к власти пришли нацисты во главе с их бесноватым фюрером с дурацкой фамилией Шикльгрубер, с перекошенной, ублюдочной физиономией, который и на немца-то не похож, непонятно, какого рода-племени, черный, как сапог, Mißgeburt. Дикость, невежество, разгул, подлость, ненависть, зло — вот что охватило повально всех: и власть, и простой люд, и насильников, и их жертв. Разве мыслимо эту разнузданность укротить?! Война, конечно, кончится, захлебнется в крови и страданиях людских, и убийцы устанут убивать, истреблять себе подобных, и земля откажется принимать в свое ненасытное чрево невинно убиенных, но после этого тотального вандализма и вакханалии насилия и ненависти жизнь еще нескоро войдет в нормальную колею, не одно поколение будет расхлебывать последствия всесокрушительной бойни.

Все низменное, черное, подлое, изначально заложенное в человеке, размыв разум, захлестнуло мир. И то, что дове-

лось увидеть за последние годы сельскому учителю Христьяну, — во время депортации, за месяцы скитальческой жизни в глухих сибирских деревнях, в трудармии, оказавшейся в сущности тем же концлагерем, — не дает повода для оптимизма, не дает основания для самоутешения, будто после окончания войны жизнь скоро наладится и вновь все образуется.

Разумеется, можно восстановить дома, понастроить новые села и города, наладить по-разумному быт, но человека, отравленного ненавистью и злобой, вкусившего столько горя, бед и страданий, ожесточившемуся сердцем, нескоро перекроишь, нескоро облагородишь, наверняка не одно поколение уйдет, пока накормишь его досыта, оденешь, обуешь, отогреешь и — главное — умиротворишь его душу, очеловечишь его по сути божьего творения. Вот что самое сложное. Поколеблены вера, надежда. Красивыми словами, призывами, лозунгами их не вернешь.

Так думалось Христьяну в изнуряющем одиночестве тягостными днями и ночами в стылой комнатке при аульном медпункте в бесконечную буранную зиму.

Он горько усмехнулся своим мыслям. Тебе ли, доходяге, полусмертному дистрофику, обреченному на явную гибель на чужбине, рассуждать о том, что будет после войны, что ждет человечество в будущем. Да ты не доживешь до того вожделенного часа, сгинешь, так и не отогревшись телом на этой промерзшей насквозь горемычной земле. Да и откуда тебе знать, что грядет после тебя? Да и не все ли тебе равно... уж твоя-то песенка спета...

Сумрак густел. Обессилел, должно быть, и ветер снаружи. Стонал старый сруб, вздыхал, будто хворый старец. Угасал и огонь в печке. Христьян прислушался: может, заедет кто... может, Давид вернулся... может, скрипнет калитка в медпункт...

Нет. Выморочная тишина. Беспросветная зимняя мгла. Холод. Одиночество.

Христьян подоткнул под себя одеяло, натянул на голову край кислым пахнущего тулупа и забился в зыбкой дреме. Равнодушная мысль вспыхнула напоследок: "Ja, ja... ist nichts zu machen... Ich sterbe in der Fremde..." Да, да... ничего, брат, не поделаешь... Суждено мне умереть на чужбине...

И так безразлично, буднично ему об этом подумалось, что он даже про себя удивился.

VI

Действительность смазывалась, размывалась в сознании, будто Христьян видел ее сквозь толщу воды или через запотевшее окно. Порой он чувствовал себя так, словно обитает на другой планете. Как ни напрягался, никак не мог представить себе четко, на какой точке земного шара в настоящее время находится. С детства он привык все измерять в малых масштабах своего родного села и близлежащих поселков. Он знал, что чуть южнее от родного Мангайма лежит Зихельберг; далее Федоровка, совхоз "Спартак", станция Плес, к северу, рукой подать, — католический Мариенбург, центр кантона — Гнаденфлюр, северо-западнее — Марксштадт, на западе — Энгельс, через Волгу, рядом, — Саратов. Это был родной край, Хайматланд. Все знакомо, привычно. В мыслях он уверенно ориентировался и в тех местах Республики немцев Поволжья, где отродясь и не бывал. В воображении он представлял примерное удаление от родных мест славных городов — Москва, Ленинград, Казань. А вот Новосибирскую область, куда их первоначально выселили, а потом Урал, где он оказался в трудармии, а потом север Казахстана, где он по милости причудливой судьбы очутился теперь, в его сознании никак не укладывались в строгом и четком порядке. Все было слишком неожиданно, крупно, масштабно. Воображение было бессильно охватить столь огромные расстояния. Да и добирался он сюда, в Казахстан, можно сказать, в полузабытьи, почти все время в голодном обмороке. Мелькали полустанки и станции, одуряюще монотонно стучали колеса, в невообразимой сутолоке общего вагона лица случайных попутчиков сливались в однообразную серую массу, он потерял счет дням и ночам. Единственной радостной вспышкой в череде серых голодных, неприкаянных будней оказалось то мгновение, когда встретился, наконец, с братом, который поначалу оторопел, не узнав его.

В редкие минуты, когда он с помощью брата, держась за дрын выбирался из пристройки аульного медпункта по нужде, он со страхом озирался вокруг, мучительно соображая, на каком краю земли он вдруг очутился. Местность, куда его загнала судьба, казалась пустынной, будто он проснулся не-

взначай где-нибудь в Гренландии. Дрожа на ветру, Христьян с удивлением взирал на низкие, скособоченные, разбросанные, как попало, без порядка, там-сям халупы, какие-то конусообразные, сплетенные из ивняка постройки, пустыри, по которым вольный степной ветер наметал затейливые сугробы, на чахлые березовые колки в верховье, на едва темневший вдали тугай вдоль закованной льдом степной речки Ишим, называемой казахами — по словам Давида — Есилем. И кругом, куда только доставал взор, — унылая ширь, неохватный простор. На память поневоле приходили строки из знаменитой антифашистской песни "Die Moorsoldaten" — "Болотные солдаты":

Wohin auch das Auge blicket
Moor und Heide nur ringsum...

Дым над неприглядными, утопавшими в сугробах домишками стелился жидко и низко.

У колодца с шатким срубом через дорогу бабы, по самые глаза закутанные в шали, прямо из ведра, которым доставали воду, поили скот.

Небо было серым и нависало низко.

Ветер вольно гулял, утюжил сугробы, взвихривал искрящийся снег.

Пустынно, дико, запущенно, безлюдно, мертво.

Чужой край, чужой народ, чужие нравы, чужой язык, чужие запахи.

Все не так, как на Волге.

Все перемешалось.

Хотелось бы на физической карте посмотреть, где, в какой отдаленности находится он от родины.

Поволжье, уютное и ухоженное, облюбованное предками и облагороженное многими поколениями колонистов, можно было охватить мысленным взором и почувствовать, как на ладони. А Казахстан, как и Сибирь, был слишком огромен, необъятен и не вмещался в представление. Казалось, его даже солнце с поднебесья не в силах было охватить от края до края. Особенно в глухую зимнюю пору.

На Волге даже в зиму бывало многолюдно, шумно. Зимой сельчане жили без аврала, без напряга, наслаждались

отдыхом, предавались лени и обжорству, незатейливым забавам, ходили друг к другу в гости, пели, балагурили часами, перемалывали скудные новости, отводили душу, вволю лакомясь заготовленной впрок разнообразной крестьянской снедью. Запрягав застоявшихся лошадей, случалось, на добротных огромных фурах спешили по воскресным дням на базары и ярмарки, привозили диковинные городские товары, о чем потом судачила вся деревня. В колхозных клубах гремели духовые оркестры. Молодежь, озоруя, устраивала шутливые побоища на замерзших речках и прудах, сооружала ледяные горки, с которых катались, визжа и колгоча, и дети, и девки, и шалевшие от буйства сил и чувств увальни-бурши.

С 37-го года на Волге выпало несколько урожайных годов подряд. Жуткий голодомор тридцать второго люди быстро забыли, как страшный сон. Жизнь неожиданно налаживалась. Люди встрепенулись, приободрились. Иногда заезжие агитаторы из кантонов или самого Энгельса стращали сельчан наглеющим в Германии фашизмом во главе с бесноватым Адольфом, но в немецких деревнях Поволжья этому особого значения не придавали, тем более после того, как фюрер-фашист и усатый вождь-коммунист заключили какой-то пакт о ненападении. В немецких поселениях верили в наступивший мир и благоденствие.

Как круто все изменилось! Как все разом пошло кувырком!..

Находясь как бы между сном и явью, Христьян прислушивался к своему бренному телу, чувствовал, как едва билось сердце, как деревенеет затылок, как противная слабость, растекаясь, ноет в груди и слезы навертываются на глаза. Порой ему чудилось, что стоит ему только на мгновенье задержать дыхание, и душа вылетит вон из измученного недугом и стынью тела. Когда же сознание прояснялось, он предавался воспоминаниям о далеком и невозвратном, утешал себя картинами той жизни, которая ушла, отодвинулась от него так далеко, что, казалось, это происходило не с ним...

— Приходил кто-нибудь?

Христьян не сразу очнулся. Он даже не заметил, не расслышал, когда и как открылась забухшая дверь и вошел брат Давид. Голос дошел издалека и казался оледеневшим,

как и вода в ведре у входа. Уже по голосу Христьян догадался, что брат очень устал и озабочен. Не жалеет себя Давид, мечется день-деньской по аулам, когда пешком, когда на попутной подводе, часто вызывают его и по ночам и не только по медицинской надобности. Завалит снегом мазанку Зайры на краю аула, откапывать его спешит безотказный Даут. Угорели интернатовцы от угара, чистить дымоход, кроме Даута, в ауле больше некому. А если и есть, то у Давида-Даута все получается сноровистей и лучше. Обледенел колодец по самый сруб — не подойти, не подступиться, того и гляди, соскользнешь ненароком в дымящуюся колодезную глубь, опять все тот же Даут пешней долбит лед, раскидывает ледяные глыбы далеко вокруг, чтобы люди и скот не переломали себе ноги. Полыхнет у кого пожар, бегут опять-таки к нему. "Першыл, першыл!.. Ойбай, скорей... горит, горит!" И длинноногий аульный фельдшер, сбрасывая белый халат, мчится тушить пожар, лезет в самое пекло, мобилизовывает растерявшийся люд. Уронит нерасторопная неумеха-хатун ведро в колодец, опять просит его достать железной "кошкой". По любому поводу в ауле обращаются за помощью к фельдшеру-спецпереселенцу. Только и слышно: "Дауке", "Даут-ага", "Першыл", "Ерлик". Христьян как-то в шутку назвал брата "кюстер Дайс". Был такой очень популярный среди немцев Повожья сказ о церковном дьячке Дайсе, который в колонии на заре переселения по Манифесту кайзерин матушки Екатерины оказался мастером на все руки — и служкой, и кантором, и учителем, и органистом, и письмоводителем, и звонарем, и архивистом, и фельдшером, и хористом, и Бог весть кем еще. "Как, интересно, этот аул обходился раньше без тебя?" — усмехался Христьян. "Я и сам порой удивляюсь", — отвечал польщенный Давид.

— Так, приходил кто-нибудь? — повторил брат.

— Приходили... Зашел Есильбай. Долго гудел в бороду. Толковал про то, как надобно мне лечиться.

— Ну и как?

— Только народными средствами, говорит. Испытанными, казахскими. Медицина в моем случае, говорит, бессильна.

— Что же он предлагает?

— Сейчас вспомню... — Христьян унял перебои в сердце, потер, помял пальцами онемевший затылок. — Да-а...

греться кизяком. Только, говорит, сухой кизячий жар может выгнать из костей накопившуюся стынь. И еще: пить растопленный курдючный жир... горячий. Или: раздобыть ежа, снять с него шкуру, растопить его жир и пить.

— Мудер старик! А где достать зимой сухой кизяк, курдюк и живого ежа, не сказал?

— Не сказал... Но есть еще одно средство. Сильно натопить дом, густо намазать все тело гусиным жиром со спиртом, растереть варежкой из собачьей шерсти, зарезать упитанную ярку и обернуться ее теплой шкурой. При этом пить крепкий, крутой чай до обильной испарины. Хворь как рукой снимет. Проверено, говорит.

— Надо же! Мудер!.. Все знает. А что шестерых детей своих он таким образом залечил до смерти, не говорил?

— Не говорил...

— Значит, в следующий раз расскажет...

Давид улыбнулся через силу, откинул заслонку, заглянул в печь, поворошил поостывшие угли.

— Нуркан-почтовоз заглянул. Посидел, погрелся. Сосульки из бороды выщипал. Повздыхал, покряхтел. Сказал: "Аул аман. Мал-жан аман. Только одна марджа поясницей мается да один баранчук мал-мала простыл, кашляет". Так, говорит, и передай. На днях еще заедет. Что-то еще молол, но я плохо его понимаю.

— Он из района ехал, или в район?

— Из района... Еще Шаку молочка принесла.

— Вижу, вижу... Сейчас пшенную кашу и сварганим.

Давид захлопотал у плиты. Провеял у печки несколько горстей проса, разбавил в горшке молоко с водой, поставил на плиту. Потом вынес помойное ведро, долго и тщательно мыл с мылом и щеткой руки под рукомойником, временами как бы забывался и зевал.

— Сильно устал? — заботливо спросил Христьян.

— Не говори. Еле стою на ногах.

— Так брось все и выспись.

— Покормлю тебя и прилягу.

— Тяжелая была ночь?

— Кошмар! Представляешь, в одной комнатенке семь человек ютятся. Семеро! У Болпыша, старичка-сморчка, оказалось две жены. Кто бы подумал? Трое детей от первой да

еще не то внук, не то племянник. Представляешь?! Потолок низкий, в дождевых разводьях. Стены небеленые, в копоти, в паутине. Одеяла, подушки, кошмы, одежда — все свалено в кучу на старом сундуке. Посередине низкий, складной столик, за которым едят, пьют чай. Спят, понятно, на полу вповалку. К тому же лишь половина комнатки застелена деревянным полом. В нижней части пол земляной. И там, возле двери, стоит на хилых ножках тощий теленок, а рядом два облезлых козленка. Нет, ты только вообрази: семь человек, два козленка и теленок в одной каморке! Антисанитария — жуть!

— А скот-то в комнате почему?

— Холодно. В сарае молодняк тотчас околеет. Там корова и лошадь — я видел — в сплошном куржаке. Такая жалость!

— Действительно, дикость.

— Не дикость, а нищета, нужда беспросветная. Ну, что может старичок-сморчок? И сена накосил мало. И скотник не подладил. И дров заготовил негусто, хоть и в лесу живет. И...

— Зачем ему две бабы?

— Спроси у него! Говорит, братишка родной умер, и ему положено взять вдову. Таков, говорит, обычай. Вот взял и обрюхатил.

— Ка-ак?!

— Известно, как... Баба молодая, почему бы не обрюхатить?

— Цум тойфель! Ты же говоришь, старичок-сморчок...

— Да, старичок-сморчок. Сивобородый, лицо сморщенное, кривоногий, бестолковый, а туда же, смог ублажить бабенку, значит. Или помог кто-то...

— И теперь эта бедняга беременная сидит? При старшей жене?

— Уже не беременная, — отозвался через время Давид. Видно, не уследил Давид за молоком, убежало за край горшка, зашипело на раскаленной плите. Брат лихорадочно плеснул в горшок воды из кружки, торопливо помешал половником. Запахло гарью. Христьян виновато помолчал. — Разродилась, слава Богу. Намаялся я с ней.

— Даже так?! — и вовсе изумился Христьян. — Прямо тут же, дома?

— В том-то и весь ужас, — потрясенно начал рассказывать Давид, размешивая жидкое месиво в горшке. — Я уже собирался уходить, усталый, раздраженный, подавленный. Ну, что тут можно сделать? Какая медицина? Пацаны в чесотке. У одного парша. У старика на затылке здоровенный фурункул. Кто когда в последний раз мылся — и Аллах не знает. Может, летом в реке. Грязь, вонь. Все, конечно, зашивлены. С ума сойти можно. Ну, сделал, что положено, мази дал, бесплатно, понятно, денег-то все равно нет, собрал аптечку и вдруг слышу в углу: "Ой, аллай!.." Сдавленный стон, кто-то ворочается под кучей тряпья. Что такое? Старичок-сморчок озабоченно чешет свой фурункул: "Э-э... молодой баба баранчук таскайт будет". Вот те раз! Куда теперь? Уже схватки начались! Ну и что прикажете делать? — Давид разволновался, представив, видно, заново свое положение. Бледное лицо пошло пятнами. Голос дрогнул. — Впереди ночь, холод собачий, низовая метель, подводы нет, до Марьинки тринадцать километров бездорожья, а у роженицы схватки. Хоть помирай...

Волнение Давида передалось и Христьяну. Он привстал, весь обратился в слух.

— И что дальше?

— Разделся, руки спиртом протер. Всех отогнал в один угол. Старшей жене велел воды в самоваре нагреть. Протянул по потолку бинт, отгородил уголок ветошью. Повесил фонарь. Молодая грызет платок, кусает губы, мечется, кричит: "Аллай... ойбай... жаным..." Кричит временами так, что теленок у двери вздрагивает и с испугу то и дело струйку пускает. Старичок-сморчок в заскорузлых кожаных штанах сидит, скрестив ноги, на кошме, бородку щиплет, фурункул свой поглаживает, вздыхает, что-то бормочет, свесив голову в засаленной тюбетейке, которую, кажется, и во сне не снимает. Ребятня облепила его, глазами зыркает. Я колдую над молодухой. Она сжалась в комок, напряглась вся. Пощупал, погладил живот. Ребенок вроде правильно лежит. Воды еще не отошли. В сумраке толком не разглядел, но молодуха как бы крепенькая, ладная, таз широкий. Авось, выдюжит, сладит.

— Представляю, как вы оба намучились...

— Да-а-а... досталось обоим. Не буду рассказывать все подробности. Разродилась на рассвете. Представь: все дрых-

пут. Лишь старшая жена подсобляла. Обрадовалась, узнав, что мальчик родился. Укутала в тряпье, уложила в старый мерлушковый малахай... зимний головной убор такой, большущая шапка... чтоб теплее, значит, было. Потом растолкала старика-сморчка, кричит ему: "Эй, шал, суюнши, суюнши!"

— Что это значит?

— Ну, вроде как "вставай, старик, радостная весть". Проснулся сморчок, глаза трет, чешется, смотрит туда-сюда. Наконец, дошло. Заладил: "Ай, першыл, першыл..." Сидел, сидел, принялся вдруг нож точить. Что такое? Зачем? Оказалось, собрался барашка резать. Гостей приглашать. Совсем, что ли, сдурел, говорю. Какие еще гости? И так повернуться негде. Пусть хоть роженица и ребенок малость очухаются, в себя придут. А он знай одно долдонит: "Э-э, першыл, алла даст — живой будет... алла не даст — заберет". Поговори с ним... Всю ночь я глаз не сомкнул. А молодуха, разродившись, часа три кряду проспала. Улыбается. Все как бы в норме. Лишь бы не простудилась, да от заразы уберегласъ. В таких-то условиях... До обеда обошел еще несколько дворов, потом опять завернул к старику-сморчку. Полная идиллия! Вся семья за круглым столиком, еще несколько старух в тюрбанах, чай пьют, лепешки грызут. Старшая жена из ягнячьего желудка топленое масло в блюдечко выдавила. Старичок-сморчок, довольный, пот с лица вытирает. И про свой фурункул забыл. Молодуха дремлет, порозовела. Новорожденный в шапке-ушанке лежит. Сморщенный, скуластенький. Старшая глаз с него не спускает, млеет. Старик говорит: "Эй, першыл, шалабек кароший... бери козленка". Одарить, понимай, меня хочет. Успокоил: пусть, мол, подрастет.

— Щедрый, выходит, старичок, — заметил Христьян.

— А казахи все такие. Удивительно: гол, нищ, а на радостях последнее отдаст.

— Вот не думал. У нас, в деревнях, помнишь, непослушных детей киргизами стращали. Говорили, киргиз на лохматой лошаденке прискачет, запихнет в большой мешок и айда в степь, поминай, как звали.

— От незнания все. Добрый, простодушный народ. Душа нараспашку. Я в том убедился. Иногда, правда, любит хитрить. Но это детская хитрость. И шутить мастак.

— Да-а... А как добрался?

— Бригадир каратальский подвез. В кошевке, на сене, под тулупом и покимарил малость. Да что толку? Перед глазами, как в тумане, зыбится истерзанная, распластанная роженица. Сколько родов принимал, а привыкнуть не могу. Не мужское, видно, дело. Бабы рожают, а я потом обливаюсь и все во мне болит. После такого и бабу обрюхатить не захочешь... Ну, кажется, подоспела пшенка.

Давид почерпнул из чугунка ложкой, подул, принюхался, лизнул горячее варево, почмокал губами.

— Подгорела-таки немного каша. Но сойдет, слопаем! Подниматься будешь или в постель подать?

Христьян свесил с кровати ноги, нащупал отопки, посидел, прислушиваясь к зачастившему сердцу, к слабости, ударившей в голову. Беседа с братом его утомила. Гадкая тошнота подкатывала к горлу, но он не хотел огорчать брата, подсел бочком-бочком к столу, и, давясь, начал пихать в себя через силу прогорклую кашу. Пшенка была старая, залежалая, попахивала плесенью и мышами. Давид тоже ел рассеянно, борясь со сном.

— В аулах все так живут, как твой старичок-сморчок?

— Примерно. Встречаются дома поприличней, с двумя, даже с тремя комнатами. Но в большинстве теснятся в одной комнатушке. И кухня, и столовая, и спальня, и гостиная — все едино. Летом еще куда ни шло. С весны до глубокой осени обитают в шошалах. Видел плетеные из ивняка постройки в глубине двора, круглые такие, с куполом, как у юрты? Это и есть шошала. В ней просторно, чище, воздуха больше. Наподобие наших бакхаусов. Зимой же сущее бедствие. Тесно, грязно, убого. Отсюда и все болезни — чесотка, парша, туберкулез, тиф, простуда. Очень неустроенный быт. Какая тут гигиена?

— Отчего так?

— От бедности и дурных привычек. Туалетов не строят. Зачем? Простора много, лесок, овражек, лощина рядом. Огородов не сажают. Ягод, трав не собирают. К зиме толком не готовятся. Не знаю, кого винить. Мужчины на фронте. С детей, подростков, баб, стариков какой спрос?

— И в сибирских деревнях, знаешь, не лучше. Я видел: живут вместе с курами, поросятами. Бани топят по-черному.

Здоровенные парняги, девки часами лясы точат на завалинке, дурные разговоры ведут да семечки лузгают. А то дуют самогонку и частушки срамные поют. Так странно нам это показалось. Нас встретили с неприязнью. В глаза говорили: фашисты, гансы, фрицы, немчура. Утверждали: пускай как стеклышко ты чист, но раз ты немец, то фашист. Спрашивали: где же ваши рога? Почему-то считали, что у немцев на головах рога растут.

— Здесь, среди казахов, я такого не слышал. Правда, некоторые допытывались: кого я больше люблю — Сталина или Гитлера.

— О, там, в Сибири, куда нас привезли, поначалу лютовали. Как на врагов смотрели. Не хотели даже понимать, что мы советские немцы. Говорили: немец советским не бывает. Гитлеровское отродье, мол. Потом, когда начали вместе в колхозе работать, немного поутихли. Убедились, как "фашисты" на молотилках, тракторе, лобогрейках работают, как любое дело в их руках спорится. Зауважали. Но все равно, чуть что — у, фашисты проклятые, недобитки!..

— Да, русские в таких случаях никогда особенно не церемонятся. Сколько у них уничижительных прозвищ для инородцев, сколько дразнилок! "Немец, перец, колбаса, кислая капуста...", "Гутен морген, гутен таг, бьем по морде просто так"... Киргизы — калбиты, косоглазые бабаи. Кавказцы — нацмены, князья, евреи — жидовская морда, христопродавцы, азиаты — твоя-моя, чурки, балашки, французы — лягушатники, шерамыжники, итальянцы — макаронники, татары — шурум-бурум, что-то еще, не помню...

— В Сибири, слышал, пели: "Ох, ох, не дай бог, с татарином знаться, некрещенная душа лезет целоваться".

— Смешно и глупо!... Есть такой грех у русских. Я это и в армии замечал. Над всеми смеются. Иногда незлобиво, озорства ради, по привычке. Просто чтобы задирать, позубоскалить. Вот в Козловке, есть такой хуторок рядом с Караталом, сифилитик Федор наяривает спьяна на гармошке и орет: "Раньше казах был киргиз, ел махан и пил кумыс, а теперь он стал казак, "ойпырмай, пропал курсак".

— Как понять?

— Дразнилка. Махан — конина, курсак — живот. Раньше, мол, когда был киргизом, ел конину, а теперь, став

казахом, дескать, голодует, живот пустой... Дурость! Казахи в этом смысле покладистей, душевней, деликатней. У них обижать друзей — грех.

Братья управились с кашей, запили ее свекольным чаем. Христьян даже взмок, взбодрился. Он долго смотрел на брата и, наконец, решился задать тот вопрос, который давно вертелся на языке.

— Слушай, Давид... скажи, пожалуйста. Чего ты себя так изводишь? Ну, жили казахи ведь и без тебя, и дальше наверняка так будут жить. Как бы ты ни старался, вряд ли жизнь изменишь. Не лучше ли пощадить себя?

Давид ответил не сразу. Остатком кипятка в чайнике сполоснул миски, стаканы, протер тряпицей стол. Вздохнул.

— А ты себя щадил, Христьян?

— Ну, я... это... подневольный был. Трудармеец. У меня выхода не было. Или норму давай, или подыхай.

— То-то же! А у меня что, есть выход, по-твоему?

— Ну, на воле все-таки. Никто над душой не стоит...

Давид хмыкнул.

— Несерьезно говоришь, браток! Во-первых, это мой долг. Медработника. Этому меня учили в военно-фельдшерской школе, а потом в армии. Долг человека, понимаешь? А во-вторых... во-вторых, мне доверили этот участок, и работать спустя рукава — совесть не позволяет. Такие, как я, сейчас либо на фронте, либо, сам знаешь, в трудармии. А меня семь раз призывали через военкомат и семь раз отстояли, считай, спасли меня казахи. Нет фельдшера во всей округе. И учти, партбилета меня тоже не лишили, хотя я и спецпереселенец. Это чему-то обязывает, как по-твоему?..

Христьян молчал.

— И вот еще что... — резко продолжал Давид. Под бледной кожей осунувшегося длинного лица заходили желваки. — Это, получается, уже в-третьих. Народ наш, и меня с тобой, унизили, оскорбили, поступили с нами несправедливо, подло, какое бы ни было военное время. В том, что мерзавец Гитлер оказался немцем, нашей вины нет. И никакие мы не шпионы и не диверсанты. Но что нам остается? Доказывать изо дня в день, что мы совсем не те, за которых кому-то охота или выгодно нас выставлять. Понял? — Давид так разволновался, что лицо покрылось пятнами, длин-

ный нос заострился, кулаки сжались. Христьян уже пожалел, что полез с этим разговором. Мог бы выбрать и другое время.

— А как доказывать? Как? Только одержимым трудом, верой, надеждой, терпением. И никто не знает, сколько лет нам еще придется это доказывать. Может, ценой жизни, как на фронте. И этим чувством, этим сознанием должен проникнуться каждый наш несчастный соплеменник, изгнанный из родных мест. Каж-дый! Только тогда мы, может, выстоим, уцелеем. И потому я... я должен, должен, должен...

Давид не договорил, от возбуждения голос его дрогнул, сорвался. Он вдруг резко отвернулся от Христьяна, будто обиделся отчего-то, плюхнулся на свой топчан, не раздеваясь, натянул на голову свою старую армейскую шинель.

Христьян растерялся. Сердце его быстро-быстро забилось, заколотилось, в голове помутнело, из глаз поневоле брызнули слезы. Ему почудилось, что у брата под шинелью судорожно вздрагивали плечи.

Христьян дотащился до постели, залез под одеяло и шубу, покосился на окно. Ветер, кажется, выдохся. Ни звука, ни шороха. На краю стылого неба неприкаянно зависла одинокая озябшая луна. Возле нее зыбился блеклый круг.

Чужое небо. Чужая луна. Чужая земля...

VII

По скудным сводкам Совинформбюро и по газетам, все реже доходившим до приунывших далеких аулов, явно чувствовалось, что затянувшейся войне с Гитлером все же скоро придет конец. В убежденных словах сурового вождя — "Наше дело правое, победа будет за нами", — сказанных в самом начале войны, никто не сомневался, но никто и не предполагал, что схватка окажется столь длительной и опустошительной. Аулы обнищали вконец. Люди ходили пришибленными. Разруха, нехватки, тяготы, одна другой страшней, преследовали и стар и млад по пятам. Казалось, дух народа подорван. Даже повседневные заботы, заурядное житье-бытье потеряли свой изначальный смысл. К скорбному, душераздирающему женскому вою и безутешному плачу детей в

связи с приходом очередной "черной бумаги" — похоронки в аулах привыкли. Редко в какой семье за эти годы не оплакивали кормильца, опору дома, азамата. Война шла далеко на западе, на землях и в странах, которых в глуши никто и слыхом не слыхал и представления о них не имел, а горе ее оплакивали в разбросанных по верховьям и низовьям аулах Прикишимья. Мерещилось, само желание жить было уже на исходе. Семижильные женщины и те, надломленные, порою проклинали свою лихую судьбину. Жили впроголодь. Одевались в ветхую рвань. Слонялись по аулам, по полям, по убогим лачугам, мазанкам, точно призраки или тени. У Давида при виде этой крайней степени бишаринства, случалось, опускались руки. Цеплялись за соломинку надежды: "Вот кончится война..." С этими словами укладывались спать, с этими словами вставали. С этими словами из последних сил тянули жилы. С этими словами утешали себя и детей. Эти слова звучали в молитвах и православных, и правоверных. На эти слова уповали и вольные, благонадежные, и те, что державной властью этой воли были лишены. Вот кончится война... Вот только она кончится. Тот желанный миг, по всему, был не за горами, но в то, что с окончанием войны жизнь в истощенных аулах сразу пойдет на лад, поверить было почти невозможно. Откуда взять такие силы, чтобы подняться из руин, восстановить потери, одолеть уныние, побороть горе, уверовать в светлое будущее, о котором разного калибра агитаторы не уставали долдонить и прожужжали все уши? Птица Феникс и та по легенде возрождалась из пепла раз в пятьсот лет...

Но, с другой стороны, можно было диву даваться тому, что, несмотря ни на что, дети по-прежнему в школах учились, хотя и были голы, босы и прозрачны от постоянного недоедания, учащиеся умудрялись писать чернилами из сажи на обрывках старых газет и полях книг, и на износ трудились колхозники — женщины, старики, подростки, которых распоясавшиеся бригадиры под камчой гоняли на поля, на стан и фермы; интернатовцев-сирот каким-то образом подкармливали, фельдшерско-акушерские пункты снабжали хоть какими-то медикаментами, он, фельдшер Давид Эрлих, и учителя исправно — день в день — получали ничтожную, но все же зарплату, в "Кизыл-ту" даже по-прежнему работали

исправно две библиотеки — школьная и сельсоветская и вообще некие невидимые нити изощрялись как-то удержать жизнь от жуткого хаоса и развала. Это-то и поражало, и вселяло надежду.

— Сегодня воскресенье? — спросил утром Христьян.

— Да. А что?

— Будешь весь день дома?

— Почти. Навещу Маруар, дочка ее, слышал, хворает. Загляну в интернат. Может, с Жарасом дрова часок попилим. Остальное время —наше.

— К Вальтерам не пойдешь?

— К Вальтерам?... Окрепнешь — пойдем вместе.

— Вчера Олькье заходила. Тебя все спрашивает.

— Да-а?.. Она же к тебе ходит.

— Оставь! Зачем я ей?

— Ладно. Приду — побеседуем. Мне ведь с тобой интересно.

В самом деле, Давид открывал для себя брата совершенно с неожиданной стороны. Выяснилось вдруг, что за годы разлуки, пока он учился на рабфаке, потом — в Казани и Ленинграде, служил в летной школе в рядах РККА в Энгельсе, заметно оторвался не только от родных и близких, но и от жизни в родном селе и от всего того, что происходило в предвоенное десятилетие в глубинках Поволжья. Он, оказалось, жил как бы в другом измерении, в своем обособленном кругу, в городской среде — строгий военный распорядок, учения, марши, походы, муштра, политчасы, командирский быт, повседневные интересы военно-летного городка, некоторое пренебрежение к гражданской, обыденной, однообразной и ушлой деревенской жизни, многонациональное окружение, русская речь... Это было совсем другая жизнь, другой берег бытия. А там, в немецких деревнях Поволжья, протекала своя жизнь, со своими заботами, треволнениями, традиционным укладом, который, однако, круто ломался, разительно, с каждым годом, преобразовался, а вместе с ним менялись и люди. Деревенские шалопаи, все эти рыжие, конопатые гансы, фрицы, виллемы, которые, казалось, еще недавно только тем и занимались, что гоняли собак, пасли гусей, до одури плескались в прудах, ловили раков в сонных, ряской заросших речушках, неохотно, от случая к

случаю посещали церковно-приходские школы, озорства ради залезали в чужие погреба, совершали налеты на бахчи и сада, вдруг вовлеклись в вихрь новой жизни, становились поголовно пионерами, комсомольцами, горланили лихо революционные песни, пугая родителей, добродетельных и набожных лютеран и католиков, усердно занимались спортом, краеведением, техникой, сдавали нормы БГТО и ГТО разных степеней, потянулись к знаниям, строили радужные планы, предавались честолюбивым мечтам. Изредка наезжая в родное село, Давид все эти новшества особенно не замечал или, скорее, не придавал им значения, и теперь, беседуя с Христьяном в другом краю земли, где вся жизнь была иной, с удивлением открывал для себя, переживал, чувствовал как бы заново то время, обозначаемое в разговорах словами "тогда", "дома". И эти "тогда", "дома" обретали особенно дорогой, желанный, магический смысл, и каждая мелочь, отзвук ТОЙ жизни находили потаенный отклик в растерянной, неприкаянной душе, волновали сердце, и Христьян, носивший в себе неизбывную печаль покинутого дома, горькое горе отнятой родины, оказался здесь, в казахском ауле, для Давида живой, нетленной памятью кровно родного, далекого — и судя по всему — невозвратного. Своими обрывочными рассказами, неожиданными, выветрившимися из сознания словечками и речевыми оборотами, мимовольными суждениями о том, о чем он, Давид, никогда всерьез не задумывался, Христьян как бы окунал его вновь в речку родного быта и истории, от которых, вовлеченный в круговорот преобразовательных советских бурь, его точно отторгли, отлучили поневоле. Встречаясь, бывало, изредка с братьями и сестрами, Давид испытывал неловкость, неуверенность, не ведая, о чем с ними говорить, их разговоры не распространялись далее колхозных будней, незначительных деревенских забот: сколько трудодней заработано, сколько на них могут осенью дать, сколько выхолощено жеребцов, кто в деревне обрел велосипед, у кого в амбаре какие запасы, женится ли непутевый Фриц дядюшки Михеля на шалаве Амалии, дочери Фогеля, шибко возгордившегося тем, что стал счетоводом полевой бригады или о том, какой случился конфуз с толстушкой Паулиной, пытавшейся изобразить "мост" на сцене сельского клуба. Это все было скучно и

пошло. Теперь же беседы с Христьяном вызывали интерес и любопытство. Чувствовалось, что и Христьяну доставляло удовольствие рассказывать брату о том, что совсем еще недавно и было, быть может, настоящей их жизнью...

Маруар смутилась при появлении долговязого фельдшера. Она только что вернулась с фермы после утренней дойки и теперь прибиралась в доме. Хоть и была она в просторном, расшитом камзоле, длинном, с оборками платье, в шерстяном платке и толстых вязаных носках, бросалось в глаза, как она осунулась, исхудала, иссохла за последние месяцы. В больших черных глазах застыл испуг. И улыбка была растерянная. Она опустила глаза, точно прилежная ученица перед строгим наставником, еле слышно отозвалась на приветствие гостя.

— Амансыз ба, Давид-ага...

И голос, и манеры, и весь ее облик были девчоночьи. И казалось странным, что у этого хрупкого создания могла быть столь заметно подросшая дочка. Девочка, тоже в расшитом бархатном камзольчике, с пришитыми к нему серебряными монетами, в крохотных валенках, в шапчонке, отороченной мехом, стояла тут же, возле печки с куском лепешки в ручке и таращила на гостя любопытные глазенки. Она знала этого длинного носатого дядю, привыкла к тому, что он угощал ее каждый раз при встрече чем-нибудь сладким, и не боялась его.

— Ну, красавица, подойди ко мне. Кел, кел, айналайн. Карагоз кызым...

Девочка уверенно подошла, захлопала ресницами. Давид начал шарить у себя в кармане.

— О-о... я и забыл, как тебя зовут? Атын кім?..

Девочка молчала. Ей было невдомек, почему этот узколиций большой дядя никак не запомнит ее имени.

— Айта гой... Это ведь ата. Ай-яй ата, — уговаривала Маруар дочку.

— Женис, — пролепетала девочка.

— Как, как? — переспросил Давид. — Не расслышал. Тагы да айт.

— Женис, — уже громче повторила черноглазая, покосившись на мать.

— Ах, Женис?.. Да, да, Женис! — хлопнул Давид себя по лбу. — Как я мог забыть?!

Девочка тоже обрадовалась, довольная тем, что этот смешной дядя наконец-то вспомнил ее имя, и внимательно следила за его рукой, продолжавшей шарить в кармане. Давид достал полплитки гематогена в серебристой облатке и торжественно протянул девочке. Та расцвела личиком, схватила гематоген и, как бы хвастаясь, показала маме.

— Кампит! Кампит!

Давид и Маруар весело рассмеялись.

Бедность бросалась в глаза и в этом доме. Маруар — Давид знал об этом — уже несколько раз пыталась перебраться к брату в Каратал, где легче было бы пережить лихолетье, но суровый бригадир и слышать о том не желал. "Ты должна хранить очаг мужа, — убеждал он сестру. — Не одной тебе нынче трудно. Раз похоронки нет, значит, Газиз жив. А коли жив — вернется. Жди". И Маруар не смела возразить, покорно ждала вестей от мужа, работала на ферме, растила дочку. А муж как в воду канул. Одно-единственное письмо, полученное от него зимой 42-го года, она давным-давно зачитала до дыр, выучила наизусть, запомнила до каждой запятой, но в последнее время оно уже не утешало ее. Аулчанам приходили похоронки, письма-треугольнички, помятые и вымаранные военной цензурой, а Газиз молчал. Поговаривали, что по всей вероятности он попал в плен. И еще говорили, что плен — страшнее смерти. Великий усатый вождь, мол, пленных не жалует. Пленные — предатели родины. А предатели родины караются смертью. И семьям их вечный позор. Эти слухи-разговоры убивали Маруар. Во сне она часто видела, как расстреливали ее Газиза. Убивали его то фашисты, то энкаведешники. И Маруар просыпалась в ужасе, в слезах и потом уже боялась уснуть. Особенно удручало ее то, что своими страхами и сомнениями не с кем было поделиться. Как-то раз она рассказала было товаркам о том, как все чаще наведывает ее во сне Газиз, как он рвется к ней, пытается обнять, но никак не может дотянуться до нее, и она, вся в жару, просыпается разбитая, измученная. Охальница Шаку, усмехнувшись, ляпнула: "И-и-и... бедняжка. Тебе мужчина нужен. Ты ведь и наиграться-то с деверем-аулнаем, как следует, не успела. Не утешилась. А бабе нужно, чтобы ее тискали, лапали, мяли да катали, кровь остужали..." И при этих словах доярки возбуж-

ленно рассмеялись. С тех пор Маруар и затаилась, ушла в себя. Единственным утешением и забавой ее стала дочка.

— Как живешь, Маруар?

— Шукур... Как все, — откликнулась она, и глаза ее повлажнели.

— Не болеешь?

— Нет, нет...

— Газиз все молчит?

Маруар не ответила, отвернулась, взялась хлопотать у печки. Давиду она нравилась. Среди женщин аула она отличалась опрятностью, собранностью, молчаливой деловитостью. Совсем еще молоденькая, неопытная, она, однако, держалась с достоинством, была всегда и со всеми подчеркнуто учтива, ко всем доброжелательна. И дома у ней царил порядок. К Давиду она относилась с благодарностью: помнила, как он принимал у ней роды, как заботился о малютке, всегда спрашивал про Газиза и говорил о нем при всех добрые слова. Она прислушивалась к его советам, первая приходила на медосмотр, приводила дочку на всевозможные прививки, подавая пример аульчанам. В бабьи пересуды не встревала, не вмешивалась, игривые намеки аульных зубоскалов пропускала мимо ушей. Старики отзывались о ней благосклонно, с любовью говорили "біздің келін" — наша сноха.

— Руки болят? — спросил Давид.

— Сейчас ничего. Дойка сократилась. Коровы еще не отелились.

Поначалу у Маруар болели руки, распухали пальцы, бывало, ночь напролет ныли суставы. Шутка ли, ей, почти девчонке, выдаивать трижды на дню по десять-двенадцать коров, мыть ведра-подойники, тягать тяжелые фляги. Пальцы ее огрубели, покраснели, ломило в плечах, в пояснице, и хоть она скрывала это, фельдшер видел, как ей трудно.

— Делай, как я советовал. Каждый вечер подержи руки в теплой воде, массажируй пальцы, на ночь смазывай вазелином.

— Я так и делаю.

— Правильно. Ты молодая, ручки твои должны быть мягкие, нежные, ласковые. А то Газиз будет недоволен. И меня упрекнет: "Ты куда, Давид, смотрел?!?

Маруар улыбнулась, на скулах заиграл румянец. Малышка между тем управилась с гематогеном, измазала щечки и выжидающе глядела на доброго пришельца.

— Ну, подойди сюда, хорошая. Кел, айналайн.

Женис смело подошла, прижалась к коленям дяди. Давид достал из аптечки крохотную пластмассовую ложечку, поиграл, покрутил ею перед носом девочки, как бы отвлекая ее внимание, незаметно потрогал лоб.

— Ну, открой-ка ротик. Шире, шире. Вот так! — Давид распахнул свой рот, смешно щелкнул зубами, и Женис рассмеялась: так забавно это получилось у дяди-доктора. — Вот, молодец! Теперь покажи язык. Смелей, смелей, вот так! — Он также незаметно, ловко придавил язычок ложечкой, заглянул в гортань. — Скажи: "а-а-а"! Ясно!

И похлопал девочку ласково по спине, погладил по волосам.

— Ничего страшного, — сказал он Маруар, затаившей дыхание, пока "першыл" осматривал дочку. — Легкая простуда. Держи дома, в тепле. Отпаивай теплым молочком. Подсласти сахаром, если есть.

— Немножко есть. Кабиден-ага привез.

— Хорошо. На ночь дай этот порошок. Можешь в ложечку высыпать и дать с молочком.

— Рахмет, Давид-ага.

— Ладно. И дочь, и себя береги. Война уже скоро кончится, Газиз вернется и все будет совсем жаксы.

— Айтканыцыз келсін, Давид-ага! Да сбудутся ваши слова.

Давид собрался уходить, еще раз оглянулся, вздохнул. Ему было приятно в этом доме. Слегка волновало присутствие молодой, здоровой, чистой женщины и милой, ухоженной, такой доверчивой малышки Женис. По душе были и скромное убранство, тихий уют. Пахло молоком, дымком, снегом и степным ветром.

— Хорошо у тебя, — заметил он.

Маруар, польщенная, кинулась стелить скатерку-дастархан на низеньком круглом раскладном столике, расставила чашки, блюдце с топленым маслом.

— Сейчас, Давид-ага, чаем угощу...

— Что ты, милая! Не суетись, не беспокойся. В интернат тороплюсь.

— Нет, так нехорошо. Так не делают, — расстроилась Маруар.

Да, фельдшер это знал. Гостеприимство казахов всегда его удивляло. Бывает, дома шаром покати, дети голодные, а для гостя что-нибудь всегда припасено. Такая традиция, заповеданная предками: грешно выходить из дома, не вкусив хлеба, даже если это и не хлеб вовсе, а горсть проса или жареной пшеницы, миска айрана или чаша кумыса. Выезжая на медосмотр в казахские аулы, Давид знал, что чем-нибудь его непременно угостят и не стоит ему заботиться о сухарике на дорогу. А вот когда он выезжал в русские села — в Карачок или Козловку, там ему за весь день никто стаканчику чаю не предлагал. И фельдшер знал, что, если он из дома что-нибудь не прихватит, то, считай, обречен на невольный пост. Правда, при необходимости можно было купить картошку, капустку, лук, брюкву, а то и шмат сала. Покупай и ешь, но чтобы угостить — ни-ни. А ведь жили не беднее казахов, скорее, пообеспеченней, поскольку держали огороды.

— Ладно. От лепешки отведаю. И чашку айрана выпью.

Из дома Маруар фельдшер ушел легкий, удовлетворенный, обласканный теплом и уютом светлого домашнего очага.

VIII

В интернате, как всегда по воскресеньям, было хлопотно. Обычно в субботу, едва высидев последние уроки, школьники из соседних аулов спешили домой. Объединившись в группы по пять-восемь человек, они в предвкушении радостной встречи с родителями и близкими, оживленные, взволнованные, отправлялись в путь пешком с пустыми переметными сумами или мешочками-дорбами за спиной. Если подворачивалась попутная подвода, это считалось редкой удачей. Единственная казахская средняя школа во всем районе находилась в Кызыл-ту, и сюда стекались после начальной или семилетней школы учащиеся из всех близких и дальних аулов. Обитали в общежитиях, точнее сказать, в частных домах, которые хозяева по нужде или доброте душевной сдавали в наем жаждущим среднего образования. Таких общежитий, в которых обустраивались мальчики и девочки впе-

ремешку от четырех до восьми душ, насчитывалось в Кызыл-ту более десяти: из Коктерека, Жана-жола, Жана-талапа, Каратала, Алка-Агаша, Балуана, Социала, Урнека, Мектепа, Аксу, Жана-су и других аулов. Некоторые старшеклассники жили у дальних родственников (у казахов родственники находятся везде и всюду по всей земле) или у знакомых. В общежитиях жили тесно, кучно, скудно, но дружно. Старшие опекали младших. Каждый имел свой сундучок или переметную суму, в которых хранил недельные харчи — три-четыре таба-нан, испеченные в сковороде на раскаленных углях лепешки, топленое маслице в толстой коровьей кишке, несколько горстей сушеного сыра — курта и сушеного творога — иримчика, мешочек толченого проса — талкана и школьные принадлежности — чернильницу-непроливайку, книжки, карандаш, перо, линейку, клочки бумаги. Уроки готовили при коптилке-лампе, усаживаясь в круг, ставя перед собой сундучок и сидя на корточках. Кто писал, кто бубнил вслух, кто читал про себя. Девочки спали в одном углу, мальчики — в другом. Посередине на кошмах и корпешах спали хозяева. Они следили за общим порядком и обеспечивали жильцов два раза в день кипятком или жидким чаем. Это и считалось аульным общежитием. Действительно, житие было общим, все на виду: в одной комнате с двумя-тремя окошками вместе с хозяевами обитали по двенадцать-пятнадцать человек. В таких условиях многие жили и учились из года в год, пока не заканчивали школу. Правда, удавалось это не всем, несмотря на строгий и бдительный закон всеобуча.

Баловнями судьбы считались местные учащиеся. У них был свой дом, им не надо было никуда уезжать, они потому не терпели столько лишений и мытарств, как пришлые. Они могли учиться и получить среднее образование в родном ауле. В Кызыл-ту местных учащихся было немного. Пришлые, естественно, завидовали им. Попробуй еженедельно — осенью и весной — в распутицу, зимой — в стужу и пургу — на своих двоих топать взад-вперед по пять-восемь километров и прозябать в общежитии на скудном, сухом пайке вдали от родного дома без внимания, догляду, ласки, привычной обстановки. Какая тут учеба, если в желудке постоянно пусто, а в голове — неотвязные думы о матери и об

отце (если он еще жив, не пал смертью храбрых), о братьях-сестрах, об аульных дружках, о милой собачке или забавном ягненке? И все равно у пришлых была возможность в субботу веселой гурьбой отправляться домой, домой. Те же, что приезжали на учебу в Кызыл-ту из отдаленных аулов за двадцать-тридцать и более километров, были лишены такой возможности: к ним приезжали, может, в месяц раз, при случае передавали продукты, гостинцы, забирали домой лишь по болезни или на каникулы. Это были учащиеся старших классов, у которых была в ауле только семилетняя школа.

Еще одна группа учащихся — интернатовцы, круглые или полусироты. Они приезжали издалека, жили на казенный кошт, при школе, и не имели возможности уезжать домой, ибо у них, в сущности, и дома-то родного не было, а имелись лишь родственники, часто — очень дальные, седьмая вода на киселе, у которых они не были желанными, их терпели только из жалости и им в летнюю пору приходилось надрывать молодые пупки, как слугам-батракам — косить сено, заготавливать дрова, пасти скот, месить глину, плести из тальника изгородь, словом, как говорят казахи, входить в дом с топкой, а выходить с золой.

Но и интернатовцам, случалось, завидовали: их трижды на дню, хоть и скудно, кормили в столовой, им выдавали хоть и ветхую, но всегда удобную, по сезону, по росту одежку, обувку, постель, и спали они не на полу, а на топчанах или железных койках с матрацами и одеялами. К урокам они готовились за столом с лампой-десятилинейкой посередине. По воскресеньям дважды в месяц их водили в баню (ах, наслаждение!), им выдавали даже крохотный кусочек настоящего хозяйственного мыла, а не черного, как деготь, которое изготовляли в аулах из щелочи, старых костей и золы бабы-умельцы. Интернатовцы и учились прилежней, держались спаянно, вместе, чуть особняком. Они участвовали во всех школьных кружках, по утрам делали зарядку, за ними был доглял: они не имели свободного времени, жили по строгому распорядку, даже в столовую ходили строем, ведомые воспитателем. "Вольные" завидовали им: интернат манил, жизнь там казалась интересной, увлекательной, туда посторонних не пускали, дежурные строго следили за порядком и дисциплиной. А интернатовцы в свой черед завидова-

ли "вольным". У них ведь был какой-никакой, а свой дом. Они лакомились домашним — баурсаками, куртом, примчиком, испеченными в золе пшеничными лепешками, толченым просом, вяленым мясом. Они были по-настоящему вольными: хочешь — играй, хочешь — занимайся, сам себе хозяин, сам себе барин. И одежка была теплее, и пахло от них домашним — дымком, простоквашей, кошмой, бараньим салом. И приключений, и впечатлений бывало у "вольных" в избытке. А у интернатовцев что? По команде в шесть утра вскакивай, быстро одевайся, постель заправляй, на зарядку становись, бегай гуськом вокруг памятника Ленина, снег разгребай, дорожку протопчи, строем шагай в столовую, строем возвращайся в комнаты, строем шагай в школу, строем назад, дежурь в столовой, в интернате, в школе, участвуй в самодеятельности... и так изо дня в день, из года в год, знай оправдывай заботу и доверие государства, помни, что и в лихую годину родина скрашивает твою сиротскую долю, кормит, поит, одевает, учит и воспитывает тебя на благо и во имя светлого будущего человечества — коммунизма.

Медицинское обслуживание интернатовцев также входило в обязанность заведующего фельдшерско-акушерским пунктом колхоза "Кызыл-ту". Правда, по штату интернату полагался свой младший медицинский работник, но в райфинотделе и райздраве решили, что с этим за полставки справится и Давид Эрлих. Он и не возражал. Именно этот участок в санитарно-профилактическом отношении отличался сравнительным благополучием и легче поддавался контролю. Да и уклад жизни и быта интернатовцев напоминал Давиду отдаленно столь милые его душе армейские порядки. И контингент был невелик: в общей сложности тридцать учащихся пятых-десятых классов.

Сегодня интернатовцы с утра репетировали: приближался день Красной Армии. Учительница русского языка, круглолицая, полная татарка Александра Ихьяевна (в ауле ее звали просто Шурой, а учащиеся — Шура-апа или Шура-мугаллим) и учитель географии и по совместительству воспитатель интерната плотный, как кряж, большеголовый, громогласный Калау Тайжанов, построив интернатовцев в тесный круг, отрабатывали концертную программу. Когда в ленинскую комнату вошел рослый фельдшер с неизменной

аптечкой в руке, все обернулись к нему и шумно поздоровались.

— О, здрасти, першыл!

— Локтр келді!

— Проходите, Давид Павлович.

— Что это вы с аптечкой? Со скрипкой надо было приходить.

Жарас выскочил из круга, кинулся к Давиду, обнял его, прижался, весь рассиял, бормоча:

— Даут-ага, Даут-ага...

Ему было приятно и лестно, что этот уважаемый в аулах человек приходился ему как бы родным и сейчас прилюдно обнял, обласкал его.

— Что, медосмотр? — спросил Калау. — Прямо сейчас?

— Укол-мукол? — всполошились интернатовцы.

— Нет, нет... Репетируйте. Я послушаю.

Фельдшер присел на скамейку возле печки-голландки.

— Начали! — гаркнул Калау. — Нуржан, давай! Звонче, громче!

Бритоголовый, широколицый Нуржан встал перед хористами, судорожно сглотнул слюну, напрягся весь и задекламировал торжественно, на пределе голосовых связок:

От края до края по горным вершинам,
Где вольный орел совершает полет...

— Стоп, стоп! — остановила чтеца Шура-мугаллим. — Почему ты говоришь: "От кирая до кирая"? Слушай: "от края до края". Понял? "Кра", "края", а не "кира". И не "орол", а "орел". Мягче надо! И не "балот", а "полет", понимаешь, "па-лет".

— Ба-лиот! — повторил Нуржан.

— Па-лет, па-лет, — усердно поправляла ученика мугаллим. — Давай снова!

Нуржан откашлялся, вдохнул побольше воздуха, выпятил грудь, еще сильнее взвинтил голос, аж жилы на шее вздулись.

О Сталине мудром, родном и любимом,
Прекрасную песню слагает народ.

— Уай, маладес! — одобрил Калау. — Громко и проникновенно. Смотри только, чтоб пуп не надорвал. Кишки вывалятся.

Все весело расхохотались.

— Неплохо, неплохо, — согласилась учительница русского языка. — Только после "мудром" сделай маленькую паузу и произнеси потеплее, чуть тише, умиленно — "родном и любимом". Как бы выделяя, подчеркивая, понимаешь? Вот так: "родном и любимом". С дрожью. Понял? А потом, повысив голос, ликуя, торжественно говори: "Прре-краааас-ную". Давай еще раз!

О Сталине мудром, родном и любимом,
Прре-красс-ную песню слагает народ!

— Уай, джигит! — загремел Калау. — Орел! Джульбарс мой! Арыстан мой! Вот катып кетті! Только при этом рукой вот так делай.

И Калау показал — как: застыл в позе памятника Ленину за оградой перед интернатом. Коренастый, кряжистый, импульсивный, бритоголовый учитель географии мгновенно преобразился в вождя пролетарской революции.

Нуржан побагровел от собственного усердия и похвал воспитателя.

— Хор! — взмахнул беспалой рукой Калау.

И хор во всю мощь молодых глоток грянул:

Ахау, социализым,
Коммунизым,
Жасасын Карыл Маркыс
Ылениниизым!

Тут же из хора выскочил тощий, бледный Бейсен, по прозвищу Шкет, шмыгнул носом и затараторил:

Мы Сталиным воспитаны
И в свой черед
Пойдем путем испытанным
В любой поход.

— Дурыс-ак, — похвалил Калау.

— Ничего не дурыс, — проворчала Шура-апа. — Что за "байдом бутиом"? Ну, покрути немного язык-то! Ты же не старик! Говори четко, правильно: "пойдем путем". Ну?!

— Байдом бутиом.

— Не так! "Пойдем путем".

— Э, жарайды! — встрял Калау. — Научится... Главное — громко. Хор!

Хор подхватил упоенно, со страстным рвением.

Ахау, социализым,
Коммунизым,
Жасасын Карыл Маркыс
Ыленинизым!

— Следующий! Кто следующий?

— Мен, мен. Я!

— А, Сабыр! Вступай!

Сабыр, светлолицый крепыш, основательный, степенный, выдвинулся вперед, расставил ноги, будто готовясь поднимать штангу, крякнул, заговорил басом:

Сталиным написан наш закон,
Реет знамя Ленина над нами.
Мы идем к вершине всех времен
Пятилеток верными шагами.

И тотчас отвернулся, встал на свое место среди хористов, надулся. Был Сабыр явно не в духе и читал, будто делал одолжение.

— Стоп, стоп! — подала голос Шура-апа. — Это разве не в конце звучит?

— Ах, да! — спохватился Калау. — Сначала идет Ряш. Айналайн, где ты?

Робко высунулась крохотная, точно куколка, черноглазая смуглянка, похлопала ресницами, тонюсеньким голоском, по-детски растягивая слова, продекламировала:

Улыбается вождь — молодеет земля,
Еще ярче цветут и сады, и поля.

— Айналайн! — млел-сиял Калау. — Красотулечка моя! Так и хочется тебя посадить на ладошку, обдуть и проглотить, как конфетку.

Интернатовцы опять дружно загоготали. Ряш, пятиклассница, была самой младшей и миловидной среди интернатовцев и всеобщей любимицей. Старшеклассники души в ней не чаяли. Каждый невзначай норовил приласкать ее, усадить себе на колени, и Ряш-куколке это доставляло удовольствие. Она уже знала, что взрослые ею восхищаются. И ласки взрослых парней ей нравились.

— Хор!

И уже в который раз хор выдал начиненный ликующим пафосом куплет, обрамлявший поэтическую композицию.

— Вот только теперь заступает Сабыр. Давай!

— Но я ведь уже читал, — недовольно пробасил Сабыр.

— Еще раз читай! Не убудет с тебя.

— Не буду!

— Как это не будешь?! — Калау насупился. В маленьких глазках сверкнули искорки. — Будешь, когда воспитатель говорит!

— Одно и то же! Одно и то же! Как попугай. Надоело! — бубнил крепыш.

— Что-о?!.. Может, тебе и интернат надоел? И интернатская каша? И интернатский борщ? А?! Читай, говорю!

Крепыш Сабыр, побледнев, повесив упрямую голову, тяжелой развалкой вышел, без пафоса, тускло проговорил:

Сталиным написан наш Закон,
Реет знамя Ленина над нами...

— Эй! — перебил его Калау, побагровев лицом. — Ты что мямлишь? Тебе, стервецу, что, Закон Сталина не по душе, а? Или знамя Ленина не нравится, а? Что бубнишь замогильным голосом? А ну встрепенись! Возвысь голос! Подкинь жару! Не то...

Все знали: Калау Тайжанов — открытая, добрая душа, щедр на похвалу, склонен умиляться по всякому поводу, но не приведи Аллах ему перечить. Вспыхивает, как порох, заведется, как говорят, с пол-оборота, кровь ударяется в голову, тут же вспомнит, что воевал с "сум-пашис" — подлым

фашистом, потерял на войне три пальца и начинает всех подряд обвинять в нерадивости, в неучтивости к айналайн советской власти и недостаточности патриотизма. Такое наговорит сгоряча, что предки до седьмого колена в могиле перевернутся. Правда, отходчив. Гнев его стихает так же быстро, как и вспыхивает.

Сабыр, подавив свою строптивость, с горем пополам дочитал-таки положенный ему стих, и хор, спасая его, бросясь на подмогу, мощнее обычного восславил Карла Маркса и ленинизм вприпрыжку. Это получилось так неожиданно, слаженно и кстати, что Калау, тотчас забыв о назревавшем было инциденте со своенравным отличником девятого класса и первым силачом школы, по обыкновению горячо воскликнул:

— Барекельде! Молодцы! Жаса!

— Хорошо, — согласилась Шура-апа, довольная, что все завершилось благополучно. — Теперь перейдем к казахской части праздничной программы.

— Ну, как, Давид Павлович? Замечания есть? — поинтересовался Калау. — В казахской части будет несколько сольных номеров, два кюя на домбре и мандолине, скетч и пирамида.

— Все хорошо. Только кто такой Карыл Маркыс?

— Карыл Маркыс — это Карл Маркс.

— Да-а? А почему такая огласовка?

— Какая... огласовка?

— Ну, Карыл Маркыс...

— А-а... так удобнее для казахского произношения. Да и строка полнее.

— Интересно. А у Фридриха Энгельса тоже казахская огласовка?

— Да. Для казаха Фридрих Энгельс — Пыридрык Енгелис.

— Но почему?

— А потому что, — рассмеялась Шура-мугаллим, — для русского "фельдшер" часто — "фершал", а для казаха — "перпыл".

— Вы же тоже говорите не Тайжанов, а Дайшаноф, — хитро усмехнулся Калау.

— Неужели?

— Конечно! Послушайте себя.

— Странно. Не замечал, — смутился Давид Павлович. — Но, согласитесь, правильно все же — Карл Маркс.

— Может, и правильно, — согласился Калау. — Но какаху Карыл Маркыс — ближе и роднее.

И громко расхохотался.

— Так будете проводить медосмотр? — спросила Шура-мугаллим. — Тогда объявим перерыв.

— Сегодня нет. Баня будет?

— Обязательно. Вечером. И белье сменим. Через санобработку пропустим. В спальнях уборку сделаем.

— Хорошо. Вшей нет?

— Боремся... — неуверенно ответила Шура-мугаллим. — Девочек я лично проверяю.

— С битюками сражаемся как с классовым врагом, — подтвердил Калау. Он хотел было сказать: "как с немцами", но вовремя спохватился, догадавшись, что сейчас это прозвучало бы неуместно.

— Правильно делаете. В Каратале опять сыпной тиф.

— Құдай сақтасын!... У наших иногда только расстройства желудка случаются.

— Отчего?

— К борщу никак не привыкнут. Казахам мясо с лапшой подавай.

Интернатовцы разом загалдели.

— Ия, ия... От борща в животе урчит-бурчит. Салат-малат, горох-морох , капуста-мапуста...

— И каша-маша жидковата.

— И хлеб кишки дерет.

— Отставить! — приказал Калау. — Откуда вам советская власть мясо, масло возьмет? У других и того нет. Вот одолеем немца, то есть фашиста, загоним его в логово, тогда...

— Немца-то одолеем, — солидно, как взрослый, встрял в разговор Сабыр, — только откуда мясо возьмем? У колхозников в аулах и поносливого козленка не осталось.

— Нешауа, — возразил ему Калау. — Қазақ, аман болса, мал болады[1]. Через два-три года от сытости рыгать начнешь.

---

[1] Казах жив будет, скотом обзаведется.

Интернатовцы обступили фельдшера. Скуластый шкет Бейсен оцерил рот, блеснул шельмоватыми глазками.

— Бетамен йес?

— Витамины, что ли?

— Ия, ия, бетамен. Бетамен укусный!

— Иишь ты, знает, что вкусный...

Еще один, чумазый, как чугунок, тянул руку с царапиной.

— Йодом мал-мала помажь.

Другой, оттолкнув товарища, показал обмороженное ухо.

— Вот, смотри... Болит.

Каждый старался обратить на себя внимание фельдшера.

— Эй, болды! — унял их разом Калау. — Продолжим репетицию. А то скоро обед.

— Ну, я загляну в столовую. Кто сегодня дежурный? — спросил Давид Павлович.

— Я, — охотно вызвался Жарас.

— Пойдем со мной.

Жизнь в интернате пошла Жарасу на пользу. За эти годы он окреп, подрос и из замухрышки-пастушонка вымахал в ладного парнягу. Директор школы Жанахмет Калиевич слово свое сдержал: на свой страх и риск устроил круглого сироту по просьбе переселенца-фельдшера в интернат в ту зиму, когда Давида в первый раз забрали в трудколонну. В Кызыл-жаре, на военном заводе, Давид проработал тогда всего три недели в ожидании пока сформируют новый большой отряд трудмобилизованных спецпереселенцев для отправки в Сибирь. Однако в последний момент райздравотдел его отстоял, добился-таки возвращения фельдшера на место работы в "Кызыл-ту": в казахских аулах Приишимья медработников днем с огнем нельзя было сыскать. Видно, кто-то из местного начальства замолвил словечко за "локтра"-поселенца, заступился за него. И когда Давид вернулся в аул, он сразу понял, что мальчику в интернате совсем не плохо, что живет он под присмотром взрослых и не слоняется по домам в надежде, что кто-нибудь пригреет и накормит. Правда, Жарас так привязался к "першылу", что готов был при первом мановении вернуться в его пустую и убогую холостяцкую комнатку при медпункте, чтобы жить, как

прежде, вместе — "две половинки — одно целое". Но Давид уговорил мальчика, что они и так вместе, раз живут в одном ауле, а жить ему все-таки лучше и разумнее в интернате. Жараса Давид всегда держал в поле зрения и радовался, что мальчик ведет себя ровно, послушно, оправдывает доверие директора школы и учится старательно, выполняя безотказно все поручения воспитателя и учителей. Гордился мальчик своим "тамырством" с пришельцем, его опекой, заступничеством, полагая в душе, что он не один на белом свете, что есть у него — хоть и другого рода-племени — надежный "ага", старший брат или дядя. И никто не смел его обижать, зная, что за Жараса долговязый "немыс-першыл" непременно заступится.

По обочине дорожки, протоптанной в сутробах до столовой, Жарас старательно трусил, еле поспевая за стремительным и шагистым "першылом".

— Ты в самом деле сегодня дежурный?

— Канешна.

— И в чем заключается твоя обязанность?

— Э, это... столы протирать, тарелки-миски расставлять, хлеб раздавать, следить, чтобы никто ни у кого ничего не отбирал, чтобы без обиды и во всем порядок был.

— И получается?

— Канешна!

— Кормят как?

— Нешауа. Только мал-мала мало. Иногда курсак куртыл-муртыл.

— Почему?

— Э, мяса, нет — так курсак куртыл-муртыл делает.

Давид рассмеялся. Он уже привык за эти годы к странной тарабарщине из русско-казахских слов, которой общалось с ним большинство местного населения. Иногда он и сам сбивался на подобный словесный ералаш.

— Курсак нынче у всех куртыл-муртыл делает.

В столовой было убого. Четыре колченогих стола, десяток расшатанных стульев и табуреток, вдоль стены сколоченная из неотесанной доски скамейка да плакат в простенке — "Уничтожайте мух!" — и вся обстановка. В крохотном закутке-кухне клубился пар, пахло кислой капустой и чем-то подгоревшим. На стук в дверь выглянула из кухни Поля,

жена школьного сторожа и истопника, раскрасневшаяся, взлохмаченная, в белом застиранном халате поверх фуфайки, с огромным половником в руке.

— Батюшки, Давид Павлович! — не то обрадовалась, не то растерялась.

— Что, не ждала, Поля-повариха? — приветливо улыбнулся фельдшер.

— Что вы, Давид Павлович? Милости просим, — запела Поля. — Запурхалась я. Скоро обед, а я еще ничего не сварганила. Колдую-колдую каждый божий день.

— Из чего колдуешь?

— Из того, что есть. Картошка, капуста, лук. Вот гороховый концентрат немного привезли да жир американский.

— Что за жир?

— Шут его знает! — Поля вытерла потное красное лицо неопределенного цвета фартуком. — Говорят, американская помощь. Точно вазелин, в железных банках. Рыбой отдает. Скворчит, стреляет, как шрапнель. Но на вкус ничего. Добавляю понемногу в суп, в пюре, в кашу.

— Из топора суп варить не пробовала?

— Как это? — изумилась Поля. — Какой топор?!

— Ну, солдат один из сказки отменный, сказывают, суп варил из топора.

— А-а... — смекнула Поля. — Нет, до топора еще не дошла. Но продуктов отпускают все меньше и меньше. И хуже. Чем весной буду кормить балашек — ума не приложу. Вот хлеб пеку из отрубей, овсяной муки, очистки картофельные добавляю. И то едва по триста граммов на нос получается.

— Ну, если нос, как у Жараса, то еще сносно. А на мой шнобель триста граммов — разве что понюхать.

Поля простодушно рассмеялась, скосившись на мощный носище узколицего фельдшера. Расхохотался и Жарас, растянув рот до ушей так, что едва заметный бугорок между скулами и вовсе потерялся, исчез на круглом, плоском лице.

Объявились в ауле Поля и ее муж, Михаил Пассажирцев, недавно. Бог весть, по своей воле или не по своей. Рослый, костлявый, угрюмый детина устроился истопником в школе и сторожем в интернате, бубнил иногда что-то заковыристое, невнятное в густую бороду, но больше молчал.

исправно, однако, исполняя свои обязанности. Интернатовцы прозвали его Ундемес-шал, старик-молчун. Его немного побаивались. Он мастерски колол дрова, а в охапке уносил столько поленьев, сколько десять интернатовцев вместе. Его жена, Поля, пухлая, общительная, расторопная, сразу пришлась ко двору. Кухарничала она с явным удовольствием, была горазда на разную выдумку, все в ее руках спорилось, и интернатовцы к ней особенно привязались. Трудно было определить, сколько ей было лет, то ли тридцать, то ли сорок, но в ауле все от мала до велика звали ее только ласково по имени — Поля да Поля, и она не возражала, охотно одаривая всех доброй улыбкой. Старики уверяли, что у нее на лице иман — доброта, совесть, благость, а иман на лице бывает только у тех, у кого чистые помыслы и открытое, радушное сердце. Особой чистоплотностью она не отличалась, и Давиду нередко приходилось делать ей внушения, напоминая об элементарной гигиене и санитарии. Она легко соглашалась, каялась и божилась все учесть, содержать кухню и столовую в идеальном порядке, но продолжала делать все по-своему, на Бог весть когда и где усвоенный ею лад. В душе она полагала, что было бы лишь что в брюхо пихать, а санитария и гигиена — дело наживное.

Жарас, особенно усердствуя на глазах своего Даут-ага, протер влажной тряпкой столы, расставил тарелки, миски, пересчитал ложки, стаканы. Фельдшер просмотрел недельное меню, расписанное на грубой оберточной бумаге чернильным карандашом. Разнообразием меню не отличалось: борщ, гороховый суп, перловая каша, картофельные оладьи, тушеная капуста, свекольный и морковный чай, овсяной кисель, отрубной хлеб. Но Давид поймал себя на мысли, что он лично, пожалуй, вполне довольствовался бы такими харчами. То, что он наспех, когда как варил из своих таких же скудных запасов, вряд ли отличалось большим разнообразием и калорийностью. Пожалуй, лишь хлеб он испекал лучше из ржи, да каши варил из черной гречки, кое-как очищенного проса и ячменя погуще и поболее. Иногда удавалось зимой зайчишку словить, а летом разжиться рыбой. Ну, а пил он солодковый чай да отвар из сушеных ягод, которыми запасался впрок в летнюю пору.

С улицы донесся стройный топот ног, зычная команда Калау, и через минуту в столовую шумной гурьбой ввалились интернатовцы.

— Первая смена прибыла! — доложил шкет Бейсен.

— Верхнюю одежду снять! — скомандовал дежурный Жарас.

Интернатовцы послушно разделись в сенцах, столпились у железного рукомойника. Потом, толкаясь, торопливо расселись по своим местам. В столовой стало шумно, колготно.

— Эй, почему мои триста граммов меньше, чем у тебя?

— Это по виду, а по весу — одинаково.

— Тогда махнемся?

— Держи карман пошире!

— Эй, это разве справедливо: мне, верзилистому джигиту, и девчонке с мизинчик одинаковая порция?!

— Все люди равны!

— Неужели силач Халжи-Мукан и шкет Бейсен равны? Кормить надо соответственно росту и массе. Нельзя же равнять слона и мышь!

— Ешь, умник, и не рассуждай.

— Смотри: в моем супе только четыре масляных "глазка", а у тебя — шесть.

— Зато твои "глазки" покрупнее, а мои — малюсенькие, хоть в микроскоп рассматривай.

— А ты их дроби — будет больше.

— Эй, не давись! Никто твой хлеб не отнимет.

— Если бы так! Вон Сапар нацелился на мой кусок, как крокодил.

— Не верещи! А то проглочу тебя вместе с твоим хлебом.

— С тебя станется. Ты айдахар семиглавый.

— А ты шакал!

— Ти-и-ихо! — пророкотал воспитатель Калау, наблюдавший за воспитанниками у двери. — Расшумелись, как вороны на току.

На мгновение все умолкли. Слышны были только сопенье, кряхтенье, шмыганье, хлюпанье, чавканье, звяканье.

В углу двое старшеклассников шепотом выясняли отношения.

— Забыл? — шипел один. — Ты мне полпорции проспорил.

— Так понарошку ведь, — неуверенно оправдывался другой.

— Не хлюзди! "Понарошку"... Проспорил — отдай!

— Да, ладно... Вот пристал...

— Что значит, ладно? Или ты баба, что слова на ветер бросает?

— Это ты баба! Завистливая, сварливая, настырная и жадная.

— Проспорил — верни долг. А то...

— Ну, что?.. Что ты мне сделаешь?!

Шепот двух спорщиков становился все громче, и сами они уже взъерошились, как воробьи.

Калау расслышал, мгновенно все понял, подлетел к ним, точно коршун.

— Эй, вы, песье отродье! Опять что-то не поделили? На хлеб поспорили? Торгаши! Спорьте на щелчки по носу. На "маклаш" по башке. А на хлеб — не сметь! Эдак вы скоро и родною матерью торговать начнете. Сейчас... сейчас же... прямо при мне... немедленно съешьте свой хлеб. Бесстыдники!

Спорщики виновато опустили головы, начали послушно запихивать черный, рыхлый хлеб в рот.

Остальные между тем, управившись с гороховым супом, тушеной капустой, приступали уже к третьему.

— Эй, это что — чай? Сроду такого не видел.

— Не то еще увидишь. Помои станешь пить и еще благодарить будешь.

— Не чай — кисель.

— Не кисель — бурда.

— Бурда-мурда. Шалап-малап!

— Эх, айрану бы кесушку...

— Айрану захотел! Зимой-то... Пей что дают. Советская власть тебя не отравит.

— Причем советская власть? Поля — твоя власть!

Из кухни высунулась разгоряченная возле плиты Поля.

— Что? Кто меня звал?

— Добавка! Добавка! — загалдели интернатовцы.

— Добавки сегодня не будет, — удрученно сообщила Поля.

— У-у-у — заропгали-загудели страждущие.

— Хватит! — повысил голос Калау. — Вон уже вторая смена пришла.

Интернатовцы нехотя выбрались из-за столов, потянулись гурьбою в сенцы.

Давид тоже оделся.

— Слам лежурство — забегу, — сказал Жарас. — Пилу подточили?

— Ладно. Оставим на следующий раз, — ответил Давид. — На эту неделю дровишек пока хватит.

— Сау бол, Давид Павлович. — Калау подал свою мясистую беспалую руку. — На концерт приходите. И со скрипкой.

— Приду, приду. Обязательно.

IX

Die Liebe aus der Ferne bleibt am längster warm[1].

Давид удивился, застав брата за столом. В телогрейке, шапке, обернувшись к тому же одеялом, он склонился над пожелтевшим листом бумаги, вырванным из старой амбарной книги, и что-то сосредоточенно чертил. Он был так увлечен этим занятием, что не обратил внимания на вошедшего Давида. Тяжело, с хрипом дыша и привычно покашливая, Христьян вымеривал линейкой какие-то квадраты, очерчивал их карандашом, задумывался, приговаривал: "Зо, зо... Дас вар ди майштубе... унд хир вар ди кюхе"... Так, так... это — западная сторона, а это — северная сторона... Так... дальше... вайтер".

— Кхм-м... над чем колдуешь? — поразился Давид.

Христьян на мгновение оторвался от бумаги, слегка смутился.

— Знаешь, прошлой ночью мне так явственно приснился наш дом, все подворье, что решил его запечатлеть на бумаге. Чертеж, разумеется. В чем-то, быть может, я запутался, вот ты мне и поможешь.

— Зачем это тебе?

— Как зачем? Расчерчу все, как было. Повешу у изголовья, буду смотреть и вспоминать. На душе приятно и тепло. А может, кому-нибудь и пригодится.

— Кому?

— Ну, хотя бы Гарри. В будущем...

---

[1] На чужбине и любовь теплится дольше *(нем.)*.

" Так, так... здесь была гостевая комната... а здесь — кухня.

Давид пристально посмотрел на брата. Не свихнулся ли? Что вдруг взбрело ему в голову? С хворью быстрее бы справиться, на ноги встать, а не душу травить воспоминаниями о прошлом. Как можно жить, все время оглядываясь назад? Может, в том спасение от убожества и скудости настоящего? Чем бы дитя не тешилось...

— Зачем тебе чертеж оставленного дома? И дом, и палисадник, и подворье, и все пристройки, весь скарб запечатлены у меня на фотографиях.

— И где они?

— У Лиды все осталось. Одних стеклянных негативов целый короб.

— "У Лиды... у Лиды"... — задумчиво проговорил Христьян. — Что с возу упало, то пропало.

Давид давно знал: брат Лизу не жаловал. Недолюбливал с самого начала. Но эту его устойчивую неприязнь Давид и не пытался развеивать. И вообще разговор об этом был неприятен. Действительно, кто знает, что стало с его фотографиями, негативами, справочниками по медицине и разными личными вещичками, оставленными в суматохе депортации у Лиды. Особенно теперь...

— И что у тебя получилось?

— Смотри! — Христьян придвинул лист к брату. — Может, что не так?

Мелким каллиграфическим почерком вверху было написано по-русски: "Сосновый дом и усадьба братьев Эрлихов в селе Мангейм в АССР НП, оставленные в 1941 году".

— Та-ак... — Давид вгляделся в чертеж. — Подожди, как тут ориентироваться? Без компаса не разберешься.

— Не надо компаса. Все просто. Левая сторона — запад. Помнишь — прямой переулок, через гумно на поле, в сторону села Розенталь.

— Представил. В сторону станции "Плес", значит.

— Верно. А правая сторона — восток. По соседству жил Думлер.

— Не Думлер, а Самуэль Гертер.

— Не путай. Самуэль жил потом, а до него был Думлер.

— Так. Выходит, главные большие ворота выходили на север?

— Ну, да. Вот они, главные ворота. А вот сам дом. Двойными линиями очерчен.

— Зимний?

— Ясное дело. Летняя кухня, бакхаус, с печкой и плитой, со складом и погребом находились вот здесь.

Давид пристальней всмотрелся в чертеж и почувствовал, как вдруг сильнее заколотилось сердце. Память всколыхнулась, живо подсказывала все подробности. Это был отчий дом, в котором выросли пятеро братьев и две сестры Эрлихов, где и он, Давид, прожил свои детские и юношеские годы вплоть до тридцатого года, когда он уехал на учебу на рабфак, потом семь долгих лет служил в РККА, а позже работал в Солянке, Мпусе, Гнаденфлюре и наведывал родную усадьбу лишь изредка и накоротке. Все верно: вот палисадник с тремя яблонями и пышным цветником, вот усыпанная песком дорожка между зимним и летним помещениями в глубь двора, которую трижды на дню тщательно подметала покойница-мать (Давид мгновенно представил ее, высокую, сухопарую, в длинной черной юбке, в просторной кофте, в фартуке, в платке, носатую, узколицую, в глубоких морщинах, сурово-молчаливую, со строго поджатыми губами, рано состарившуюся от непосильных трудов и бесконечных забот большой семьи), здесь вот вход в немалый сосновый дом, сначала идет веранда, потом, сбоку, — кладовка рядом с кухней, затем малая комната, от нее вход в зал, из зала дверь, двустворчатая, с узорами, в так называемую длинную комнату — спальню. Добротный, просторный, сухой был дом. Здесь находилась печка. Ее топили с кухни, но обогревала она сразу три комнаты. В спальне, помнится, всегда бывало сумрачно и прохладно. В большом доме жили, главным образом, только зимой, всего три-четыре месяца в году, в остальное время обитали на летней кухне, во дворе, а в страду на поле, на бахче, на стане. Места хватало всем. Работы — тоже, с лихвой. Вкалывали, горбились на крестьянской усадьбе, как водилось, от зари до зари. Осенью справляли свадьбы, с духовыми оркестрами, всей деревней. "Хопса-польку", с визгами, криками, свистом, плясали до седьмого пота, построившись парами, на спор. С размахом, шумно и азартно, отмечались и другие праздники — Рождество-вайнахтен, пасха-остерн, новый год, конфирмация, позже к ним добавились кое-какие

революционные торжества, которые, впрочем, особой популярностью и почестями не пользовались. На редких праздниках веселились от души, а вся остальная жизнь состояла из работы, работы, работы до одурения. Утешали себя: Arbeit macht das Leben süß — работа услащает жизнь.

В небольшом отдалении от летней кухни за высокой изгородью располагался птичник. Сколько гуляло по двору индюков, гусей, уток, кур, цыплят, бывало, никто толком и не знал. За птичником находилась конюшня. В лучшие времена лошадей имелось до шести голов. Они составляли в хозяйстве основную тягловую силу. Без лошадей, само собой, ни пахать, ни сеять, ни косить, ни убирать урожай. Лошади были украшением и состоянием любого подворья. Между конюшней и хлебным амбаром, под навесом, содержался сельскохозяйственный инвентарь — одно- и двухлемешный плуг, борона, молотилка, сенокосилка, телега, рыдван, сани, упряжь и прочие предметы, без которых крестьянин как без рук.

— Это у тебя что? За конюшней.

— Здесь складывали навоз. Он шел на удобрение. Его мешали с соломой, нарезали большими кусками, как кирпичи, и использовали, как топку.

— Знаю. Mistholzstein. Сам месил. А рядом — помойная яма.

— Да. Вот кружок.

— Все верно. А дальше что?

— Дальше — огород. Правда, до огорода был пустырь, старые заброшенные постройки.

— Вот тут-то ты и дал маху. Эти заброшенные постройки, пустырь, как ты говоришь, были на самом деле продолжением скотского двора. Ты это уже не застал. Или слишком мал был, не запомнил.

А он, Давид, все хорошо помнил. В каждом крестьянском доме в степной части Поволжья держали немало скота. Так и у них, Эрлихов, до двадцатых годов был на подворье, у самого огородного плетня, большущий сарай для коров, бычков и телят, а рядом, менее вместительная овчарня, а потом стоял отдельный сарай, высокий, с сеновалом, для верблюдов. Да, да... все это было. Все вместе это и составляло крестьянское хозяйство, усадьбу. А за скотским двором находился огород, небольшой, соток на сорок-пятьдесят.

— При мне этого не было.

— Я и говорю: не помнишь.

Действительно, после голодного двадцать первого года хозяйство пришло в упадок. Тотальная разруха на Волге не пощадила никого. Как не билась истовая лютеранка-мать, как не уповала на Бога, как ни старались подросшие братья и сестры, счастье отвернулось от всех. Все разладилось за два-три года. Не стало ни верблюдов, ни другого былого поголовья скотины. Еле-еле сберегли одну коровенку, одну мосластую лошаденку, несколько коз да десяток кур. Правда, потом, на исходе двадцатых годов, вновь блеснул было луч надежды, дела пошли было чуть на лад, подворье слегка ожило, но былой достаток уже не вернулся. Вскоре один за другим поженились старшие братья, обзавелись своим хозяйством, сестры, Эмилия и Гермина, вышли замуж, быстро обросли детьми, отец, подорвавшись на непосильной крестьянской каторге, скончался, а мать с младшеньким Христьяном остались на скромной, опустошенной усадьбе куковать одни. Надежды на Давида не было: он покинул захиревшее село, устремился к новой жизни, искал свою судьбу в больших городах. Потом по поволжским селам прокатился еще один голодный год, за ним началась коллективизация, все разом пошло вкось и вкривь, голытьба деревенская осатанела, начала устанавливать свои плебейские порядки, истинных тружеников записали в кулаки и подкулачники, полдеревни выселили, отправили в Сибирь, и старики поговаривали, что нечто такое творилось на Волге в те далекие времена, когда на эти дикие, запущенные земли начали обосновываться первые поселенцы-колонисты, на которых то и дело совершали опустошительные набеги степняки-кочевники. Со временем оставшийся люд, уцелевший после бесконечных испытаний — гражданской войны, советизации, коллективизации, раскулачивания, чистки рядов, воспитание нового поколения, оглушительных лозунгов — приспособился к новому житью-бытью, приноровился к властям, к нервному порывистому времени, и жизнь вновь заметно налаживалась, появился достаток, в деревнях вновь загремели духовые оркестры, играли пышные свадьбы, молодежь потянулась к учебе, к культуре, оживленно стало в клубах, школах, библиотеках, появилось радио, издавались книги, журналы, газеты, образовались техникумы и институ-

ты, колхозники ездили на сельхозвыставку в Москву, служить в Рабоче-Крестьянской Красной Армии считалось приятным долгом, гордостью, словом, всюду царил явный подъем, а Советскую социалистическую автономную республику немцев Поволжья по многим показателям объявили образцовой. Даже великий усатый вождь отозвался о ней благосклонно, а на приеме колхозников-передовиков в Кремле, увидев поволжских колхоз-бауэров, даже поприветствовал их, вскинув руку, со словами: "Рот Фронт!" В самом конце 30-х годов опять повеяло тревогой, поговаривали об опасности бесноватого Адольфа, о возможности войны, однако простой люд, усыпленный назойливыми и горластыми агитаторами, был уверен, что Красная Армия при необходимости так щелкнет фюрера по носу, что от него останутся лишь рожки да ножки. В селах продолжали ликующе петь:

Wolga, Wolga, du bist breit,
Wolga, Wolga, du fließt weit.
Aber solches Glück hast du nie gesehn,
Aber solches Glück hast du nie gesehn[1].

— Смотри: здесь, значит, был коровник, на этом месте — свинарник, тут овчарня, а в этом углу — сарай для верблюдов. Все отдельно. И в каждом хлеве порядок.

— Чтобы все это изобразить, листа не хватит.

— Возьми еще один и подклей. Только тогда получишь полное представление о крестьянской усадьбе. И так было, пожалуй, во всех деревнях. Конечно, были подворья побогаче, были — беднее, но планировка усадеб выглядела примерно схожая. У иных имелись сады — загляденье. У других — огороды с колодцем, с поливным устройством, с запрудами. Кто трудился — тот и жил. На лоботрясов не равнялись. Их презирали.

— Ну, да. Как говорят, nicht jedes Feld trägt jede Frucht[2]. Может быть, потому здесь, в аулах, и нет таких подворьев.

---

[1] Строки из раннего гимна Автономии немцев Поволжья:
Волга, Волга, ты широка,
Волга, Волга, ты течешь далеко,
Но такого счастья ты никогда не видала.

[2] Не всякое поле одинаково плодоносит.

— Здесь, между прочим, условия лучше. Простор, чернозем, снега, дожди, леса, озера, река — все есть. Просто уклад быта, традиции, нравы, порядки, представления иные. Со временем, надо полагать, все будет по-другому. Все хорошее терпеливо культивировать нужно. Наши предки многие навыки привезли из Европы сто пятьдесят лет назад.

— Уже больше, — поправил Христьян. — Первое поселение колонистов на Волге, Нейруслан, было обосновано 14 июля 1764 года.

— Так точно! — удивился Давид. — Откуда знаешь?

— Ну, как откуда?.. На рабфаке разве о том вам не говорили? Учитель Штраус в техникуме нам все уши прожужжал про "Lied vom Küster Deis"[1]. По любому поводу цитировал. Там прямо сказано об основании первого немецкого села на Волге.

— Впервые от тебя слышу.

— Ну, как же?.. Сейчас вспомню. — Христьян наморщил лоб, прикрыл глаза. — Вот:

Die Ruslaner Väter waren
Auch vor hundertfünfzig Jahren
Aus Europa emigriert.
Hatten sich laut Manifeste
An der Wolga etabliert.[2]

— Hundertfünfzig Jahren... Сто пятьдесят лет? Когда же это было написано?

— В 1913 году. Сочинение Давида Куфельда. Село Нейруслан обосновано в 1764 году, выходит, мы в России обитаем уже ровно сто восемьдесят лет.

— При Екатерине Великой, значит.

— Конечно. Сказано же: "Laut Manifeste". Согласно, значит, манифестам кайзерин. И каково было нашим предкам тогда? Можешь себе представить. Похлеще, пожалуй, твоего нынешнего положения. Вот слушай:

---

[1] "Сказ о дьяке Дайсе".

[2] Отцы села Руслана за сто пятьдесят лет эмигрировали из Европы. И согласно манифесту обосновались на Волге (*подстр. перевод*).

Lange hatten sie zu leiden
Von der Horden roher Heiden,
Wild sahs an der Wolga aus:
Finstre Wälder, Fiebersümpfe,
Weit und breit kein Dorf, kein Haus![1]

— Так оно, наверное, и было? Я еще в детстве слышал от немцев, каково пришлось нашим предкам...

— Так было. Кругом дикие степи. Деревни начали строить на пустом месте. Немало народишко полегло, пока обустроили, облагородили тот край.

— И никто до наших предков на этих местах не жил?

— В древности, Бог весть когда, якобы обитали какие-то племена. Скакали по необъятным просторам на низкорослых лошаденках наперегонки с перекати-поле. Гуннами их называли, скифами или сарматами — точно не скажу. Ты же видел, наверное, разные курганы, насыпи, холмы. Их еще в пятнатые годы усердно раскапывал профессор-археолог Паульь Рау. Он же в Энгельсе, тогда еще в Покровске, историко-краеведческий музей создал. Совсем молодым покончил счеты с жизнью. Нас, учащихся техникума, как-то возили на экскурсию. Чего там, в том музее, только не было: кости, луки, колчаны, секиры, ножи, монеты, украшения, черепки, бусы, кораллы, наконечники, пластины. Некая сарматская культура, бронзовый век. Учитель истории Штраус все время говорил нам: обратите внимание на названия рек, прудов, местности, холмов. Они звучат не по-русски и не по-немецки. Это отголоски истории сарматов. В самом деле, на территории нашей автономии встречались названия Ахмат, Карамыш, Караман, Торгуй, Кушум, Камыш, Камыш-Орда, Хапмай, Тарлык, были еще Ной-Тарлык и Тарлыкфельд. Даже Саратов означает "Желтая гора".

— Все это звучит почти по-казахски! — заметил Давид.

— Возможно. Эти загадочные сарматы, может, сородичи нынешних казахов.

— На Волге говорили "киргизы".

---

[1] Долго терпели они муки от степей суровых орд, дико было все вокруг: леса дремучие, малярийные болота, кругом ни дома, ни деревни (*подстроч. перевод*).

— Ну, киргизами на Волге называли всех подряд — и калмыков, и башкир, и татар, и ногайцев, и казахов. Немцы их не различали, как и русские — западных народов. Говорили "немцы" и все, хоть и были они датчане, шведы, итальянцы, голландцы. "Немые" — и весь сказ. Так и волжские немцы говорили: "киргизерштеппе", "киргизерхенгст", "Калмыцкая гора", "Калмыкский бугор", "киргизский курган".

— Вообще слово "казах" я услышал впервые здесь. Да и в учебниках писали "киркрай", "киргизская автономия". А теперь говорят, что киргизы — совсем другой народ, хоть и похожий.

— Помнишь, в немецких деревнях часто пасли скот киргизы. Они по-нашенски лопотали. Почему-то их всех звали Ахмет, Махмет, Махмудка, Абдулла. А были они казахами. Толк знали в лошадях. И ели конину, а свининой брезговали.

— Слышал, в старину якобы киргизы совершали набеги на немецкие колонии, забирали молодых мужчин, женщин, детей в плен, продавали их в рабство.

— Так было. Эти случаи описаны в истории, в сказах. В том же "Lied vom Küster Deis" очень наглядно описывается нападение blutige Barbaren на Мариенталь во время осенней уборки еще в 1776 году. Потом известен опустошительный набег степных орд на Нойруслан. Было, было... Была даже пьеса о Киргизе-Михеле и его прекрасной возлюбленной Ами.

— Знаю. Видел постановку. Когда на рабфаке учился, ставили. Помню сцену. Вдруг в мирное село врываются лихие кочевники в рваных, наизнанку, шубах, в мохнатых бараньих шапках-ушанках, в огромных сапогах, с плетками, с ором: "Аллах акбар!" и волосяной веревкой связывали и уводили девушек-немок. Потом эту пьесу признали политически вредной и запретили.

— Пьесу запретить можно, историю не запретишь. Что было, то было. И потомки тех кочевников ни в чем не виноваты. Как не виноваты и мы перед советской властью. А то, что своего прошлого не знаем, — беда.

Христьян задумался, помолчал, погрузился в чертеж. Давид пристально посмотрел на него, будто видел впервые. В который раз он поймал себя на мысли, что плохо знает брата. Христьян был самый младший в семье и с детства отличался от братьев. Был тихий, замкнутый, учился легко, увлеченно.

Незаметно окончив семилетку, подался в педтехникум, после окончания его учительствовал в родном селе. Не расставался с книгами, что-то записывал в толстые общие тетради. Писал заметки в кантонную газету. Ни с кем не советуясь, поступил в двухгодичный учительский институт в Энгельсе, но проучился лишь один год. Мать недоумевала: ну, зачем нужно до полночи сидеть над книжками, жечь напрасно керосин, неужто божьего дня мало... Другие бурши-увальни ночь напролет с девками бегают, зазнобу подыскивают, а то и женятся, о хозяйстве заботятся, а ее поскребыш, гелертер, в облаках витает, пыль бумажную глотает, записывает разные глупости у выживших из ума деревенских стариков — изречения, стишки, песни, сказки, загадки, дразнилки. Старшие братья были настоящими бауэрами, понимали толк в житье-бытье: Хайнрих бригадирствовал в поле, Фриц умудрился стать продавцом в сельмаге, Вильгельм подался в ветеринары, Давид выучился на военного лекаря, а Христьян выбился в учители, казалось бы, что еще надо, так нет, непонятные прожекты строил, все к чему-то стремился, говорил мудрено, не как все, по-книжному, витиевато, и в деревне даже подтрунивали над ним и его заумной речью. Давид, рано уехав из родного села, жадно тянулся ко всему русскому, в душе полагая, что все настоящее, стоящее, будущее, передовое связано с русским языком и культурой русских, и в жены выбрал себе русскую, что особенно расстраивало, огорчало мать, не говорившую по-русски ни слова. Немецкие струны в его душе за годы учебы в больших городах и долгой службы в армии заметно ослабли. Он часто ловил себя на том, что ему легче выражаться по-русски и даже писал по-русски охотнее, чем по-немецки. Уклад немецкой деревни он воспринимал как нечто безнадежно-патриархальное, отсталое, отжившее, ненужное, мешающее подлинному интернационализму. Культивировать в себе все русское считал главным достоинством, первым признаком и необходимостью нового советского человека. Христьян, наоборот, подчеркивал свою немецкость, старался свободно и выразительно говорить по-немецки, не довольствуясь обыденным, бытовым диалектом, мешаниной-каудервельш, читал немецкие книги, заучивал стихи немецких классиков, монологи из драм Шиллера, интересовался историей немецких колонистов в России, собирал деревенский

фольклор, что по представлению братьев вообще казалось малопочтенным занятием, пустой забавой. И Давид воспринимал своего младшего братишку всегда пацаном, со снисходительным превосходством бывалого человека. И тем более было ему любопытно слушать сейчас этого "пацана", надорвавшегося в трудармии, сломанного физически, и убеждаться в том, что он совсем не такой, как ему все эти годы представлялось, что он, несомненно, начитанней его, и голова его устроена совершенно по-другому, что он размышляет о том, что его, Давида, до поры до времени почти не интересовало, не трогало.

Пока Христьян сосредоточенно вычерчивал на плане второй скотный двор усадьбы Эрлихов в Мангейме, Давид выдвинул из закутка за печкой ручную мельницу, расстелил под ней клеенку, достал из-под топчана заветный мешочек с провеянной пшеницей и принялся молоть. Круглый, тщательно обточенный жернов плотно сидел на камне-поставе, и сухое зерно перемалывалось в мелкую, мягкую, пушистую муку.

— Ты что надумал? — поднял голову Христьян.

— Решил устроить воскресный ужин. Со вчерашнего остался мясной бульон. Сварганю клецки. Из пшеничной муки!

— И получится у тебя?

— А что? Не забывай, ты еще без штанов ходил, когда я уже поваренком работал в полевой бригаде. Вареники, шницельзуп, ривельзуп варил — объедение.

— Ну, ну... — усмехнулся Христьян.

Хрр-тук, хрр-тук, хрр-тук — скрипел-постукивал, скрежетал-шуршал жернов. Давид одной рукой ритмично вращал ручку, другой — ссыпал в отверстие посередине жернова небольшими пригоршнями отборное, крупное зерно, любуясь, как из желоба струилась белая, с желтизной мука. Христьян продолжал чертить.

— А наш Мангейм тоже подвергался набегам кочевников? — нарушил паузу Давид.

— Скорей всего, нет. Это ведь были уже более поздние времена. Тогда колоний было уже много, да и жителей — тоже. Колонии Гнаденфлюрского кантона — поздние образования. Село Гнаденфлюр обосновалось в 1850 году. Значит, когда нас выселили, ему еще и ста лет не было. Годом раньше был построен Зихельберг. А Мангейм возник в 1860 году.

Я это изучал, знаю. Кстати, Мангеймов в России было аж четыре — на Волге, Украине, Кавказе, еще где-то.

— Выходит, наш отец не в Мангейме родился?

— Нет. Он родился в 1861 году. И переехали Эрлихи в Мангейм из Кинда, обоснованного в 1768 году. Значит, Эрлихи, по всему видать, относились к переселенцам первого потока.

— Любопытно...

— Да, история всегда интересна. Учитель Штраус учил нас по карте автономии немцев Поволжья. Назубок знал даты возникновения всех колоний, толковал происхождение каждой деревни, каждого села, образование дочерних колоний. И нас уговаривал заниматься этим. Он знал и их русские названия. Жаль, нет карты. Я мог бы тебе многое объяснить.

— Да-а?!.

Давид перестал крутить ручную мельницу, вскочил, накинул на плечи шинель и бросился к выходу. Через минуту Христьян услышал, как скрипнула дверь в медпункт, а вскоре Давид вернулся с плотным листом бумаги в руке и торжественно положил его на стол перед братом. Тот, едва взглянув, изумленно воскликнул:

— Ого! Вот это сюрприз!

Это была фотокопия карты АССР Немцев Поволжья 1935 года. Христьян жадно впился в нее глазами, весь напрягся, голос его задрожал.

— Ах, надо же! Сохранил, уберег! Какое чудо! — Он начал читать. — Zusammengestelt von der Landabteilung bein V.K. für Landwirtschaft der ASSR d.W.D. im 1935 in 1cm 5 km[1]. Все как на ладони. Вся наша родина! Прелесть!

Христьян сразу нашел столицу автономии г. Энгельс, Волгу, которая разделяла автономию на две неравные части — на правобережную, горную часть — Bergseite и левобережную, луговую или степную часть — Wiesenseite. На карте было отмечено все — центры кантонов, МТС и совхозов, сельские советы, речки, леса, границы республики и кантонов, дороги. В глаза сразу бросились родные места — Мангейм, Гнаденфлюр, Мариенбург, Зихельберг, Миус, совхоз Спартак, станция Плес, Зеельман, где учился в педтехникуме. Губы поневоле

[1] Составлена отделом земли при Народном Комиссариате по земледелию АССР немцев Поволжья в 1935 г. Масштаб: 1 см — 5 км.

шептали немецкие названия сел и местностей менее трех лет назад порушенной, распущенной державной волей автономии.

— Карта родины, которой нет... — тихо произнес Христьян, и глаза его повлажнели. — Ты бы повесил ее на видном месте.

— Скажешь тоже! Увидят, донесут, по головке не погладят. Такую статью пропишут — не возрадуешься. Я только тебе ее и показываю. А держу в коробе под лекарствами в медпункте. Иногда, один на один, случается, разглядываю, вспоминаю.

— Ты ее непременно сбереги. Это ведь такая память. А что нам, кроме памяти, еще остается? Все остальное отнято, пошло прахом.

Давид домолол чашку пшеницы, аккуратно, крылышком куропатки ссыпал муку в деревянный, плоский поднос, подсолил теплую воду, принялся месить тесто. Неожиданный стук в наружную дверь прервал его занятие. Христьян вздрогнул, перевернул карту, сунул ее под лист с чертежом отчего дома.

Вошли чуть смущенные Иоганн и Олькье Вальтеры. В два голоса поздоровались:

— Шен гутен tag!..

— О, милые гости, проходите. Случилось что?

— Нет, нет, Vetter David. Не беспокойтесь. Зашли просто проведать вас. Воскресенье ведь. Извините, если не вовремя.

— Ай, оставьте всякие цирлих-манирлих. Располагайтесь. Царским ужином, кстати, угощу вас сегодня.

— Ах зоо? Интересно! И что это будет?

— Клецки! Из пшеничной муки!

Олькье зыркнула черными глазищами на ручную мельницу, на муку на подносе, сразу все смекнула, скинула пальтишко, подкатила рукава вязанной кофты.

— Позвольте похозяйничать? — мило улыбнулась она и бросилась к рукомойнику, ополоснула руки. Не заметив фартука, тотчас ловко обвязалась полотенцем.

— Пожалуйста, — растерялся Давид. — Рад такой подмоге.

Олькье, раскрасневшись, деловито принялась месить тесто. Давид засуетился вокруг, переминаясь с ноги на ногу, не зная, куда себя деть. Достал скалку, загремел кастрюлей, подкинул в печку полено поувесистей.

— Vetter David, доверьте все мне. Я справлюсь.

— Гут, гут, — забормотал, сконфузившись, Давид и отошел в сторонку.

Иоганн тоже поборол смущение, развернул сверток, принесенный с собой, разложил на поленьях возле печки несколько крупных, слегка застывших на морозе карасей и красноперок.

— Откуда?! — вырвалось у Давида.

Иоганн по-мальчишески ликовал, довольный произведенным впечатлением.

— Это Антон с Гарри расстарались. Пошли на старицу, продолбили лунку, и рыба сама поперла. Прямо садком вычерпали пару ведер. Старица нынче промерзла почти до дна. Видно, рыба задыхаться стала, поднялась наверх.

— Вот это удача!

— Повезло! Правда, рыбаки промерзли насквозь, теперь сидят у печки, обогреваются.

Тусклая бобыльская комнатка при медпункте сразу повеселела. И огонь в печке запылал ярче, и вода на плите забулькала громче, со свистом и шипением, и запах свежей рыбы приятно щекотал ноздри и Олькье с таким усердием месила тесто, что видно было, как ходили ее лопатки под ветхой кофточкой.

Мужчины уселись вокруг стола, заговорили о том, о сем, о житье-бытье, о скудных аульных новостях.

В немецких деревнях на Волге так было принято: по воскресеньям работать считалось грешно, это было уделом разве что отпетых безбожников. По воскресеньям полагалось отдыхать. Пока были кирхи (на Волге говорили "керхь"), непременно ходили на богослужение, слушали проповеди. Потом, вернувшись домой, долго и обильно обедали, усердно и охотно истребляли впрок заготовленные жаркое, тушеную капусту с постным маслом, гречневую кашу со свининой, студень с хреном и горчицей, огромные ривелькухи, пироги, варенники, компоты, штрудели со шнапсом для взрослых, с бражкой для женщин и неженатых парней, с сиропом для малых. На стол ставились разные соленья, варенья, сушеные и мороженые ягоды. После сытного обеда было принято часа два всласть поспать, а вечером, с наступлением сумерек, собирались в чей-нибудь дом, курили до одурения самосад, неторопливо обсуж-

ли деревенские и окольные новости, грызли подсолнечные и тыквенные семечки; женщины судачили на кухне, перемывали всем знакомым косточки; молодежь собиралась отдельно, устраивала незатейливые игры, шутила и балагурила, пела в три голоса под гитару, балалайку, мандолину, цимбалу, скрипку или гармошку. Редко кто не играл в немецких деревнях на музыкальных инструментах. Малышня забиралась на огромные печки со встроенными котлами, резвилась на расстеленных старых овчинных шубах, лакомилась дешевыми городскими конфетами, леденцами-петушками, озорничала от души. По воскресеньям, на посиделках, взрослые относились к детским шалостям и забавам снисходительно.

Позже, при сплошной советизации и коллективизации, с появлением изб-читален, красных уголков, ленинских комнат и клубов, эти традиции понемногу ушли на убыль. Партайменнер и комсомольцен умудрялись по любому поводу устраивать субботники и воскресники, и былые воскресные сборища, посиделки по домам стали со временем забываться. Новая власть не поощряла подобное времяпрепровождение. И лишь пожилые люди, большей частью верующие, лишенные кирхи, продолжали собираться, с опаской оглядываясь на своих внуков-охальников, повязавших шею красным галстуком.

Все это вспомнил сейчас Давид, радуясь оживлению в его холостяцкой квартире.

В ударе был сегодня Христьян. Пока Олькье увлеченно хлопотала у печки, он неожиданно повел разговор в русло старинных немецких песен и основных их мотивов. "Ну, подумайте, вспомните, — настаивал он. — О чем больше всего и чаще всего, проникновенней всего поется в немецких песнях?"

Все задумались.

— Ну, конечно, о любви, — сказала, зардевшись, Олькье.

— Верно, — сразу согласился Христьян. — Но это главное во всех песнях и у всех народов. И немцы тут, понятно, не исключение. Но есть один, едва ли не сквозной мотив, на который обращал наше внимание учитель Штраус в техникуме. Ну, вижу, вы не догадаетесь. Это тема утраченной родины, покинутого родного дома, странствования, скитальчества. Ну, кто вспомнит хоть одну строчку из народной песни об этом?

— Müde kehrt ein Wanderer zurück[1], — тотчас подсказала Олькье, и Иоганн подхватил вторую строчку этой популярной песни.

— ...nach der Heimat seiner Liebe Glück...[2]

— Браво! — воскликнул Христьян. — Молодцы, Вальтеры! Сразу нащупали самую суть, самый нерв, самые ключевые слова. — Wanderer и Heimat. Путник и родина. Еще?

— "Ich wandre in die weite Welt auf Straßen und auf Gassen..."[3], — не совсем уверенно напел Давид.

— Richtig! Правильно! Еще...

— Ну, раз речь зашла о "die weite Welt", то приходит на память детская песенка про маленького Ганса, — вновь подала голос и тихо пропела Олькье:

"Hänschen klein ging allein
in die weite Welt hinein..."

И все дружно подхватили знакомую с детства незатейливую мелодию:

"Stock und Hut stehn im gut,
ist ganz wohlgemut..."[4]

Давид неожиданно для всех высоким голосом затянул следующий куплет:

"Sieben Jahr, trüb und klar,
Hänschen in der fremde war..."[5]

— Ist das aber wunderbar![6] — еще более оживился Христьян. На запавших щеках его выступили алые пятна. — Может, еще что-нибудь вспомним?

— "Und morgen, da müssen wir wandern"[7] — не в лад, хрипло начал было Иоганн и сразу осекся. — А дальше и не помню.

---

[1] "Усталый путник возвращается домой..."
[2] "на родину — к счастью своей любви".
[3] "По улицам и переулкам отправляюсь в белый свет..."
[4] "Маленький Гансик одиноко бредет, по белому свету один, посох и шляпа ему так идут, и настроен он благостно, добро" (*подстр. перевод*).
[5] "Семь лет, печальный и ясный, Гансик пробыл на чужбине..."
[6] Вот это чудесно!
[7] "И завтра должны мы отправиться в путь..."

Все рассмеялись, а Олькье заметила:

— Еще я помню: бабушка за веретеном всегда про себя тихо напевала — "Schaukle, schaukle... schaukle der Heimat zu..."[1]

— Надо же! — восхитился Христьян. — Это старинная песня. Там есть такие слова: "Schifflein, Schifflein... Schifflein auf blauer Flut..."[2]

—Да, да... вспомнила. Грустная, трогательная песня, — подтвердила Олькье. — И еще была колыбельная. Ее пели детям перед сном.

"Ein Sträusslein am Hute,
Den Stab in der Hand
Geht lustig ein Wandrer
Vom Lande zu Land..."[3]

— Первый раз слышу, — заметил Христьян. — Дальше помнишь?

— Дальше так:

"Er trifft manches Städtchen,
Er trifft manches Ort.
Aber fort muß er weiter,
Muß wieder fort..."[4]

Давид залюбовался девушкой, не удержался, гулко захлопал в ладоши. Олькье вспыхнула от смущения.

— А вот "Das Verbannungslied"[5] никто из вас не помнит? — поинтересовался Христьян. Мужчины за столом переглянулись. — Да, в наших деревнях я ее не слышал. А в стороне Марксштадта ее поют во время застолий все. Очень популярная песня среди немцев. Ее, конечно же, как и все другие старинные песни привезли наши предки из Европы. Слова такие:

---

[1] "Плыви, плыви... плыви навстречу родине..."

[2] "Кораблик, кораблик... кораблик на голубой волне".

[3] "Букетик на шляпе, и посох в руке, весело странник идет по земле..."

[4] "Встретились ему разные города, разные места, но он должен идти дальше, опять уходить" (*подстр. перевод*).

[5] "Песня изгнанника".

So hat man mich gefraget:
"Was guält dich sehr?"
"Ich hab, kein Zuhause,
Hab keine Heimat mehr...
Ich kann nicht nach Hause,
Hab keine Heimat mehr!"[1]

Все слушали, затаив дыхание. Олькье у плиты застыла, обернулась, пристально впилась загоревшимися глазами в Христьяна.

— Gott, ach Gott! Это же о нас сказано... "Hab keine Heimat mehr..." — Глаза ее заблестели. — Боже, разреветься можно...

Христьян тоже с трудом унял волнение. Даже голос его изменился.

— Да, тоска по родине, по родному дому, невозможность иметь родины, вынужденное странствие по белому свету, неприкаянность, неизбывная тяга к родному очагу, одинокая судьба вечного скитальца, трагизм чувства бездомья — самый распространенный, душераздирающий мотив немецких песен. Мечется немец по всему свету, везде он пускает или, точнее, стремится пустить корни, обосновывается крепко, обустраивается, строит дом, но все равно это не его земля, все равно он точно чужеземец, изгой, странник, и дом его, где бы он не стоял, — дом скитальца, который у него каким-то фатальным образом непременно норовят отобрать.

— Никогда об этом не думал, — признался Иоганн. — Отчего так?

— Трудно сказать, — задумчиво и тихо произнес Христьян. — Коротко не ответишь. Рок какой-то... Должно быть, исторически так сложилось. Тесно было немцам в своих карликовых княжествах. Вечные опустошительные войны, бедность, болезни — чума и холера, поиски нового пристанища, тишины и покоя для праведных трудов, для вожделенной мирной жизни, стремление к своему крову, своему дому, своей усадьбе, к своей верной и возлюбленной фрау, к своим милым киндер, мечта об уюте, тихой, размеренной жизни среди родных и близких, об ухоженном... — Христьян захлебнул-

[1] "Вот и меня спросили: "Что тебя мучит, брат?" "Нет у меня дома, нет у меня больше родины. Не могу я вернуться домой, нет у меня больше отчизны" (*подстр. перевод*).

ся, осекся, поспешил, зашелся в мучительном кашле, но, оправившись, натужно продолжал, — об ухоженном садочке возле речки, лесочка, озера, пруда, среди зелени — вот откуда, думаю, все идет. Таков идеал немецкого духа. В поисках этого идеала и наши предки потоками устремились на призыв и приглашение российской кайзерин немецкого происхождения, которая посулила им этот рай на нетронутых русских просторах. И они обустроили эти просторы, вдохнули в них жизнь, превратили в сад, в остров благополучия, но подспудно всегда чувствовали, что они все-таки пришельцы, странники, и дом, который они с такой любовью, с таким тщанием воздвигли и обжили, все равно как бы не их дом, вроде как временное пристанище, дом скитальца, и его рано или поздно все же отберут, непременно отберут, ибо на него жадно зарятся другие. И так было всегда. Как только государство, в котором немец обретал приют, переживало трудные времена, виновниками всех бед, "козлами отпущения" тотчас становились пришельцы. И им приходилось сполна, дорогой ценой рассчитываться за грехи правителей. Это было так удобно и всегда беспроигрышно. На них, пришельцев, совершали набеги кочевники. Их грабила местная власть, их выселяли с места на место. Устраивали погромы. Их преследовал русский царь. В них видели тылы, оазис сытого довольства, шпионов и провокаторов, с ними связывали всевозможные беды. Их депортировали.

— Однако, если бы не Гитлер, мы жили бы тихо-мирно на Волге, — поправил брата Давид.

— Не знаю, не знаю... — Христьян поморщился. — Что Гитлер —провокатор, выскочка и негодяй, сомнения не вызывает. И шею он, конечно, себе свернет. Но немцев Поволжья все равно, и без Гитлера, со временем куда-нибудь подальше спровадили бы. Это как пить дать. Благополучие и благоденствие поволжских немцев давно уже вызывали неприязнь и зависть у высшей власти.

— Неужели?!.. Ты, думаю, тут неправ, — горячо возразил Давид. — Как-никак декрет о создании немецкой автономной республики подписал еще в восемнадцатом году сам Ленин.

— Не республики, а области, — поправил Христьян. — Ну, и что из этого? Это все политика. Ленину это было нужно вовсе не из-за его особой любви к поволжским немцам, хотя и поговаривали, что мать его была немка, а ради конкретных политических целей.

— Что за цели? — насторожился Иоганн.

— Ладно. Оставим политику, — решительно пресек разговор Давид. — Что мы здесь, в ауле, можем знать? Оставим!

— В самом деле... — сразу согласился Христьян, вспомнив, что брат не жалует разговоров о высокой материи и чересчур осторожен, бдителен, постоянно утверждая, что стены имеют уши. — Не нашего ума дело. Давайте лучше вспомним немецкие пословицы и изречения о родном доме. Ведь тема "дома" отразилась не только в песнях, но и в поговорках, Sprüche. Ну, кто вспомнит изречения со словами "Haus", "Heim", "Daheim".

— Ohne Haus kein Maus[1].— брякнул Иоганн и смутился.

За столом все рассмеялись.

— Ладно. Для начала и это сойдет. — улыбнулся ему Христьян.

— Ost und West, daheim das Best[2], — отозвалась у плиты Олькье, внимательно прислушивавшаяся к разговору мужчин. — Mein Nest ist das best.[3]

— Молодец, Олькье, — подбодрил ее Христьян. — Золотая головушка.

— Daheim ist man König[4], — тут же выдала Олькье.

— Не голова — Дом Советов, — съязвил Иоганн. — Откуда все знаешь?!

— Daheim ist der Himmel blauer[5], — вступил в игру Давид.

— Daheim ist daheim[6], — попал в струю на этот раз и Иоганн.

— Daheim kann einer ein Liedlein singen[7], — вспомнил Давид.

— Как я рад! — пришел в восторг Христьян. — Я-то думал, что вы ничего уже не помните, все забыли за эти годы. Выходит, кое-что в памяти отложилось. Очень рад! Ну, добавлю еще: "Der Hund ist daheim an stolz ensten", "Daheim ist Mann zwei", "Daheim ist gut gelehrt sein", "Die, in allen Orten wohnen, sind an keinem daheim"[8].

— И сколько таких пословиц! — вырвалось у Олькье.

---

[1] Нет дома без мышей.
[2] Восток и Запад, а дома лучше.
[3] Мое гнездо — лучше всего.
[4] У себя дома каждый король.
[5] На родине и небо голубее.
[6] Дома есть дома.
[7] Дома каждый горазд песню спеть.
[8] Дома и собака ходит гордо. Дома и силы удваиваются. Дома и ученье идет впрок. Те, что живут везде, не имеют дома.

— Вероятно, очень много, — продолжал Христьян. — Если подумать, и я еще десяток, пожалуй, припомню. В них звучит все та же тема, та же тоска. Это душа народа, его боль, любовь к дому, вечный зов и восторг.

— Хорошо говорите, Христьян. Красиво, возвышенно. Сразу видно, интересным учителем были. Я бы вас слушала и слушала, — призналась Олькье. — Но ведь ужин готов. И я вынуждена прервать вашу поучительную беседу.

— Прекрасно, Олькье! Мы и впрямь проголодались, — заметил Давид.

Мужчины встали, направились к рукомойнику, Олькье быстро расставила тарелки, миски, нарезала хлеб. В середине стола дымился, исходил сытным паром чугунок с клецками из пшеничной муки и поднос с печеными на противне подрумянившимися по краям карасями и красноперками.

— Вот что значит умелые женские руки! — нахваливал Давид Олькье. — Мастерица! Раз, два — и царский ужин готов.

— Ой, скажете тоже! — вспыхнула вся довольная девушка.

Ели молча, не спеша, обмениваясь замечаниями и улыбаясь друг другу. У всех был просветленный вид, словно некая тяжесть вдруг свалилась с плеч.

— Необычный получился вечер, — заметила Олькье. — Давно не слышала настоящей немецкой речи. Так жалею, что Гарри не пришел с нами. Ему было бы на пользу.

— Да ему легче по-казахски калякать. Что бы он понял? — улыбнулся Иоганн. — Я, признаться, не все понял. Откуда мне, кузнецу, знать такие слова? Но было приятно слушать Христьяна. Просвещенный человек! Будто дома, на родине, побывал.

— Конечно, — подхватила Олькье. — Я так разволновалась, слушая вас всех, что готова расплакаться.

— Не надо, Олькье. — Давид осторожно дотронулся до ее плечика. — Это все благодаря тебе. Ты украсила наш вечер. Спасибо!

— Христьян своими рассказами душу разбередил, сердце всколыхнул, память разбудил.

— Умница, Олькье! — благодарно заметил Христьян. — Чуткая душа. Самую суть уловила. Память... память... Что

нам, развеянным по свету, осталось? Ни родины, ни дома. Только память. Главное богатство скитальца. Все равно, какого — по доброй воле, поневоле ли. Память и есть наш дом. Получается: наш дом — бездомье. Все по-прежнему мечтаем о доме, тянемся к родному очагу. Но бездомными мы будем тогда, когда лишимся памяти. Дом скитальца —память. Пока в тебе горит память — ты жив. Где бы не обитал. Где бы не строил свой дом. Память — наша надежда. Ее всегда старались у нас отбить, отшибить. Едва ли не с того самого момента, когда наши предки вступили на российские просторы. А мы все сопротивляемся и храним, бережем нашу память. И в этом, видно, наше единственное спасение...

Разошлись поздно. Давид пошел провожать гостей. Пусто было в ауле. Снег скрипел под ногами, отзываясь эхом в лесочке за аулом. Стынь сковала мир. По тусклому, стылому небу плыла одинокая, в разводьях, луна.

Давид прислушивался к удаляющимся шагам растворившихся во мраке брата и сестры Вальтеров. Поеживаясь, посмотрел на небо. Вздохнул, вспомнив еще одну поговорку: "Wer unter den seinen ist, der ist daheim"[1].

Как это просто и верно! Надо обязательно напомнить Христьяну.

Когда Давид вернулся с мороза в дом, Христьян, уронив голову на карту АССР НП, спал. Рядом, под его рукой, лежал незавершенный чертеж соснового дома и подворья братьев Эрлихов из далекого и уже несуществующего поволжского села Мангейм. Что родное их село ныне именуется иначе, братья еще не знали.

X

Высоко в небе творилась метель, завывали, засвистывали шквальные ветры, метались разлохмаченные тучи, задевая верхушки могучих сосен и кедрачей. Там, точно в преисподней ада, стоял гул, накатывался исступленно и ненадолго смирялся, стихал, словно выдохшийся после неистового камлания шаман. Неведомые силы, вырвавшиеся на божий простор, сшибались яростно во взбаламученном поднебесье, грозя разнести

[1] Кто живет среди своих, тот дома.

в прах всю вселенную. Вверху бесновалась стихия, а внизу, под сенью векового леса, царила тишина, звенящая и зловещая. Хрр-хрр-скрр-хрипел, скрежетал иссиня-серый снег, отзываясь эхом в нескольких шагах. И невпопад, не в лад ему писклявo вторили лучковые пилы, упорно терзавшие, взгрызавшиеся в твердую, упругую плоть отборного леса. Желтые, бурые опилки пригоршнями усеяли белый, утоптанный снег у основания ствола. Невзрачные, молчаливые тени мелькали, колотились вокруг, пластались под деревьями, норовя им, застывшим в зимней спячке гигантам, перегрызть, перерезать, перебить жизнетворные жилы.

В одной из этих теней в непроходимой чащобе Христьян узнал себя. Да, да... это была его тень, нескладная, тощая, жалкая и беспомощная, хоть плачь. Казалось, она, такая немощная, вот-вот исчезнет, истает, растворится в зыбкой сутемени. И Христьяну пришлось напрячь все свое слабеющее зрение, всю оставшуюся волю, чтобы только не упустить из виду свою неприкаянную тень, и хотелось кинуться ей на помощь, прижать к себе, приласкать, пригреть, как потерявшуюся родную душу, отделившуюся от его бренной плоти, чтобы она слилась с ней вновь и устояла, не исчезла, не растворялась в мертвом снежном царстве. Но тень, как нарочно, норовила ускользнуть от него, вырваться, отделиться, юркнуть за елью и спрятаться. Это его пугало, ибо он сознавал, что вместе со своей тенью исчезнет и он.

Христьян устал, выбился из сил, гоняясь за ней, обреченно преследуя ее, стараясь не упустить ее далеко от себя. Тень кружилась, вертелась, мельтешила вокруг пышной ели и, казалось, едва слышно выпевала: "O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter..."[1] Христьян недоумевал: mein Gott, что она делает, совсем рехнулась, какая может быть здесь, в адовом лесу, песня, да еще про Tannenbaum, когда нет ни сочельника, ни рождества, ни Нового года, все это было давным-давно, в другом краю, в другом мире, среди других людей...

Христьян затравленно озирался вокруг: не приведи Бог, какое-нибудь чучело в полушубке, с винтовкою в руке услышит... вон оно стоит неподвижно неподалеку, тени сторожит,

---

[1] Популярная немецкая рождественская песня.

глаз не спускает... Какой ужас! Тень кружилась все быстрей, быстрей, лихорадочней, и слова столь знакомой с раннего детства песни убыстрялись, сужались, укорачивались, сливались в отрывистое: "баум", "баум", "баум", а потом и вовсе уплотнились, превратились в монотонный, все более громкий грохот: "бум", "бум", "бум", похожий на стук топора, и ель, дрожа всеми ветвями, стряхивая с себя пушистую навись, крепилась все заметнее, все сильнее и вдруг со страшным хрустом рухнула, всей своей огромной массой придавив, распластав, вдавив в сугробы невзрачную тень, и Христьян в тот же миг почувствовал, как он, наконец, настиг ее, слился с ней, сделал отчаянную попытку вытолкнуть ее из-под сраженной ели, но было уже поздно: пронзительная боль, точно тупым ножом, ударила, вонзилась прямо в сердце. Он закричал изо всех сил, хлебнул в смертном ужасе, длинно, долго, стараясь, чтобы истошный вопль его не оборвался, но тотчас похолодел от того, что голоса не было, совсем, совсем не было, даже хрипа, даже стона...

И опять он странным образом отделился от собственной тени, наблюдал за нею со стороны, видел, как она, распластанная, бесплотная, вдавленная в снег, беспомощно лежит под сраженной ею же елью. Христьян вдруг явственно ощутил, как жизнь вытекла из него, вышла вся, отлетела туда, к вершинам деревьев, в поднебесье, где все еще творилась неистовая метель. Mein Gott, mein Gott, mein Gott... что же это такое, что же это, что же это, что?!.. Теперь уже несколько таких же несуразных, нескладных теней, нелепо размахивая руками, точно подраненные птицы крыльями, сбежались, окружили его, вытащили из-под ели, откопали из-под сугробов и поволокли по кочкам, рытвинам, по снегу к страшному сараю, обиталищу усопших, возле колючей проволоки, где лежали вповалку оледеневшие трупы. И только чучела в полушубках, с винтовками в руках торчали неподвижно, точно статуи, на своих постах...

"Значит, я умер?.. я умер!.. я умер..." — мелькнуло в сознании Христьяна. И все? И это все!.. Все... Меня нет? Совсем-совсем нет? Ушел. Исчез. Растаял, растворился в вечном мареве. Канул в небытие. Переступил роковую черту. И это есть смерть? Та самая не-жизнь, которую все так страшатся? Всего-то?.. Так просто?.. Так легко?..

По кочкам, по колдобинам, по снегу потащили-поволокли его растерзанную, раздавленную тень и швырнули ее посреди кучи таких же бездыханных теней за колючей проволокой, и Христьян даже почувствовал облегчение оттого, что все кончилось и лежать ему отныне и навеки, и никто, никто, никто, никто не будет его тревожить, и неведома ему теперь и навсегда ни боль, ни тоска, ни страх, ни холод, ни голод... Теперь он был обречен на вечное одиночество...

Но тут к нему надвинулась еще одна зловещая, черная тень, он даже не заметил, откуда она выплыла, возникла как-то сразу, незнакомая и неотвратная, со странным увесистым предметом в руках — не то кувалда, не то дубина. "Что ты хочешь со мною делать?" — встрепенулся Христьян, обмирая. Черная тень распахнула беззубый, в щетине зев и показала куда-то рукой. Христьян скосил взгляд туда, куда указывала склонившаяся над ним черная тень, и прочитал знакомый лозунг: "Хочешь жить — убей немца!" Ба! Либер Хайланд! Это же тот самый плакат, который коротыш-начальник по культурно-просветительской части вывесил в столовой трудармейцев в зоне. Да, да, это та самая знаменитая фраза из громогласной статьи прославленного публициста с красивой немецкой фамилией. Фраза, которая расстреливала их, советских немцев, трудармейцев-смертников каждый день с того самого момента, как она прозвучала в популярной большевистской газете и облетела весь белый свет. Значит, черная тень послушна его воли и действует по закону высшей справедливости. Лишь убив меня, поволжского немца, она сохранит себе жизнь. Так? Какая несправедливая справедливость! Какое кощунственное возмездие! Какая высокая правда во имя жизни! "Но я же убит! Зачем меня еще убивать?" — обреченным голосом промолвил Христьян. "Пробить надобно череп тебе" — глухо, точно из бочки, прогудела черная тень. "Зачем?.. Я и так мертв. Не надо... умоляю". "Молчи, раз ты мертвый. А мертвым по инструкции положено пробить череп". "Mein Gott! Это же бессмысленно!" "Может быть. Но так вернее. Чтобы никогда уже не воскрес. Христос только потому и воскрес, что не догадались пробить ему голову"...

И черная чужая тень, похожая на чучело в полушубке, только без винтовки, широко замахнулась кувалдой и точно

ударила Христьяна по темени. Он закричал, что есть мочи, и на этот раз голос его прорвался из заколдованного небытия.

— Христьян, Христьян! Что случилось?! — бросился к нему Давид. — Очнись! Что с тобой?!

Христьян открыл глаза, с недоумением уставился на потолок. Зрачки расширились, будто расплылись. В невидящих глазах плескалась тревожная муть. Казалось, он выплыл, вынырнул из омута и не соображал, где находится, и не узнавал даже брата. Губы посинели. Во всем его облике было что-то чужое, пугающее, будто под одеялом и шубой лежал некий призрак.

— Христьян, Христьян, Христьян! — звал его Давид, суетливо хватая его кисть и щупая пульс.

Давид помертвел: рука брата была вялая, беспомощная. Пульс еле прослушивался. Лоб был холодный, влажный. Давид слегка похлопал брата по запавшим, щетинистым щекам, приподнял подушку. Христьян вздохнул, затрепетал ресницами, разлепил губы.

— Не... не... не беспокойся... Пока жи... живой... С-с-сон..., — заплетающимся языком тихо проговорил Христьян. - С-с-страшно...

— Ну, ну... успокойся. Сейчас, сейчас. — растерянно лепетал Давид. — Сейчас...

От испуга у него задрожали руки, ватная слабость подкатилась к животу, к ногам, мысли путались и в горле застрял еле сдерживаемый всхлип. Страх пронзил все его существо, и он даже не представлял, что надобно делать. Он кинулся к аптечке, намочил клочок ваты нашатырным спиртом, поднес осторожно к ноздрям Христьяна. Тот поморщился, вздрогнул, задышал глубже. Потом Давид раствором спирта потер брату виски, накапал в мензурку с водой несколько валериановых капель, влил ему в рот, затем дал запить кипяченой водой из кружки. Христьян медленно приходил в себя, нервно перебирал пальцами, водил вокруг глазами, словно избавляясь от только что пережитого кошмара.

Давид подогрел на плите отвар из шиповника и сушеной дикой вишни, напоил брата, еще раз пощупал пульс. Брат задышал глубже, но прерывисто, со всхлипами и хлюпанием в груди. "Плохи дела... — мелькнуло в подсознании Давида. Совсем худо... Кислороду бы..."

— Опять буранит? — тусклым голосом спросил Христьян. Даже не спросил, а как бы выразил свое сожаление и отчаяние по поводу опостылевшей пурги.

— Опять. Но, видно, последний перед весной буран.

— Либер Готт, как надоело... Не будет этому конца...

— Всему на свете бывает конец.

— Это так, — согласился Христьян, думая о своем. — Конец всему... Только кажется мне, будто с начала войны все беспрестанно буранит. Вроде до войны все время было лето, а как началась война — сплошная зима.

— Горе всегда долгое, а радость — коротка.

Действительно, в начале марта вдруг повеял мягкий ветерок, потянуло влагой, и снег под набиравшим силу солнцем начал было уже маслиться, но тут опять задуло с севера, нагнало вислобрюхие кудлатые тучи, солнце скрылось и вновь повалил снег, запуржило, завыло, да с такой яростью, будто зима спохватилась и решила напоследок крепко напомнить о себе. "Это бескунак, — гудел в бороду Есильбай, втолковывая Давиду. — Он неистовствует три дня подряд, без устали. Если за три дня не уляжется, то, считай, буранит семь дней. А, бывает, и девять дней без передыху. Это последний буран в году. Он прокладывает дорогу весне. Так заведено исстари".

От объяснений всезнающего Есильбая легче не становилось. "Бескунак" казался особенно затяжным и удручающим оттого, что люди, уставшие от холодов и метелей, уже настроились на весну, именно в эти дни Христьян вдруг начал резко сдавать. Хрипы в груди усилились. Сердце, по его словам, ворочалось, как бы тревожно замирало, дыхание затруднялось и от слабости темнело в глазах и кружилась голова.

Давид понимал, что брата надо бы показать районному врачу, свезти на рентген, посоветоваться, может, с кардиологом, но было очевидно, что в такую непогодь доставить его на санях в Марьинку невозможно. Рентгенокабинет, Давид знал, уже длительное время не работал. Врач, носатый, испуганный еврей из ссыльных поселенцев, выслушав Давида, развел руками: "Чем я помогу, коллега? Чудодейственных средств у меня нет. А по вашим словам, у брата вашего крайняя степень дистрофии со всеми побочными явлениями. Организм, видно, подорван. Что тут нужно в таких случаях, вы знаете сами. Питание, воздух, покой, терпение, уход".

Да, это Давид знал и сам. И на это он уповал больше всего. И старался в аулах доставать все, что было возможно. У районного аптекаря даже выпросил пузырек рыбьего жира. Но от него Христьяна только тошнило. Ложку пахучего густого рыбьего жира он принимал в себя с отвращением, закрыв глаза и судорожно водя кадыком на тощей шее. Особенно пугало Давида то, что брат вдруг скис, сник, смирился с худшим, неизбежным, уже не верил в то, что выкарабкается. Воля его оказалась сокрушенной. Никаких признаков улучшения не обнаруживалось. Наоборот, брат утасал на глазах.

Томился Христьян в предсмертном томлении. Ветер выл, сатанел. Выл протяжно, неистово, безутешно. У-у-у-у!... Потом на мгновенье затаил дыхание, будто набирался сил и вдруг сходу, ярясь, обрушивался шквалом. У-у-у-у-хрр-буум!.. Трещали бревна, сотрясались стены, дрожала, как загнанная лошадь, крыша, срывая дерновые пласты вместе со слежавшимся снежным настом.

"Астафиралла! — шептали старики и старухи в продуваемых убогих халупах. — Құдай сақтай гор! Упаси Бог! Пронеси беду!.." Дети зябко кутались в одежки, заворачивались в корпеши, жались к печке.

Вселенская кутерьма ярилась над крохотным аулом, замершим от ужаса.

Ветер доносил заунывный вой отчаявшейся собаки.

В мутных сумерках уходила жизнь из тщедушного, измученного тела Христьяна.

Мысль еле теплилась в угасающем сознании, как уголек в остывающей золе.

Да, смерть — уход. Я ухожу, ухожу, ухожу из этого жестокого и обманчивого мира. Взбесился, рехнулся этот мир. В нем нет милосердия и жалости. И мне в нем не оказалось места. Я ему не нужен, и потому ухожу, ухожу. Ухожу, как многие до меня, как уйдут туда же в свой час все живущие еще на земле. Нет ничего вечного, всему приходит конец. Только ветер неприкаянный, бездомный кружит по земле. Как это в священной книге? Помнится, мать-лютеранка часто повторяла эти слова. Да, да... "Бежит на юг и кружит на север, кружит, кружит на бегу своем ветер..." А я ухожу. И ничуть мне не страшно. Испил, выходит, свою чашу до дна. Мне только горько и обидно, что ухожу, не увидев напосле-

лок моих родных и близких, мою деревню, мою родную землю. Я даже не знаю, на каком краю земли мыкают горе мои родные и живы ли они вообще. Ухожу на чужбине в чужую землю. Ухожу, не увидев хоть краешком глаза Волгу вольную, не отогревшись на ее песчаном берегу под щедрым солнцем, не налюбовавшись синим куполом неба над волжским простором. Ухожу, ухожу, растворившись в стылом мраке. Как жаль, что доставляю своим уходом столько горя и хлопот бедному брату...

— Давид, Давид... Ты помнишь, как хоронили мы маму?

Давид оторвался от бумаг, обернулся к брату.

— Ты... о чем?.. Конечно, помню.

— Тоже было холодно, ветренно. Тяжело умирала мама. Огонь пожирал ее изнутри. И мы, дети, внуки ее, приносили ей лед, сосульки, и она старалась проглотить их, чтобы унять жар... На похороны собралась вся деревня. Помнишь?

Давид помнил. Верно: стоял морозец. Но не такой лютый, как здесь. И ветер дул со стороны Волги, сырой, но ласковый. А мать болела долго и умирала мучительно. Когда Давид спешно приехал из Гнаденфлюра, где лишь недавно получил работу в кантонздраве, мать была безнадежна. Было ей семьдесят пять, всю жизнь истово тянула лямку большой семьи, боролась с нуждой, рано овдовев. Свято почитала лютеранские заповеди. Провожать ее в последний путь собрались все дети, внуки, правнуки, многочисленная родня, вся деревня. Все проходило по извечному ритуалу, провожали ее как почтенную лютеранку, а он, Давид, помня о том, что был комсомольцем, стал партийцем, а еще раньше, в конце двадцатых, состоял даже активным членом "Союза безбожников", держался отстраненно, снимал своим недавно обретенным "ФЭДом" скорбную процессию, умудрился укрепить штатив на покатой крыше дома, стремясь захватить в кадр всех собравшихся. Предали земле старую мать, урожденную Зельцер, на невзрачном деревенском погосте, насыпали холмик, установили крест по воле покойной. И после этого Давиду удалось побыть на могиле только раз.

— Маме повезло, — задышливо заговорил вновь Христьян. — Успела уйти до войны. Легла в родную землю, оплаканная родней. А теперь ...

— Что теперь?

— Теперь и она оказалась на чужбине. Лежит в родной земле, а вокруг ни одной родной души. Навестит ли кто еще ее могилку? И уцелеет ли она?.. Такой вот тяжкий жребий выпал нам всем. За что?!

— Не надо об этом, Христьян. Дай срок — все уляжется.

Христьян промолчал. Дышал он со свистом, надсадно.

— Старайся уснуть. Не мучь себя.

— Знаешь, боюсь уснуть... Опять начнут меня убивать. А убьют — уже не проснусь.

— Думай о чем-нибудь хорошем.

— Да, да... постараюсь. Извини, что помешал.

И опять стало тихо в сумрачной комнатке. Только пламя фитилька чуть-чуть дрожало и пузырь покрылся налетом копоти. Давид приподнял лампу, прикидывая, сколько в ней осталось керосину, подкрутил фитиль и снова уткнулся в свой отчет. Время от времени он щелкал деревяшками старых счетов, подсчитывая число вакцинированных и ревакцинированных, охваченных прививкой и выявленных больных по возрастным группам.

Христьян — показалось — уснул. По верховьям и низовьям Приишимья скакал на снежных тулпарах предвесенний лихач-буран бескунак. Озоруя и взвихривая сугробы, несся за ним вдогонку шалый ветер. Уууу!... гудело-завывало в степи.

— Давид, послушай, — неожиданно вновь прохрипел Христьян. Видно, он все это время не дремал, а о чем-то размышлял. — Я подумал о хорошем.

— А ну-ка, — обрадовался Давид.

— Знаешь, женись на Олькье. Не пожалеешь...

Давид не нашелся сразу, что сказать.

— Бредишь?

— Пока нет. С-серьезно. Лучше жены не найдешь. Знаю: ты ей по душе.

— Чудак! Она девчонка, а я дядя в летах. Да еще, еще... — он запнулся, — женатый.

— Был. Лида тебе не жена. Так... Жена должна быть рядом с мужем. А Лида сразу юркнула в кусты, как почувствовала неладное. К чему ей немец-поселенец? Нет, не жена...

— Может, ты все-таки неправ?

— Нет, прав. Не обижайся. А Олькье — клад. Верной спутницей будет всю твою жизнь. Поверь.

— А я ее тебе в невесты прочу.

— Брось!.. Отженихался я...

Христьян зашелся в кашле, затрясся всем телом, потом отпил глоток травяного настоя из кружки, стуча о край зубами. Давид подскочил к брату, поддержал кружку, чтобы не расплескалась жидкость.

— Я... я... это... серьезно, — еле прошептал он, обессиленно.

— Хорошо. Я понял. Спи.

— Я все... сказал. Могу и соснуть.

— Спи, милый. Сейчас закончу и тоже лягу.

— Спокойной ночи...

— Ja, ja... Gute Nacht...

Христьян закрыл глаза, пошевелил лиловыми губами, затих, будто впал в забытье.

Лампа-семилинейка чадила все заметнее. Видно, керосин был на исходе. Давид вздохнул, поняв, что отчет ему сегодня не дописать. Придется закончить завтра. Тем более, пока этот постылый бескунак не перебесится, не будет никакой оказии доставить его в райцентр.

Он подошел к кровати брата, подоткнул одеяло, поправил шубу, коснулся его лба. Брат явно температурил. Давид не стал его будить, положил на табуретку у изголовья пару таблеток кальцекса и порошок аспирина на случай, когда Христьян проснется. Потом загасил лампу, разделся и завалился на топчан. Ему вспомнилось забавное предложение брата о женитьбе, на миг почудилась Олькье, юная, застенчивая, темноглазая, он улыбнулся то ли ей, то ли себе и тотчас погрузился в сон.

Он не знал, сколько прошло времени, но сквозь сон почувствовал тягостную тревогу; вспомнил, что не успел занести с вечера охапку расколотых дров, не заготовил щепок для растопки и вновь провалился, точно в яму. Во сне ему мерещились сплошные цифры, они были чудовищно многозначны и все более и более росли, никак не сходились, он яростно щелкал на деревянных счетах, а цифры прыгали, кувыркались, дробились, разбегались, точно шарики ртути, и он никак не мог их свести воедино и закрепить на бумаге.

Пораженные чесоткой жители аулов вдруг становились сифилитиками, и Давида охватил ужас, откуда они набрались, как он впишет их в отчет и что ему скажут в райздраве, узнав о таком количестве венерических больных в его радиусе. Больные с открытой формой туберкулеза обернулись странным образом беременными, и Давид окончательно запутался, не понимая, что к чему. Кто-то звал его, звал настойчиво, а он не знал, не догадывался, кто и откуда.

— Давид, Давид, Давид... — хрипел, задыхаясь, Христьян.

— Что? Что? — разом проснувшись, вскинулся, всполошился Давид.

— Мне холодно... Приляг со мной, Давид. Холодно...

— Сейчас, сейчас... Прими аспиринчик...

— Не надо... Зачем? Приляг со мной. Обними... Холодно.

Давид перенес свою армейскую резиновую надувную подушку, одеяло, шинель на кровать, осторожно пристроился, прилег с краю, укрылся, обнял, притянул к себе хрупкое тельце брата. Ноги Христьяна были как ледышки. В груди хлюпало, булькало. Мелкая дрожь била его. Тело было вялое, беспомощное. Под кожей — выпирали ребра. Живот запал, будто прирос к хребту. "И в чем только душа держится?" — с жалостью подумал Давид. Было боязно даже прижать его к себе сильнее. Казалось, от тяжести руки брат рассыпится в прах, точно ветхие кости.

Вскоре Христьян затих. Дрожь унялась. И Давид опять уснул...

Проснулся он от испуга и холода. Почудилось, будто ледяная стынь проникала, как бы вползала в его тело. Он поднял голову, глянул в окно. Брезжил тусклый рассвет. Было странно тихо. И воздух показался волглым. "Неужели улеглась метель? И пробился южный ветер?"

Он обнял брата, провел рукой по иссохшему тельцу и помертвел. Христьян, вытянувшись, лежал бездыханно и уже успел остыть. Давид вскочил, обмер от ужаса. Схватился по привычке за кисть брата, щупая пульс, и потрогал лоб. И рыдание подкатилось к горлу. Он лихорадочно, ничего не соображая, оделся, накинул на плечи шинель, рухнул у кровати на колени, прижался лицом к груди Христьяна и заплакал безутешно, как дитя...

Над затерявшимся в сугробах аулом на берегу Есиля занимался сумрачный зимний рассвет. Ветер, наигравшись в снежки, стих. Бескунак выдохся, проложив дорогу весеннему духу. Мороз сломался, отступил.

Давид в стылой комнатке при медпункте оплакивал брата. Это была первая в его жизни смерть, которая его потрясла. Впервые он почувствовал себя одиноким, ненужным в этом недобром мире. Впервые он не знал, что делать, как жить...

В сенях послышался тяжелый топот, приглушенный разговор. Потом тихо распахнулась дверь, и в проеме, окутанные изморозью, в густом куржаке, показались трое. Давид оторвался от брата, встал, непонимающе посмотрел на вошедших. Трое посетителей молча и скорбно двинулись к нему, один за другим обняли его грудь в грудь, прослезились, дрожа бородами, сказали слова сочувствия.

— Крепись, Давид Павлович, — бубнил в бороду Есильбай. — Увидел, что из трубы не валит дым, как всегда, в самую рань, сразу обо всем догадался. Пошел, разбудил Сейтходжу и Калия. Прими наши соболезнования.

— Ия, ия... — вторили его спутники. — Что делать? Аллах дал — Аллах взял... Бекем бол, першыл[1].

И от этих слов из глаз Давида поневоле вновь потекли слезы.

— Доски у меня есть, пойду сколочу гроб, — деловито заметил через некоторое время Есильбай. — А эти двое выдолбят могилу. Шаку и Маруар сготовят поминальный обед. Баскарма, думаю, расщедрится на овечку. Что поделаешь? Где жизнь, там и смерть.

— Ия, ия... — согласно вторили Сейтходжа и Кали. — Все в воле Аллаха...

Старики ушли. Давид схватился за голову и опустился на топчан. Все случившееся не укладывалось в его голове.

Весть о смерти Христьяна мгновенно облетела весь аул, и казахи со всех дворов потянулись в медпункт выразить першылу соболезнование и участие в его горе.

На другой день у опушки березового колка неподалеку от аульного кладбища вырос свежий могильный холмик, под которым волей судьбы обрел свое вечное пристанище поволжский трудармеец Христьян Эрлих.

[1] Крепись, фельдшер.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГАРРИ

"... тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь,
и немногие находят их".
От Матфея 7.13.



I

...denn es kann ohne Liebe
kein Mensch glücklich sein.

Volksweise

Солнце палило во всю июльскую мощь. Небо выбелилось. От духоты даже аульные шавки сомлели. Соседские куры жались в тень. Над Ишимом зыбилось марево. Едва уловимой точкой кружился в застывшем воздухе одинокий ястреб.

"Быть грозе". — подумал Давид, чувствуя сонную одурь во всем теле. Погода в здешнем краю изменчива. Глядишь: на небе ни облачка, чуткая метелка ковыля и та не шелохнется, солнце жарит так, что и кузнечики в степи не сипят, и вдруг, точно лихой гонец, налетает с верховья ветерок, закружит со свистом, шалея от собственной удали, пыльный смерч, выплывет, по-кошачьи подкрадываясь, из-за березового колка неприметная тучка, стремительно набухает, темнеет, клубится, потом откуда ни возьмись зазмеятся молнии, басовито проурчит где-то за семью холмами, за горизонтом гром и вскорости забарабанит по иссохшей, точно старая шкура, земле упругий дождь, будто табун лошадей пронесся галопом неподалеку.

А иногда — наоборот: мается по нескольку дней погода, точно горький пьяница с похмелья, никак не разразится желанной облегчительной грозой, и дурманящая хмарь изводит душу, и ходишь, томясь, как потерянный, и все валится из рук.

Пожалуй, самый раз смотаться на Ишим, окунуться разок-другой в глубь, взбодриться, а потом попытать удачу на берегу в тени под густым тальником. В эту пору в темных заливчиках стаями бурунят воду окуньки, наводя страх на мальков-чебачков. А перед закатом начинает резвиться щука, тут только успевай обновлять живца на жерлицах.

"...либо без любви не может быть счастлив человек".

Из народной песни

Давид споро сложил рыболовные снасти в рюкзак, запихнул в него на всякий случай брезентовый плащ, достал с крыши сарая два гладко обструганных гибких удилища и легким шагом направился в сторону реки.

Проходя мимо кузни, он услышал знакомый слаженный перестук по наковальне, устремил взгляд в сторону огорода за колхозным складом и тотчас выискал, высмотрел зазывно белеющий платок Олькье. Низко согнувшись, она сосредоточенно окучивала тяпкой картофель, выпалывала сорняк и так увлеклась своим делом, что не заметила наблюдавшего за ней за изгородью фельдшера.

— Шен гутен таг, Олькье, — поприветствовал он ее громко. Она вздрогнула от неожиданности, выпрямилась, притенила ладошкой глаза.

— Ой, испугали как!.. Гутен таг!

— Все трудишься, Олькье?.. И в такую жарынь покоя не знаешь?!

Она откинула платок, встряхнула головой, смахнула с бровей пот и вся зарделась, засмутилась. Все в семье с малых лет называли ее ласково — Олькье, и она привыкла к этому, но с некоторых пор, когда этим уменьшительным именем называл ее этот молодой, неугомонный мужчина, она испытывала приятную, как истома, дрожь, будто сладостные мурашки пробегали по телу. И сейчас глаза ее вмиг залучились, уголки губ растерянно вздрогнули, обветренные щеки запунцовели. Она смотрела на фельдшера, рослого и по-военному подтянутого, широкого в плечах и узкого в бедрах, чуть искоса, немного робея и явно радуясь.

И он не скрывал своего восхищения ее ладной, стройной фигуркой и трепетной нежностью во всем ее чистом девическом облике.

— Что делать? — вздохнула она, продолжая улыбаться. — Кому-то и поогородничать надо. Братьям-то недосуг.

— Ия... ия... штимт, — рассеянно согласился он.

Нескладная, голенастая девчонка, у которой осенью 41-го года он покупал вишни на районном базаре, за эти несколько лет преобразилась в ладную, молодым соком налившуюся девушку, притягательную юным непосредственным обаянием. Живя в постоянном недостатке, в более чем неприхотливых условиях, подавленная непосильными заботами, преследовав-

ними изо дня в день многочисленную, неокрепшую в житейских бурях семью, она умудрялась держаться всегда чистой, опрятной, спокойной и улыбчивой, не опускаться до обид и дрязг, обыкновенно неизбежных в тесноте и лишениях. В семье ее любили все за покладистость и добродушие, за послушание и легкий нрав. Говорили, что она пошла вся в бабушку Олинду родом из Марксштадта, женщины которого исстари отличались чистотой, аккуратностью и горделивым достоинством.

— И много еще осталось у тебя работы, Олькье? — спросил он, сглаживая затянувшуюся паузу.

— Ой, да разве огородные дела все переделаешь?!

Бывая у Вальтеров в гостях, затевая незатейливые музыкальные вечера, Давид несколько раз замечал на себе ее пристальный, задумчиво рассеянный взгляд. Что-то неизъяснимо тайное и притягательное вспыхивало в ее темных зрачках, отчего Давида ввергало в оторопь. Он старался не обращать на это внимание, отгонял прочь смутную самонадеянную блажь, но тянуче томный этот взгляд иногда преследовал его в ночи, и он подолгу ворочался тогда в жесткой, скрипучей кровати, преследуемый зыбкими жаркими видениями.

Вскоре он сам себе сознался, что бывает у Вальтеров не просто для того, чтобы "пошпрехать" на милом волжском диалекте, возродить в душе забывающиеся на чужбине родные напевы или чтобы сыграть памятный с детства репертуар под аккомпанемент гитары и балалайки, но главным образом для того, чтобы побыть, может, и не в очень уютном, но все же семейном кругу, вблизи все властнее манящей Олькье, полюбоваться на нее, услышать ее ребячливый смех и бесхитростные шуточки, от которых как бы сходила с души невидимая короста и становилось сладостно на сердце. И кто знает, сколько бы продлилось это состояние неопределенной смуты и тревоги, чего-то желанного и невозможного, если бы не бестактная, грубая со стороны сварливой Эммы выходка.

Случилось это весной. Земля по утрам курилась. В лощинах и оврагах дотаивал потемневший, ноздреватый снег. Ишим после бурного половодья утихомирился. Над переполненными старицами со свистом пролетали дикие утки. Отощавшие за зиму коровы задумчиво бродили по лугам, выщипывая едва пробивавшуюся муравку. Волглый воздух пьянил, навевал истому.

Вернувшись из Алка-Агаша, где Давид провел очередной медицинский осмотр жителей аула, он вечером, прихватив скрипку, отправился к Вальтерам. Ему по обыкновению обрадовались. После ужина принялись музицировать. Иван подладился играть на балалайке, Антон — на мандолине, Олькье взялась за гитару, а Гарри принялся отбивать такт на деревянных ложках. Играли слаженно. Давид, выпрямившись во весь свой рост, широко водил смычком, иногда энергично притопывал левой ногой, ускоряя темп, вскидывал бровями, изгибался всем туловищем, указывая на переходы при аккомпанементе. Отыграли все известные им вальсы, потом — несколько маршей, после паузы с разговорами о том, о сем принялись за польки. И тут музыкантов все чаще начала подводить гитаристка. Она все ниже опускала голову, рассеянно щипала струны, будто не слышала солирующего скрипача, неверно брала аккорды, запаздывала с переходами.

— Олькье, да что с тобой сегодня?! — воскликнул в сердцах Давид.

Олькье вся вспыхнула, еще более поникла головой, и тогда в наступившей тишине вдруг, дурашливо хохотнув, Эмма неожиданно брякнула:

— Ах, бедняжка!.. Вот втюрилась, совсем голову потеряла...

— Как это... втюрилась?! — некстати полюбопытствовал Давид.

— Ну, даете, Vetter David! — продолжала Эмма. — Взрослый человек, а ничего не видит, не замечает... как слепой. Больно нужны Олькье ваши полечки.

Всем стало вдруг неловко. Давид, точно провинившийся, опустил смычок, захлопал белесыми ресницами. Иван толкнул жену в бок, та мгновенно огрызнулась:

— А что я такое сказала?.. Что?!.. Подумаешь!

Олькье порывисто вскочила, швырнула гитару на кровать и, прикрыв вздувшееся от стыда лицо руками, выскочила за дверь.

Вечер был испорчен. Игра разладилась. Уложив скрипку в чехол, Давид смущенно побрел домой. Всю ночь ему было не по себе. Во сне он утешал заплаканную Олькье, гладил ее по волосам, бормотал что-то невпопад. И с того злополучного вечера более трех месяцев он не показывался у Вальтеров.

хотя и поглядывал часто в сторону кузни, прислушивался к слаженному перестуку у наковальни.

... Сейчас он мысленно отметил про себя, что за это время Олькье заметно похорошела, подзагорела, налилась соком зрелой молодости.

— Ну, что, Олькье, махнем на рыбалку, а?

— Когда?

— Да прямо сейчас!

Она улыбнулась, испытующе покосилась на него.

— Шутите, наверное?

— Что ты, Олькье?! Вполне серьезно. Видишь, и уду для тебя прихватил. Айда, не раздумывай!

Она промолчала, о чем-то соображая. Потом выпрямилась, сорвала с головы платок и сказала с вызовом.

— А что?.. А что?... И пойду!

— Вундербар! Молодчина! Лезь через плетень. Увидишь — нам повезет.

Все произошло так неожиданно, так просто, без всякой натуги, и он почувствовал в себе давно не испытанный задор, азарт, будто понесло его вдруг на крыльях радости.

— А что? И пойду! — как бы сама себя убеждая, повторила она и запрятала тяпку в ботву, быстро глянула в сторону кузни. — Пойду! Все равно всю работу не переделаешь.

— Очень даже верно, Олькье. Вперед!

— Работа не волк: в лес не убежит.

— Ха-ха! И это верно. Побежали!

Она ловко перелезла через плетень, блеснув на миг тугими белыми ногами, засмутилась и привычно поправила подол платьица.

Он сделал вид, будто ничего не заметил, дотронулся до ее локтя, увлек за собой. Давно он не испытывал такого молодого состояния духа.

— Вперед без страха и сомнения! — И тут же произнес по-немецки невесть откуда и как пришедшие на память строчки. — Schlage die Trommel und fürchte dich nicht![1]

Они шли быстро по открытому полю, словно спешили скорее нырнуть в густые прибрежные заросли.

— Хорошие слова! Из какой-то песни, да?

---

[1] "Бей в барабан и не бойся". *Стихи Генриха Гейне.*

— Не знаю, Олькье. Когда-то я один год учился в Розенфельде на рабфаке. Мне было тогда столько, сколько тебе сейчас. Был у нас там учитель по немецкому языку... Виктор Клейн... Так он по любому случаю с какой-то дерзостью... с нажимом в голосе повторял эти строки: "Schlage die Trommel und fürchte dich nicht". Будто грозил кому-то. Даже лицом бледнел, когда произносил эти слова... Я не очень быстро иду? Успеваешь?

— Нет, нет, — засмеялась она. — Только вы идете, а я уже бегу.

— Привычка еще с армейских времен, — пояснил он, замедляя шаг. —Так вот и мы, рабфаковцы, твердили за ним эту полюбившуюся строчку. И при этом стискивали кулаки.

— А я уже все забываю... Помню, в школе заучивали наизусть длинное стихотворение. А в памяти остались только слова, точно припев: "Wir weben, Wir weben". Мы их повторяли хором, изображая, что сидим за ткацкими станками.

— Может, еще что-нибудь помнишь?

— Помню вот это:

Im wunder schönen Monat Mai,
Als alle Knospen sprangen,
Da ist in meinem Herzen
Die Liebe aufgegangen[1].

— Ишь ты! — изумился он. — Какие стихи помнишь! А дальше?

— Дальше?... — она шельмовато покосилась на него. — А дальше и не помню. Может, вы знаете?

— Нет, Оленька, я таких стихов сроду не знавал. За семь лет службы в армии я запомнил только: "Вперед, заре навстречу!", "Марш, марш вперед, рабочий народ!", "Мы кузнецы и дух наш молод..."

— И еще: "Утро красит нежным светом" и "Все выше, и выше, и выше"... Да?

---

[1] "В прекрасный месяц май,
Когда раскрылись все бутоны,
Тогда в моем сердце
Зародилась любовь". *(Г. Гейне. Подстроч. перевод.).*

— Точно! Можешь добавить: "Если завтра война, если завтра в поход..."

Она расхохоталась.

— Эти песни и я знаю. Даже во сне пою.

Они обогнули старицу, по едва заметной тропинке сквозь густые заросли тальника спустились к Ишиму, выбрали укромное, уютное местечко под обрывом. У берега вода была темная, будто застывшая. Посередине, на мелководье, играли, отражаясь, солнечные блики. Тишь вокруг стояла такая, что слышно было, как паук плел паутину и многоголосо зудели комары.

— Те-е... — прошептал Давид, приложив палец к губам. — Располагайся, разматывай уду, а я пока червей накопаю под черемухой.

Все бесконечные домашние заботы, все сомнения и девические печали последнего времени разом улетучились. Олькье сама себе улыбалась, на мгновения забывалась, не соображая, где находится, как она здесь очутилась и что она должна делать, а потом охватывал ее безмятежный ребячливый азарт, хотелось петь, нарушить эту обвальную, выморочную тишь, сбросить с себя все, нырнуть в прибрежную глубь, чтоб остудить себя, избавиться от изматывающей душу подавленности, насладиться ощущением свободы и радости. Всем своим молодым безгрешным существом предощущала она властный зов плоти, неодолимую тоску по счастью, и манящие волны неведомого желания, поднимавшиеся, казалось, от самых бедер, рвались наружу манили ее до сладостной дрожи. Она чувствовала себя одна-одинешенька на необитаемом острове, отрешенной от всех напастей и лишений, человеческих ограничений, и было жутко от этого одиночества и одновременно радостно. Хотелось сесть на песчаный выступ у кромки воды, обхватить руками коленки, сжаться в комочек и невидящими глазами смотреть на вяпотекущие волны, всем нутром ощущая, как тебя убаюкивает на мягких ладонях земли, в томных объятиях вечного блаженства. Все смешалось в ее голове, мысли лихорадочно менялись, метались, а руки механически разматывали уду, бегло ощупывая поплавок и крючки.

За спиной ее послышался треск сучьев, шелест песка.

— Ну, вот... с червями полный порядок. Целая банка!

Голос Давида — ей померещилось — слегка дрожал от нетерпения. Она покосилась на консервную банку, в которой

чуть прикрытой лопушком и прелой землицей копошились жирные дождевые черви, и брезгливо поморщилась.

Давид взял уду, примерил леску к длине удилища, надежнее закрепил поплавок, отщипнул часть червя, насадил на острие крючка, плюнул почему-то на него и ловко закинул в воду.

— Ну, ловись, рыбка, — большая и малая.

Белый поплавок с ярко-красной полоской четко выделялся на темно-синей воде, чуть-чуть подрагивал.

— Не медли, Олькье, делай, как я.

— Не могу, — растерянно прошептала она.

— Что не можешь?

— Червяка на крючок насадить не могу...

— Вот-те раз! Тоже мне рыбачка! Это же так просто. Смотри...

— Нет... не могу... — обреченно сказала она. — Он же живой... ему ведь больно...

Давид пристально посмотрел на девушку и стал утешать ее, как ребенка.

— Ну, ладно... не беда... я уж сам. Твое дело следить за поплавком и вовремя подсекать. Только раньше времени не теребай и не вскрикивай от радости или испуга.

Клева не было. Поплавки стояли неподвижно, на них то и дело опускались лупоглазые стрекозы. Едва заметное течение относило поплавки в сторону, прибивало к берегу. Давид часто закидывал удочку то подальше, то поближе к берегу; размотал две-три жерлицы в ожидании живца-чебачка. Олькье сидела на корточках чуть в сторонке, терпеливо уставясь на поплавок.

— Видно, и рыбки попрятались от жары. А, может, перед грозой затихли, — как бы оправдывался Давид.

Олькье не отозвалась, погруженная в свои мысли. Вдруг помимо воли потянула на себя леску, обеими руками рванула удилище и, неумело выкинув на берег трепыхавшегося на крючке чебачка, вскрикнула, бросилась к нему, схватила в ладошку.

— Бедненькая... попалась? Ах ты, крохотулечка...

Она любовалась своей добычей, поднесла рыбку к лицу, поцеловала ее от умиления и восторга, показала ее Давиду и тут же осторожно отпустила снова в воду.

— Плыви, глупышка! И больше не попадайся.

— Что ты делаешь, Олькье? Мне же приманка нужна на жерлицу!

— Сейчас, сейчас... еще одну мигом поймаю.

Давид все чего-то копошился, придумывал себе разные дела. Набрал ведро воды и зарыл его наполовину во влажный песок, прикрыл огромным лопухом. Настрогал крепкие удилища для жерлиц, установил их чуть поодаль под кустом ивняка. Часто менял наживку, поправлял поплавок, закидывал удочку подальше, заготовил кукан, будто в ожидании большого улова, рыбачья возня так увлекла его, что, казалось, уже не замечал пригорюнившуюся напарницу у кромки воды. А она, Олькье, продолжала сидеть на корточках, тихая, незаметная, и отрешенно смотрела на безжизненный поплавок.

Она не замечала, как Давид отлучался ненадолго, а потом также неожиданно появлялся из тугая и тихо клал перед ней на влажном лопушке горсть черемухи, боярки или костянки.

Олькье рассеянно лакомилась щедрыми тугайными дарами и чувствовала легкое головокружение, странную размягченность, отрешенность то ли от духоты и жары, то ли от тишины, то ли от долгого глядения на воду.

Рыба упорно не клевала. Поплавок прибился к берегу, и девушку он уже не интересовал. Ей отчего-то стало так грустно, что хотелось плакать.

И Давид точно сник, стал задумчив. Он выдернул несколько красноперок, окуньков, пескарей, кидал их, не глядя, в ведро за спиной, словно недовольный этой мелюзгой.

Между тем невесть откуда наползли тучи, зашелестело, зашуршало в тугае. Ишим покрылся тревожной рябью, вода потемнела. Потом далеко за степью, за аулом Жана-талап, глухо проворчал гром. Еще через некоторое время мрак сгустился, сверкнула совсем рядом ослепительная молния, в небесах яростно щелкнуло и точно из-за засады бешеным галопом выскочил, хлынул упругий дождь. Давид только теперь как бы очнулся, растерянно огляделся, бросился к рюкзаку, вытащил туго скатанный брезентовый плащ.

Олькье не шелохнулась. Сидела в той же позе, будто не замечая разбушевавшейся стихии.

Дождь припустил еще неистовей.

Давид подбежал к девушке, раскинул над ней, словно шатер, брезентовый плащ, и сам подлез, притиснулся, укрываясь поплотнее. Укутывая Олькье со всех сторон, он мимовольно прикасался к ее голове, плечам, ногам, бедру, чувствовал, как она вздрагивает, дышит сбивчиво, учащенно, сжимается, однако реагировала на все вяло, безразлично, будто во сне.

Дождь припустил пуще, словно намеревался непременно пробить заскорузлый брезентовый плащ, под которым так ловко укрылись от него двое незадачливых рыбаков. Вокруг бурлили, пузырились ручьи, стекая в реку. Молнии сверкали над водой, точно невидимые исполины свирепо сражались огненными клинками. От раскатов грома вздрагивала земля.

Давид обнял девушку за плечи, уверенно притянул ее к себе, и она послушно прильнула к нему, обмякла, доверчиво прижалась головой к его груди. От нее пахло перегретой на солнце картофельной ботвой, молоком и еще чем-то неуловимым, дразнящим и возбуждающим. Близость упругого, горячего девичьего тела пьянила, заставила забыть все, что происходило вокруг. Он погладил ее по волосам, провел ладонью по лицу и почувствовал, как по ее щекам текли теплые слезы. Это его удивило и обескуражило. Ему было невдомек, что душа рано осиротевшей и уже успевшей изведать столько мытарств девушки, жадно тянулась по человеческому сочувствию и ласке. Он хотел было спросить, что с ней, отчего она так тихо плачет, время от времени вздрагивая всем телом, но не осмелился, осекся и только еще крепче и нежней обнял ее.

Они не знали, сколько продолжалась гроза. Мирно и степенно текла степная река по своему извечному руслу. Шумел прибрежный тугай, источавший густой аромат из прелой листвы, спелых ягод и дикого хмеля. Лил дождь, вытесняя отовсюду морящую духоту. А Давид и Олькье, тесно прижавшись друг к другу, сидели под просторным брезентовым плащом, притихшие, чуть испуганные нахлынувшей вдруг безмерной нежностью, оглушенные неведомым счастьем, чувствуя слаженное биение своих сердец, с тайной усладой прислушиваясь к учащенному дыханию и упоительной дрожи в теле. Время для них не существовало. Даже случайным словом, неуместным шепотом опасались они вспугнуть окутавшую их томную муку.

Они очнулись, когда прямо перед ними на край плаща опустилась любопытствующая стрекоза, затрепетала прозрачными крылышками. Тут же степенно проплыла радужная бабочка.

Гроза отшумела. Рваные тучи торопливо уплывали за горизонт. Сбоку выглянуло солнце. Веселые блики вновь заиграли, многоцветно отражаясь на поверхности воды. С сухим треском раскрутилась леска жерлицы, по воде пошли круги.

Давид подскочил к жерлице, вытащил крепко вбитое в глинистый грунт удилище, осторожно натянул леску, почувствовав, как заглотившая крючок норовистая щука отчаянно пыталась вырваться. Он медленно подтягивал ее к берегу, иногда слегка отпуская леску, чтобы унять прыть заметавшейся в воде строптивой рыбины, и с азартом приговаривал про себя: "Врешь — не уйдешь... не уйдешь... не уйдешь". Потом, выждав удобный момент, когда щука, обессилев, переводила дух, чтобы сделать очередную отчаянную попытку вырваться на волю, он рванул леску на себя, и щука, изогнувшись, описав в воздухе дугу, грузно шмякнулась на песок, шеря зубастую пасть и колотясь хвостом. Давид ловко схватил ее под жабры, с усилием извлек из пасти глубоко заглотанный крючок, потом пучком травы обтер с упругого тела щуки зеленоватую слизь.

— Ах, красавец! — воскликнул он, прикидывая вес добычи.

— Это же не он — она! — поправила его Олькье. Он и не заметил, как она очутилась рядом. — Щука — женского рода.

— Это недоразумение русского языка, — убежденно заметил Давид. — Смотри: какое злое, зубастое, хищное создание. Разве может быть оно женского рода?! Казахи называют его шортан. А шортан — это он, почти как черт. Для меня он Hecht, а не щука. А Hecht — тоже он.

— Ой! — вскрикнула Олькье, заметив, как размоталась, затряслась и вторая жерлица неподалеку.

— Держи!

Он бросил затихшую щуку к ногам Олькье и поспешил к второй жерлице. Тем же способом, не торопясь, он вытащил на берег крупного зеленовато-желтого окуня с черными поперечными полосами, с красноватыми плавниками.

— И он туда же! На чебачка позарился. Попался, голубчик!

— Это окунь?

— Он самый! Для ухи — самый раз. Но чистить его — морока. Ишь как спинный плавник насторчил!

— А по-немецки окунь как?

— О, сразу и не вспомню... — Давид освободил приемиревшего окуня от крючка, швырнул в ведро. — Там, на родине, в наших речках окуни что-то не водились. А-а... Barsch, кажется... Впрочем, не уверен.

Ожил, затрепетал, наконец, и поплавок Олькье. Волнуясь и спеша, она выдернула небольшого пескаря.

— Брось его в ведро и поймай мне быстренько чебачка. Мне наживка нужна, — распорядился Давид.

Он знал по опыту, что после грозы и перед закатом солнца пойдет бешеный клев. Нанизав щуку и окуня на бечеву, он опустил кукан в воду, крепко вбил кол и тоже принялся за уду.

Клев был отменный. Поплавки, едва коснувшись воды, мгновенно ныряли в глубь; жерлицы разматывались с сухим треском; упругие лески звенели; кукан тяжелел; рыба из ведра выпрыгивала на берег, билась в предсмертной судороге. Рыбаков охватил азарт. Они уже не обращали внимания на добычу. Едва успевали вытаскивать красноперок, окуньков, пескарей; иногда попадались линьки и караси. Олькье раскраснелась, приноровилась к ужению, все ловчее закидывала уду, все спокойнее вытаскивала добычу и даже червяка, чуть жмурясь и кривя губы, сама насаживала на крючок.

— Вот это да! — восторгался Давид. — Вундербар! Это ты, Олькье, такая удачливая!..

Она улыбалась ему. В черных зрачках играли озорные искорки.

Клев продолжался часа два. И кончился так же неожиданно, как и начался.

— Ну, Оленька, пожалуй, хватит на сегодня. Всю рыбу все равно не выловим. Оставим немного и на следующий раз.

— А мы еще придем?

— Если захочешь — придем.

— Конечно, хочу. Это так интересно, оказывается!

Он убрал жерлицы, спрятал в кусты удилища, сложил вешички в рюкзак, слил из ведра воду, прикрыл снулую рыбу свежим лопухом, вытащил из воды оба куканa, довольный уловом. А Олькье все медлила, сосредоточенно глядела на поплавок и умоляюще твердила:

— Ну, еще одну... еще, самую последнюю...

Он терпеливо ждал. Наконец, попалась еще одна красноперка. Олькье аккуратно сняла ее с крючка, полюбовалась добычей и, поцеловав ее в пораненные губы, снова отпустила в воду.

— Гуляй, милая... Наслаждайся свободой.

Голос ее отчего-то дрогнул, на глаза навернулись слезы, и Давид удивился столь быстрой смене ее настроения.

Возвращались молча. За Ишимом алел закат. В подсохшей траве звонко сипели кузнечики. Покой и мир воцарились на земле.

У старицы возле фермы доярки ополаскивали бидоны и подойники. Шустроглазая Шаку приметила рыбаков, долго и с любопытством разглядывала их и с легким ехидством в голосе крикнула издали:

— Эй, першыл, аман?

— Аман, аман, — отозвался Давид.

— Э, кызымка твой тоже аман? — насмешливо намекнула на Олькье.

— С утра была аман.

— Рыба йес?

— Йес, йес, — подтвердил, подлаживаясь под ее выговор Давид. —Приходи, ухой утощу.

— Ухой — это што?

— Рыбья сорпа... суп.

— Укусно? — допытывалась шельма.

— Это уж как сваришь.

— Э, ладно... Ты тоже приходи — кумыс, айран пить.

Нечисто щерясь, глядел им вслед с пригорка и пастух Океш.

У плетня своего огорода Олькье замешкалась, кинула пытливый взгляд на Давида, но тот, кажется, не уловил безмолвного вопроса.

Возле кузни встретилась им Эмма в заляпанном простоквашей переднике. Она ощупывающе оглядела золовку, потом — Давида, скользнула бесцветными гляделками по ведру, по двум куканам, увешанным щуками и окунями.

— О, да вы, вижу, славно порыбачили!

— А ты, что, думала, мы в прятки в тугае играли?! — в тон ей спросил Давид.

Но Эмма не из тех, кто за словом в карман лезет.

— Но...Vetter David... рыбачить-то по-разному можно. Иным рыбакам лишь бы уду свою поглубже закинуть.

— Ты своего Иоганнеса имеешь в виду?

— Ой, что о нем говорить? Он только колотушкой своей махать горазд.

Щеки Олькье мгновенно запунцовели от стыда, и Давид, заметив это, холодно протянул Эмме один кукан, шепнул Олькье:

— Пошли!

Эмма была непрочь еще позубоскалить, но, приняв дар, еще разок подозрительно смерила соловку, хохотнула вслед.

— Олькье разве не дома останется?

— Нет! — отрезал Давид. — Олькье поможет мне почистить рыбу, сварить уху, потом поужинаем вместе. Зря, что ли старались?

— А потом? — с намеком шельмовато настаивала Эмма.

— Потом — суп с котом!

Эмма смешалась, поспешно согласилась.

— Ну, ладно, ладно... Вам видней.

Олькье покорно молчала.

Домашние хлопоты заняли весь долгий июльский вечер. Давид нанес воды, Олькье чистила и разделывала рыбу, варила уху, незаметно прибрала холостяцкую комнатку, вымыла пол.

Аул ушел в сон. Редкие очаги во дворах погасли. Унялась и аульная детвора.

После ужина Олькье аккуратно вымыла и убрала посуду. Давид, смущенный длинными паузами, старался что-то говорить, острить, но сам чувствовал, что выходило у него все плоско, неуместно и невпопад. Ему хотелось ближе подсесть к девушке, тесно прижаться к ней, вдыхать пьянящий запах ее волос, рук, тутого тела, гладить по голове так, как там, у Ишима, во время грозы под брезентовым плащом, заглядывать ей в глаза, удивляясь, как ширятся, точно расплываясь, ее зрачки, но все не решался, не находил подходящего повода, отчего все чаще хмурился и вздыхал.

И Олькье, сложив руки на колени, досадливо молчала, косясь на густеющую темень за окном.

— Ну, я пошла, — отрешенно выдохнула она вдруг.

И тут неожиданно для самого себя Давид вскочил, подошел к девушке сзади, неуверенно обнял за плечи, прикоснулся лицом к ее волосам и глухо проронил:

— Все... решено... прошу тебя... Оставайся у меня. Навсегда. Будем вместе. Вдвоем — легче. Чего там?.. Так лучше. Согласись, Олькье... Оленька... Олечка...

Она ничего не сказала, только ниже опустила голову и ни с того ни с сего всхлипнула.

II

Из Постановления Совета Народных Комиссаров
№ 35 *от 8 января 1945 г.*

"О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ"

3. Спецпереселенцы не имеют права без разрешения коменданта спецкомендатуры НКВД отлучаться за пределы района расселения, обслуживаемого данной спецкомендатурой. Самовольная отлучка за пределы расселения обслуживаемой спецкомендатуры рассматривается как побег и влечет за собой ответственность в уголовном порядке.

4. Спецпереселенцы — главы семей или лица, их заменяющие, обязаны в 3-дневный срок сообщить в спецкомендатуру НКВД о всех изменениях, происшедших в составе семьи (рождение ребенка, смерть члена семьи, побег и т.д.)

5. Спецпереселенцы обязаны строго соблюдать установленный для них режим и общественный порядок в местах расселения и подчиняться всем распоряжениям спецкомендатур НКВД.

За нарушение режима и общественного порядка в местах расселения спецпереселенцы подвергаются административному взысканию в виде штрафа до 100 руб. или ареста до 5 суток.

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР **В. МОЛОТОВ**

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Союза ССР **Я. ЧАДАЕВ**

Каждый раз после очередного планового посещения аула комендантом из райУМВД, Гарри ходил как в воду опущенный. Немилым становился весь белый свет. Отчего-то стыдно было людям смотреть в глаза, будто тебя уличили в чем-то гадком...

Обычно в конце месяца комендант собирал в конторе аулсовета горстку местных неблагонадежных элементов и проводил с ними разъяснительную политическую проработку. Сначала он говорил наедине с единственным коммунистом среди спецконтингента фельдшером Давидом Эрлихом (о чем были эти разговоры, держалось в строгом секрете), потом часок-другой комендант уделял самим поднадзорным. Беседа протекала нудно, тягомотно. Комендант нес жуткую околесицу о сложном международном положении, о коварных происках проклятого американского империализма, о восстановлении разрушенного послевоенного народного хозяйства и о повсеместных трудовых свершениях. То, о чем так вяло талдычил комендант, никакого отношения ни к жизни аулчан, ни тем более к нуждам спецконтингента не имело. Чувствовалось, что и коменданту вся эта назидательная галиматья изрядно опостылела, и он просто выполнял некую повинность. Капитан Волобуев, краснорожий, кособрюхий, рыхлый детина, в засаленном кителе и обвислом, бесцветном галифе, развалившись на шатком стуле, тяжело отдувался, с усилием выталкивал из себя слова, брезгливо оттопыривал нижнюю губу и подолгу, в упор разглядывал каждого посетителя-бедолагу. Начиная свою раз и навсегда затверженную политическую речь, он вперял мутный взгляд на учительницу русского языка и литературы, перепуганную на всю жизнь из-за того, что муж ее, доцент философии, был еще в год убийства Кирова приписан то ли к правым, то ли к левым уклонистам, за что отсиживал свой срок где-то в Карлаге, а потом поочередно буравил своими рыбьими глазками и всех остальных, заканчивая сеанс гипноза обычно на самом молодом и как ему казалось строптивом, ершистом спецпоселенце — Гарри. Под тягучим, немигающим взором коменданта Волобуева поднадзорные конфузились, сжимались, поначалу растерянно ерзали на колченогих аулсоветских стульях и табуретках, потом как бы цепенели, пригвожденные к месту, и почти не дышали, мучительно выжидая, когда он, наконец, уставится на следу-

ющую жертву, чтобы только перевести дух, а комендант, безошибочно угадывая состояние бедняги под его пристальным прицелом, явно наслаждаясь своей магической силой и властью, тянул-растягивал эту изощренную пытку. Нередко навеличал он аул в хорошем подпитии, и тогда, вытирая испарину со лба огромным застиранным носовым платком, говорил дольше обычного, обнаруживая при этом своеобразный набор немецких слов. К месту и не к месту начинал он перемежать пространную политбеседу словечками: "ферштейн?", "гут", "зер шлехт", "ферфлюхт", "хундстрек", "аллес шайзе", "цум тойфель". По количеству вкрапливаемых в его бессвязную речь немецких фраз можно было точно определить степень его разогрева. В таких случаях не то, что перечить, вопросик безобидный задавать возбранялось. Во избежание недоразумений или — не приведи Аллах — каких-либо эксцессов разумнее было помалкивать и усердно кивать головой. Поговаривали, что в каждом ауле и селе, где обитали подозрительные элементы, у него был неприметный, но надежный осведомитель. В "Кызыл ту", судя по всему, осведомительницей его служила аулсоветская уборщица, забубенная, беспутная бабенка самогонщица Зина, куковавшая в крохотном, сивушном закутке тут же при аулсовете и по совместительству душой и телом ублажавшая командированных и уполномоченных всех мастей. В ауле и стар, и млад знали, что комендант Волобуев, приезжая к своим подопечным, неизменно остужал огонь в паху у безотказной Зины.

Другой комендант — чахоточный, плюгавенький, кривоногий лейтенантик — был родом из соседнего аула Коктерек, откуда по людской молве вышло двадцать семь милиционеров. Он был столь тщедушен и невзрачен, что все на нем — и фуражка, и китель, и галифе, и сапоги, и кобура казались непомерно огромными, точно с чужого плеча. Сам с ноготок, а именем обладал затейливо длинным, что сразу и выговорить было мудрено — Мухаммедрахим Абдурахманович Борибасаров. И за столом восседал внушительно. По правую руку клал наган, по левую — пузатую полевую сумку, поверх которой громоздилась фуражка с красным ободком. Под себя подкладывал два-три объемистых канцелярских гросс-буха или годовую подшивку газет, чтобы казаться более солидным. Во время беседы то и дело громко отрыгивал, сопел, отхаркивался,

закладывал за губу насыбай, табак, перемешанный с золой, нервно почесывался. Говорил по-русски охотно, но с трудом, с натугой подбирал слова и переиначивал, уродовал их порою так, что не всегда можно было уразуметь, о чем шла речь. Паузы делал длинные, мекал и экал, без конца откашливался. Слушать его белиберду было невыносимо.

— Ээээ... табарыши ыспесберееселенес... знашыт... ммм... кха-кха... не табарыш... канешно... еээ ... а брабылно боудет... ммм... ия. .. краждан ыспес-паселен... тойыс... ха-ха... хенде хох... Китлер капут... ммм... шьотка, канешна. Ия... на текушни мамент аул Кызыл ту... знашыт... шысло имеится ыспеспаселен... эээ... кха-кха... имеится знашыт... шорт-мазарат... опшым каторый... сколка... ия... по спысык... дэбыт... на так... дэбыт шалабек. Из них... эй... табарыш каменес Ерлик Дауыт жолдас... сколка эээ... мушшын... сколка бабажешшын... гауари... ия, ия... знашыт опшым... эээ... дэбыт шалабек... Псе прсутствуит?... Харрашо... долше пашол... текуши мамент... эээ... сам знаиш... он сложнай... Амыркан сволышшш... ия... десцьшлин нужын... эээ.. ыстрогай... парадок крепкай... эээ ммм... настрой ... канешна...эээ...

— Боевой, — не выдержав, хмуро подсказывал Иван.

— Ия, ия... дурыс... брабылно гауариш... краждан ыспеспасед Ыбан, — снисходительно соглашался Мухаммедрахим Абдурахманович. — Савершенно верно... настрой... эээ ... баебой... Но, — комендант хитро щурил глаза, многозначительно поднимал указательный палец, выдерживал паузу. — Но... баебой не знашыт стреляет бах-бах... ия... туда-сюда... а знашыт ... знашыт...

— Понятно, — спешил оратору на помощь Антон.

— Знашыт... патриотышна... Вот!..

После подобных ритуальных бесед с комендантом, после унизительной процедуры ежемесячной расписки в твоей благонамеренности и благонадежности Гарри ходил сам не свой, бледный, раздражительный, не зная, кого проклинать, кого обвинять, на ком срывать зло. В эти дни даже в школу ходить не хотелось, неловко было видеть учителей, друзей, девчонок, будто на лбу светилась каинова печать. Тяготило не словоблудие солдафона Волобуева, не косноязычие служаки-коротышки с длинным именем-отчеством, а выводила из себя сама эта дурацкая повинность, то, что ему, комсомольцу, отличнику

учебы, надлежало "отмечаться" (слово-то какое мерзкое придумали!) из года в год, из месяца в месяц, подчеркивать, что ты не такой, как все, лишь из-за того, что угораздило родиться немцем, что поставлен в условия изгойства, будто совершил преступление и должен до гроба перед всеми оправдываться за некую изначальную вину. Гарри никак не мог ясно и четко выразить свое состояние, гадкую смуту на душе, злился на себя за то, что придает этому идиотизму столь важное значение, что не может смириться с этим как с некой заданностью и что не с кем даже об этом открыто поговорить. Иоганнес после "комендантского часа" полдня отплевывался и яростно ругался предпочтительно по-немецки — "Donnerwetter!", "Scheißkerl!", "Mistkäfer!", "Spitzhunde!", "Arschloch!", бил молотом по наковальне так, что искры сыпались по всей кузне, и приговаривал с шипением: "... твою мать!", "сигейн!" Антон, наоборот, сушил густые брови и мрачно помалкивал. Давид Павлович тотчас удалялся в соседний аул проводить медосмотр, норовил выделить часок на рыбалку. Сестры в такие дни прятали от всех глаза. Мария Петровна, ссыльная жена то ли правого, то ли левого уклониста, приходила в класс бледнее обычного, с синими мешками под глазами и пахло от нее валерианкой и безутешным одиночеством. Об очередном посещении аула комендантом в школе обычно знали, и учащиеся-старшеклассники проявляли такт и деликатность к опальной учительнице. Ребята старались не донимать Гарри неуместными расспросами и любопытством точно сопереживали ему. А чуткая Багира, украдкой взглядывая на удрученного, ушедшего в себя Гарри, проронила как бы невзначай, мимоходом, чуть дотронувшись до него:

— Не переживай, ладно? Подумаешь!..

И от ее тихого сочувствия Гарри и вовсе сникал, точно обиженный ребенок, и на глаза его наворачивались слезы.

Сегодня капитан Волобуев провел свой "комендантский час" в урезанном виде. И о двух непримиримых лагерях в мировой системе не стал распространяться, и проклятому американскому империализму досталось от него явно меньше. Говорил рассеянно, невпопад, прислушивался к возне и шороху в соседнем закутке, за фанерной перегородкой, где хлопотала уборщица Зина. Видно, Волобуев спешил, мерин его стоял нерасседланным у коновязи, до заката коменданту предсто-

ялo перебраться через Ишим, "отметить" спецпоселенцев в левобережных поселках, а до этого кстати было бы малость расслабиться — хотя бы часок уделить Зине, отведать ее бражки и остудить, как выражаются казахи, поясницу, унять перед дорогой греховный жар на скрипучем, вконец расшатанном топчане за дверью. Этот топчан, заваленный разной ветошью, втиснутый между чумазой печкой и закопченной стеной с одним-единственным подслеповатым окошком, вызывал у Волобуева отвращение и одновременно манил, как борова — лужа. Он знал, что не один отводит душеньку на этом измызганном ложе, вставал с него опустошенный, брезгливо косясь на едва завешанное окошко и хлипкую дверь, но после кружки хмельного, мутного пойла не в силах бывал отказаться от желания помять, потискать, покатать на нем покорную, податливую аулсоветскую зазнобу, не требовавшую ничего за свои незатейливые утехи. Ее тоже постоянно тянуло на подвиги.

Отметившись в регистрационном журнале, как положено, спецпереселенцы и административно высланные аула "Кызыл ту" понуро разбрелись кто куда, а Гарри, стараясь не глядеть по сторонам, избегая нежеланных встреч, постукивая костылями, пошкандылял домой.

На крыше коровника, на сеновале, Гарри соорудил себе недавно укромный уголочек. "Логово хромого волчонка", — так окрестил этот закуток кто-то из зубоскальцев-интернатовцев. Логово ему нравилось: в солнечные весенние дни здесь было тепло, уютно, тихо. Плотно слежавшееся сено защищало от все еще колючего ветра, пахло свежестью, прошлогодним духом степи. Здесь, лежа на старом, местами облысевшем, овчинном тулупе, подложив под грудь подушку, укрывшись ветхим лоскутным одеяльцем, он готовил уроки, читал пухлые романы, подолгу грезил, глядя на проплывавшие в волглой синеве тучки, сочинял стишки, дробя казахские строки на лесенки под Маяковского, придумывал составные рифмы, вслушивался в доходившие до него, на верхотуре, аульные звуки — скрип арбы, цокот копыт, фырканье лошадей, треск колодезного журавля, лай собак, кудахтанье кур, победная перекличка петухов, гвалт мальчишек, гонявших тяжелый войлочный мяч на пустыре, всматривался на оживающие после затяжной зимы луга вдоль Ишима.

Думалось легко: мысли беспорядочно роились в голове, теснились, спешили, точно резвые облака на бездонном небе. Это было действительно логово, где Гарри чувствовал себя защищенным и свободным. Онкель Давид приволок ему сюда старый, обтерханный чемодан, в котором Гарри хранил свои книги, тетради, пару заветных блокнотов со стихами и зашифрованными юношескими тайнами, чернильницу и ручки. Олькье доставляла ему сюда хлеб, молоко, домашний сыр, штрудели с тыквой и свеженспеченные брецели. Отсюда, как на ладони, обозревался почти весь аул.

Конец апреля нынче выдался на редкость мягким, пригожим. Снег, изъеденный теплыми ветрами, сошел с полей. Ишим входил в берега, наполнив водой прибрежные озерки и старицы. Волглый воздух пьянил, распирал грудь. Чувствовалось дыхание новизны, радостного обновления природы. Синь неба густела, и легкие облака гуляли-плыли по небосводу, точно барашки-ягнята на лугу. Со степей налетал-резвился веселый тугой ветерок, шевелил сено, теребил кусты акаций вдоль плетня.

И только на душе Гарри было смутно и тревожно. Он сам не понимал, что с ним происходит. Стал раздражителен, задумчив. Что-то неведомое, необъяснимое тяготило его. Отчего этот сумбур, эта непостижимая, гнетущая маета, эти приступы неприкаянности и отчаяния? Поневоле слагались в голове какие-то обрывочные, беспомощные строчки. То он, как заведенный, бормотал назойливо вертящиеся в памяти стихи. "Выхожу один я на дорогу..." — все вновь и вновь шептал он про себя, поражаясь магической эмоциональной плотности этих, казалось бы, столь простых слов, и без конца обыгрывал их, интонировал по-всякому, переводя смысловую нагрузку фразы то на "выхожу", то на "один", то на "я", то "на дорогу", отмечая про себя эту таинственную многозначность. Потом также подолгу смаковал слова в строке: "Ночь тиха, пустыня внемлет Богу", очарованный непостижимым колдовством в сочетании слов, точно видел, слышал, осязал, как в тихую, безветренную ночь бескрайняя застывшая и одновременно оживающая, точно безмолвная пустыня, чутко, доверчиво, охваченная экстазом, внемлет... это надо же так сказать!... внемлет, в-нем-лет Богу. И тут же приходил на память Абай: "Желсіз тунде жарык ай..." — "Тихой ночью при луне", и

...же как бы обсасывал, точно леденец, каждое абаевское слово, радуясь внутренней силе, восторгаясь магией словесного узора, сотканного божьим даром поэтов. Нет, ему, Гарри, никогда так не сказать. Не дано ему это, сколько бы книг он не прочитал, сколько бы не извел бумаги, слагая какие-то безвкусные стишки, мучительно подбирая рифмы, загоняя затертые, покрытые коростой, обыденные слова в заемный ритм. И как же это получается у больших поэтов? Почему те же слова, привычные, знакомые, у них светятся, волнуют, играют бесконечными гранями? Почему знакомые, вытверженные наизусть их стихи, оборачиваются загадочной новизной и часто кажутся незнакомыми, будто ты услышал их впервые? Значит, есть какая-то тайна. Есть некий дар, не зависящий от знания, старания, учености. И это ужасно! Выходит, ничего не зависит от твоей воли, характера, целеустремленности, прилежания? А он, Гарри, уповал ведь только на это, на свою волю и настойчивость, на упорство, а, оказывается, все это ничто, если в тебе изначально не заложена некая могущественная сила, которую невозможно определить, выразить простому смертному, вооруженному заемным умом и книжными премудростями. Тогда в чем смысл его стараний? Зачем ему эти бесконечные пятерки по всем предметам? Ради чего, если они в сущности ничего ровным счетом не определяют и никак не гарантируют успех в жизни, в будущем.

Эти мысли обессиливали Гарри, усугубляли его маету, душевную смуту.

"И не жаль мне прошлого ничуть..." Может, и того, кому в голову пришли однажды эти строки, обуревали такие же сомнения, может, и его терзали подобные думы...

А какое у него, Гарри, прошлое? О чем ему-то можно жалеть? Оно ему казалось безрадостным, пустым, сотканным из обид, унижений, лишений и тягот. В самом деле, что же было в его прошлом? Зыбкие, как туман над Ишимом в весеннюю пору, куцые детские воспоминания, какие-то шалости, забавы с детворой в далеком поволжском немецком селе, вечная озабоченность родителей, старавшихся хоть как-то накормить, одеть, обуть ораву детей... еще что? ... ну, пожалуй, редкие праздники, деревенские, осенние, после уборки, свадьбы, упругие, волновавшие детское воображение, звуки колхозного духового оркестра, который на немецких свадьбах

почему-то особенно лихо играл марш "Прощание славянки"... ловля ленивых раков в пруду... жгучая зависть к тем счастливчикам, у которых водились велосипеды, примета высшего благосостояния. Ну, наверное, и все... все мелко, незначительно. А началась жизнь с трагической ноты, с насильной депортации, именуемой стыдливо эвакуацией, с разлуки со всем, что казалось родным, кровно близким и вечным, заданным и определенным раз и навсегда. Выселение немцев с насиженных мест и послужило той черной вехой, резко разделившей его, Гарри, прошлого с настоящим. "И не жаль мне прошлого ничуть..." Все вместилось в эту строчку. А что было дальше? Скитание, голод, унижение, чужбина, иной язык, иные нравы... без жилья, без опоры, где все временно и неопределенно, сплошная нужда, угнетенность духа и неуверенность. И еще болезни, болезни... всякая пакость к тебе пристает... с двенадцатилетнего возраста на распроклятых костылях, отчего и вовсе чувствуешь себя обузой, всем в тягость, беспомощным и ненужным. А что ждет впереди? Далеко ли ускачешь в жизни на костылях? Чего добьешься в будущем? Так и будешь век свой чикилять на обочине безрадостного бытия. И не вырваться тебе из аула, не уйти от комендатуры, так и прозябать тебе здесь до скончания века.

Гарри чувствовал себя Серой Шейкой из детского рассказа, несчастной уточкой с покалеченным крылом, поневоле отставшей от стаи и одна-одиношенька мыкающей горе у замерзающей полыньи... И от жалости к себе у Гарри наворачивались слезы на глаза.

"Кому я нужен, такой больной, незадачливый, нескладный?!" —с тоской вопрошал себя Гарри в своем закутке на крыше коровника. Что из того, что он прилежно учится, что он школьный активист, что у него, как говорят мугаллимы, есть способности?.. Все обман, мишура. Можно сколько угодно книг прочесть, а на кусок хлеба не заработаешь, как говорит его брат-кузнец. Был бы здоров, можно б было еще на что-то надеяться. А так... Ах, Серая Шейка с поломанным крылом... сторожишь свою полынью, пока лиса за горкой не спапает тебя однажды...

"Жду ль чего?.. Жалею ли о чем?"... Как точно угадал странный, мятущийся поэт состояние какого-то юного спецпереселенца из аула "Кызыл ту"! Подобные мысли посещали

Гарри особенно остро после очередного приезда коменданта из районного управления НКВД.

Раньше он этому не придавал значения, только видел, как братья и сестры, "отметившись" в аулсовете, несколько дней ходили хмурые. Поначалу на встречу с комендантом ходили даже с робкой надеждой, все ждали, что вот-вот объявят о реабилитации, снимут все ограничения и разрешат вернуться на родину, в родные дома на Волге, где, вновь собравшись все вместе, заживут, как прежде настоящей жизнью. Но проходили месяцы, годы, случалось, менялись коменданты, а надеждам не суждено было сбыться. Однажды комендант Волоуев под большим секретом прочел спецпереселенцам грозный Указ о том, что немцы, чечены, ингуши, финны и прочий неблагонадежный контингент выселен НАВЕЧНО и самовольное нарушение правил об ограничениях карается каторгой по ДВАДЦАТИ лет. После этого спецпереселенцы потеряли всякую веру и надежду и отныне чувствовали себя каторжанами — от стариков до новорожденных — на веки вечные. Жить с таким ощущением становилось невмоготу. Именно с этого времени в сердце Гарри и поселились неизбывная обида и несусыпная боль, которые неотступно подтачивала его неокрепшую волю и хилую плоть изо дня в день, из года в год. И ничего поделать с собой он не мог.

Вокруг простиралась неоглядная ширь. Над головой синело бездонное небо. А Гарри чувствовал себя в тупике, в теснине, где, казалось, и дышать становилось порой невозможно. Он твердил в такие мгновения слова из сказки: "Все пещеры медными дверями затворены, железными засовами заперты, золотыми замками увешаны". Все так, только замки не золотые, а железные, проржавленные, амбарные, которые и кувалдой не собьешь. Он и сейчас вслух повторил эти слова из сказки и вспомнил недавний, в прошлую зиму, разговор с Николаем Вагнером из Марьинки. До этого о нем он ни разу не слышал, и заехал Вагнер со знакомым Давида Павловича, врачом из санэпидстанции, тоже, как выяснилось, административно высланным, всего на несколько часов. Пока этот врач вместе с Давидом Павловичем обходил аул, Вагнер остался наедине с Гарри.

Этот крепко сбитый, рыжеватый, немногословный, рано высевший молодой человек как-то сразу располагал к себе.

Из разговора выяснилось, что он всего лет на пять старше Гарри, но производил впечатление опытного, бывалого, очень самостоятельного человека. О таких говорят обычно: "Прошел и Крым, и Рым". Заметив на этажерке шахматную доску, гость поинтересовался:

— Играешь?

— Немного, — смутился Гарри.

— И разряд есть?

— Какой разряд в ауле? Но считаюсь школьным чемпионом.

— А играют, небось, двое-трое? — усмехнулся Вагнер.

— Нет, человек десять наберется.

— Ух, ты! — опять осклабился Вагнер. — Сразимся?

Гарри почувствовал себя польщенным: ему впервые предстояло помериться силами с шахматистом из района. Тут же расставили фигуры, и Вагнер, приговаривая нелепые фразы "Ай да ход! Не ход — пароход! А вот и шахинян! И еще один шахеус! А вот вам, батенька, и матанович! Или маташвили!", легко выиграл две партии подряд. У Гарри запылали уши, он вроде играл сосредоточенно, серьезно, но Вагнер делал какие-то неожиданные, замысловатые ходы, жертвовал фигуры, и все получалось у него легко, изящно и просто.

— Неплохо, — снисходительно заметил Вагнер. — Но нет никакой дебютной подготовки. А играть по наитию, тяп-ляп — самодеятельность.

Гарри, задетый за живое, и вовсе расстроился. Вагнер перевел разговор.

— Лет-то сколько?

— Семнадцатый.

— Да-а? — почему-то удивился Вагнер. — На учете состоишь?

Был Вагнер бодрячок-здоровячок. Лицо красное, обветренное, под толстым, крупной вязки, свитером бугрилась грудь, ладонь широкая, мозолистая, небольшая, лысеющая голова крепко сидела на толстой, короткой шее. От всей его ладной фигуры веяло неукротимостью, напористой силой.

— На каком учете? — переспросил Гарри, хотя и догадался сразу, о чем речь.

— Учет у нас один, — ухмыльнулся привычно гость. — Спецкомендатуры НКВД.

— А-а... состою.

— "Состою", — передразнил Вагнер, налягая на "о". — Ты что, в казахской школе учишься?

— Да. Русской в ауле нет.

— Вон как! А в райцентре казахской нет. Акцент чувствуешь?

— Какой акцент?

— А окаешь, как Горький. Сам не замечаешь, что ли?

Нет, Гарри этого за собой не замечал. И никто ему об этом никогда не говорил. Считалось, что в школе среди учащихся он говорит по-русски лучше всех. Сам он тоже считал, что говорит правильно, сносно, ибо постоянно подмечал разные речевые несуразности братьев, сестер и даже Давида Павловича, особенно когда в разговоре между собой они безбожно мешали немецкие, русские, казахские слова, и, бывало, высмеивал их тарабаршину-каудервельш. Выходит, и у него по части русского произношения не все в порядке. А, может, этот лысеющий здоровячок из Марьинки просто-напросто зануда, придира или задавака?

— Так, так... Когда отмечался в последний раз?

— В конце того месяца.

— И как? — пытливо скосился Вагнер.

— Что как?

— Хм-м... Странная, однако, у тебя манера. На вопрос отвечаешь вопросом. Это, между прочим, некорректно. Я спрашиваю: ну, и как? Что вам новенького сообщил гражданин комендант? Что ты при этом испытываешь? Сколько еще, по-твоему, это рабство продлится?

— Так, еще в прошлом году сообщили, что высланы мы все навечно.

— Да-а?! — изумленно-ехидно протянул Вагнер. — Так-таки навечно?!

Гарри не знал, что ответить. Но язвительность и внутренняя непокорность гостя понравились. Казалось, он знает нечто больше, чем спецпоселенцы колхоза "Кызыл ту", а, может, и самого коменданта, особенно такого, как Борибасаров.

— Навечно и сумасброд Адольфик не удержался. Рухнут в свой час и другие. — Вагнер злорадно усмехнулся, быстро оглянулся. Бычья шея налилась краской, точно вздулась. — Пойдем на воздух. Покурю.

Вагнер ничем не походил на знакомых аулчан. Даже всем внешним видом, осанкой, манерами, жестами отличался. Ходил упруго, чуть косолапо, сбычив голову, сжав кулаки. Зорко и исподлобья поглядывал по сторонам. На собеседника смотрел в упор, жестко и насмешливо. Хотя и жил-то он всего в двадцати пяти километрах, в районном центре, но казался пришельцем из иного мира. Чудилось будто ему ведомо нечто такое, о чем знает только он и что он от всех оберегает. И наверняка привык постоять за себя. От него веяло энергией и уверенностью.

В коровнике, куда они зашли, прячась от стужи и ветра, Вагнер свернул цигарку, запалил ее, затянулся. Гарри заметил, что его собеседник и спичку-то зажигал не так, как все, а крепко зажав коробок в левой руке, правой как-то резко, будто кресалом выбивал искру, чиркал спичечной головкой, мгновенно высекая яркий язычок пламени. Удивительно ловко и красиво это у него получалось. Оглядевшись, Вагнер неожиданно спросил:

— Историей увлекаешься?

— Ну... изучали историю древнего мира, средних веков, теперь — историю СССР.

— С Петра Великого?

— Да-а...

— Что, история СССР с Петра началась?

— Не знаю. Так в учебнике.

— В школьных учебниках по истории — сплошная ложь! — отрезал Вагнер. — Кстати, в вашем ауле с космополитами борьба прошла?

— Разговор вроде был, но космополитов не нашли.

— Ха! Надо же! А в Марьинке пару-тройку все же обнаружили. Удалось выявить. А вейсманистов-морганистов?

— О них у нас в ауле речи не было.

— Слава Богу! С ними и в Марьинке конфуз вышел. Таак, а Конституцию СССР тоже прошли?

— Еще в седьмом классе.

— Выходит, Конституцию изучил, в комсомоле состоишь, с буржуазными течениями не связан, редактор стенной газеты и отличник учебы и при этом каждый месяц регулярно отмечаешься у коменданта, как политический неблагонадежный. Так?!

Гарри смутился. У него эта мысль тоже не однажды возникала, но так резко и четко он ее никогда не выражал. Его удивляло то, что Давид Павлович, будучи членом ВКП/б/, также покорно, наравне с другими беспартийными элементами, отмечался у коменданта. Как-то он робко спросил об этом у Давида Павловича наедине за столом, но тот потупился, посуровел и буркнул: "Есть вещи, о которых лучше не говорить и не спрашивать". Гарри осекся. Он давно замечал, что Давид Павлович избегал говорить о политике, а перед любым мало-мальским начальством, даже перед самым ничтожным, никудышным, робел и как-то заискивал. В Гарри это вызывало всегда досаду и неприязнь. Сейчас ему подумалось, что этот рыжеватый, уверенный крепыш с замашками бунтаря, видно, из другого теста и уж он-то наверняка ни под кого подлаживаться не станет.

— А что читаешь? — продолжал допытываться Вагнер.

— Ну, Джамбула, например... — Гарри опять растерялся под натиском собеседника. Называя Джамбула, он думал озадачить Вагнера, убежденный, что он его знать не знает, и тем самым собьет с него излишнюю самоуверенность.

— Джамбула?! — с изумлением переспросил Вагнер. — "Я славлю великий советский закон". Да? "Закон, по которому счастье приходит". Да? "Закон, по которому степь плодородит". Да?!.. Нашел тоже, кого читать!

Гарри сник. В глубине души он чувствовал, что отчасти Вагнер может быть, и прав, но обескураживал его безапелляционный тон. Он не мог убедительно возразить гостю, и только пожалел, что не назвал вместо Джамбула, например, Махамбета, или Торайгырова, или Донентаева, или еще кого-нибудь из тех, кого Вагнер наверняка и слыхом не слыхал.

— Простите... а вы кто?

Вагнер тщательно погасил слюной бычок, еще и затоптал его подшитым валенком.

— Такой же, как и ты, спецпереселенец. Только старше тебя и более тертый. Об остальном, как говорится, потом. Авось, еще выпадет случай.

— Когда? Где?

— Кто знает... Может, в Марьинке. Или еще где-нибудь.

Вагнер вышел из коровника, энергично прошелся взад-вперед вдоль сугроба. Снег визгливо скрипел под его подшитыми валенками. Вдруг он порывисто обернулся к Гарри и, плотно сжав губы в упор, пристально посмотрел на него и неожиданно спросил:

— Знаешь, когда снимут нас со спецучета?

— Не-ет...

— В 1961 году! Запомни! Я так полагаю.

— Почему именно в шестьдесят первом? Так долго?

— К столетию отмены крепостного права. Потерпи — атаманом будешь.

"Странно, — подумал про себя Гарри. — При чем тут столетие крепостного права? Может, Вагнер рассчитывает на амнистию? Или он там, в районном центре, пронюхал что-то? В шестьдесят первом мне уже будет двадцать семь. Выходит, только в этом возрасте обрету свободу?.."

Озадачив Гарри, Вагнер уехал в тот же день вместе со своим спутником из санэпидстанции. В настроении его что-то переменилось. Взгляд стал жестким. Желваки грозно бугрились. Уже взобравшись в сани и укрывшись пологом, проронил вдруг:

— Ну, будь, Маугли!

— Почему Маугли?

— А почитай Киплинга — поймешь...

Это было прошлой зимой. За это время Давид Павлович встретил Вагнера раза два в Марьинке и привозил от него приветы. "Чем-то ты ему понравился", — с удивлением заметил Давид Павлович. Однажды Вагнер передал с почтовозом истрепанный, без начала и конца старый учебник шахматной игры.

Все это вспомнилось ему сейчас в закутке на сеновале. Как было бы хорошо встретиться теперь с Вагнером, поговорить с ним по душам, посоветоваться. Друзей у Гарри в ауле сколько угодно, добрым вниманием он никак не обделен, но нет ни одного, с кем он мог бы откровенно поговорить о том, что в последнее время больше всего его волнует, тяготит, терзает сердце и подтачивает волю. С Шаяхметом, Ибрагимом, Аскером, Салимом, что ли, беседовать о депортации, о комендантском надзоре, об ограничениях? Или со стариками Ергашем, Сейтходжой, Жайлаубаем, Омаром и Коспаном? Или

с Багирой? Они ведь ровнехонько ничего не знают об этом, хоть и живут с тобой бок о бок и очень внимательны и благожелательны к тебе. Для них все это просто нелепо или даже законно. Гарри ведомо, как они примерно рассуждают. Э-е, айналайн советская власть знает, что делает. Она, самая справедливая власть эта, никогда не ошибается. Айналайн наш великий вождь и родное правительство всегда и во всем поступают в высшей степени мудро. Зато всевышний творец может иногда допустить кое-какие промахи, свернуть по дряхлости лет с тропы истины, но великий вождь и его верные соратники — никогда. И раз они выслали с насиженных мест немцев, поляков, чеченцев, ингушей, крымских татар и разный непатриотичный сброд из верховий и низовий бескрайнего Советского Союза, значит, есть за что, значит, они того заслужили. Разве мы, торчащие в аулах, далеко от самого высокого начальства за тридевять земель от Москвы, в состоянии все понять-уразуметь? Значит, все эти немисы, с которыми только недавно закончилась кровавая битва, должны на просторах Казахстана терпеливо сносить все тяготы судьбы, замаливать грехи, ждать милости от власти и жить тише воды, ниже травы... Тебя разве в ауле кто обижает? Тем, что ты немец, кто-нибудь попрекает? Какой казах относится к тебе плохо? То-то и оно! Значит, нечего сетовать на судьбу.

Так думает в аулах большинство. С кем тут поговоришь? Кто тебя поймет? Кто посочувствует? Разве что пожалеют или смиренно вздохнут: "Э, что поделаешь? Еще предки говаривали: голова человека — мяч Аллаха..." А Вагнер все понимает, все растолкует, не только поддержит, но и успокоит, утешит, вдохновит, укрепит волю и веру. Братья и сестры Гарри знают не больше его. Давид Павлович избегает любой разговор на эту тему. Мария Петровна боится собственной тени. Она безумно рада тому, что ее допустили к преподаванию в школе. Ведь ей, выпускнице Ленинградского педагогического института имени Герцена, приходилось много лет до этого мыкаться телятницей в колхозе.

Выходит, одинок он, Гарри. Один, как перст, во всем Приишимье. И жаловаться некому. Какое будущее у спецпереселенца? Куда и как ему вырваться на постылых костылях? О каком предназначении говорить? Видно, на роду ему написано прозябать. Пустая, тусклая, никому не нужная жизнь...

Гарри почувствовал, как в груди его вскипают слезы. Он стиснул зубы, приподнялся, посмотрел вдаль на чуть темневшую яркую тропу к Ишиму. По ней трусил на казенном и вможденном мерине комендант Волобуев. Остудил греховный жар на расшатанном топчане аулсоветской уборщицы Зины и теперь, удовлетворенный и немного хмельной от выпитой бражки, спешит в аулы на левом берегу Ишима, где предстояло ему "отметить" разбросанных, как кизяк в степи, многочисленных спецпоселенцев и административно высланных.

Гарри вздохнул и осторожно посмотрел в сторону интерната. Вдруг промелькнет там Багира в своей розовой косыночке. Невысокого росточка, плотненькая, скуластая, смуглая, большеглазая, улыбчивая. Нынешней весной он случайно поймал на себе ее долгий, точно затуманенный взгляд. Он помнит то мгновение. Шла большая перемена: соклассники на уроке труда убирали в пришкольном саду, а он, освобожденный, сидел за партой и что-то писал. Вдруг он поднял голову и встретился взглядом с Багирой, стоявшей у окна. Он никогда не обращал на нее внимания, хотя учились вместе, в одном классе, изо дня в день второй год. И вдруг этот взгляд, таинственный, заинтересованный... Он точно вдрогнул, отчего-то смутился, пораженный, будто что-то стронулось в душе, чему он даже от неожиданности испугался. Он оцепенел, впервые увидев ее всю — и плотную ее фигуру, смоляные волосы, огромные, как у верблюжонка, влажные глаза, тугие щеки, смуглые скулы, полные губы, и удивился, как он раньше мог все это не видеть. Она чуть улыбнулась и быстро, быстро вышла, выскользнула из класса, а он еще долго сидел потерянный, словно боялся пошевельнуться, чтобы не испугать этот оглушивший его миг. С того дня он помимо воли все чаще украдкой оглядывался на нее, чувствовал, что ищет ее повсюду, что радостно и светло ему оттого, что видит ее, слышит ее заливистый смех, ее низкий, с приятной хрипотцой голос, всем своим естеством ощущает ее близкое присутствие, ликуя до дрожи всей душой. Случалось, проходя мимо, она как-то незаметно дотрагивалась до него кончиками пальцев и спрашивала сочувственно, проникновенно: "Калайсын, Гарри?" и ее глубокий голос благодарно отзывался в его сердце, и горячая волна мгновенно разливалась по всему телу. Это было

что-то неизведанное, новое, тайное, что и радовало и одновременно пугало.

Нет, Багиры не было видно. И все вокруг показалось пустым, унылым. Солнце равнодушно плыло среди белесых тучек. В березовом колке надрывались вороны. Стоял серый унылый день в унылом сером ауле. Как вчера. Как завтра. Как всегда.

Гарри зарылся в сено, уткнулся лицом в подушку и дал, наконец, волю слезам. Он чувствовал себя самым несчастным человеком на белом свете.

III

С первых пригожих летних дней они встречались в длинном узком овражке, обрамленном березками и осинами, в густых, уютных зарослях жимолости прямо за школьной оградой. Место было укромное, недоступное, казалось, любопытному взору, даже вороватый шальной ветерок не особенно досаждал, а им же, напротив, из-за деревьев и диковинного разнотравья хорошо просматривалась вся окрестность. Это придавало их свиданиям таинственность и немой восторг. Она приносила с собой туго скатанное ветхое интернатовское покрывало; развернув, аккуратно стелила его на плотный травяной ковер под молодой, с клейкими листьями, березкой и, оправив легкое ситцевое платьице, привычно огладив крутые бедра, скромно усаживалась с краешка, деликатно предоставляя ему возможность расположиться поудобней.Он благодарно оценивал про себя эту ее заботу. Отшвыривал костыли в сторону и, защищая больную ногу, на вытянутых руках довольно ловко опускался на покрывало, рядом с ней, доставал из полевой сумки с плеча учебники, тетради, карандаши, заветный блокнот со стихами и мудрыми мыслями, и они начинали готовиться к очередному выпускному экзамену.

— Итак, билет тринадцатый, — говорил он. — Вопрос первый.

— Все еще тринадцатый? — досадливо морщила она носик.

Оба были рассеяны, опостылевшая школьная премудрость в голову не лезла. Она то и дело расплетала и вновь заплетала тугую, как конская грива, косу, покусывала былинку, задум-

чиво смотрела вдаль, и зрачки ее то сужались, то расширялись, и в черной их глубине вспыхивали, мерцали таинственные искорки.

Смущенный и взволнованный ее близостью, он тщетно пытался сосредоточиться и вникнуть в текст, проборматываемый им скучным, деревянным голосом, помимо воли косился на ее круглые, смуглые коленки, на обнажившиеся на мгновение подмышки, когда она, высоко поднимая руки, колдовала со своей жгучей гривой, жадно вдыхал исходящий от нее пьянящий запах и с недоумением и желанным страхом чувствовал, как прокатывался по всему его телу то жар, то озноб, отчего обрывалось у него дыхание и руки покрывались гусиной кожей. Он боролся с неодолимым искушением, необоримым соблазном дотронуться до ее жестких, потрескивавших под костяным гребнем, маслянисто поблескивавших, немыслимо густых волос, погладить тугие, смуглые икры до колен и чуть-чуть выше, выше смугло-нежного изгиба, и, вообразив, как он это сделает — слегка, как бы невзначай, едва касаясь кончиками пальцев — он вздрагивал, зажмуривался, испытывал сладкое головокружение, будто плыл, качался на волнах невыносимой нежности и блаженства.

— Ты что это бормочешь, Гарриым-ау?! — доносился, точно сквозь туман, ее насмешливо-дивный голос. И душа его замирала, млела не только от колдовской интонации ее глубокого, грудного голоса, но от самих этих слов-обращения: "Гарриым-ау" — "Гарри ты мой!", даже еще точней, нежней, милее — просто непередаваемо — "Ах, Гарри ты мой", "Гарри, мой милый"... Никто никогда в жизни не называл его так ласково, задушевно и доверчиво.

— Я вовсе не бормочу, а нормально, врастяжку читаю, чтобы все влезло в твою умную голову.

— Нет, ты бормочешь, — настаивала она и легла рядом, прижимаясь к нему боком. — И потому в мою умную голову ничегошеньки не лезет.

Его бросало в жар от ее близости, оттого, что прямо возле его губ пульсировала под смуглой кожей на шее темная жилка; он отводил глаза и тотчас заметил выступавшие под тонкой тканью позвонки и не удержался, осторожно провел мизинчиком по ним вдоль хребта. Она тихо засмеялась:

— Ой, щекотно...

Он осмелел, пробежал пальцами по позвонкам ее, точно по клавиатуре аккордеона.

— Ну, перестань, Гарри... Не балуйся. Читай!

— Но ты же все равно не слушаешь.

— А ты читай.

— Я и читаю.

— Нет, ты не читаешь, а бормочешь... и меня... и меня разглядываешь.

— Да? — весь вспыхнул он.

— Да. Разглядываешь и отвлекаешься.

— А ты куда смотришь?

— Я?

— Да, ты.

— Я... я на облака смотрю. На небо.

— Да?

— Да... представь.

Она проворно перевернулась на спину, даже не оправила чуть задравшееся платье, закинула руки за голову, обдав его возбуждающим запахом подмышек, и посмотрела застывшими глазами ввысь. В больших черных глазах ее задумчиво плыли облака, мерцал купол неба.

— И что ты там видишь? — враз осипшим голосом спросил он.

— Облака вижу... бездонную глубь вижу... — томно, будто с ленцой, проговорила она. — Знаешь, мне кажется, там... далеко, далеко... есть какая-то жизнь. Таинственная и прекрасная... Все окутано дымком, все клубится... Другая жизнь. Понимаешь?

— Райская, хочешь сказать?

— Не знаю... райская или нет. Другая. Не такая, как на земле.

— Взгляд у тебя нематериалистический. Идеалистические бредни какие-то. Мистика.

— Не умничай... Ты смотри, смотри...

Он не мог сейчас смотреть на небо. Он вообще ни на что смотреть не мог и не желал. Ему хотелось смотреть только на нее, касаться ее с радостью и трепетом, погладить коленки, зарыться лицом в ее тяжелую, полурасплетенную косу, осторожно положить руку на бугрившуюся грудь, прижаться губами к пульсирующей жилке на смуглой шее. Сердце его

колотилось, подкатывало к горлу. В глазах все колыхалось, рябило. Похолодев от страха восторга, он придвинулся к ней, обнял за плечи, уткнулся носом в ее подмышку, замер. И она, он это чувствовал, вся напряглась, задержала дыхание.

— А-а... вот вы где! — раздался над ними удивленный возглас. Он отшатнулся, будто враз вынырнул из омута. И она резво села, откинула косу за спину. Рядом, хохоча, стояли Бейсен и Еслямгари. И когда они только подкрались?

— Застали голубчиков на месте преступления!

— Чего испугались-то? Или помешали?

Багира темно-смуглая, и смутится — не заметишь. А у Гарри сразу вся краска на лице.

— Нет, нет... — пролепетал он. — Просто занимаемся.

— Чем? — съязвил Еслямгари.

Багира полыхнула на него черными глазищами.

— И далеко зашли в своих занятиях? — полюбопытствовал Бейсен.

— Да вот... — Гарри пришел в себя, полистал тетрадь. — До тринадцатого билета.

— Х-ха! Вот дают! До тринадцатого билета мы разве еще не вчера дошли?

— Так мы повторяем, — досадливо заметила Багира.

— Если мы к вам присоединимся, возражений не будет?

— Что вы?! Пожалуйста! Только веселее продвинемся.

Неизвестно, откуда нарисовались вдруг Шаяхмет с Зурой. У каждого охапка книг.

— Ну оставьте тары-бары. Будем заниматься, — решительно сказал Гарри.

— Давай!

Самые ответственные выпускные экзамены — устные и письменные по казахской и русской литературе, по математике и физике — уже остались позади, а впереди были испытания еще по семи предметам, но уже чувствовалось, что все уже заметно размагнитились, лишились недавней остроты чувств и волнения, даже к строгим экзаменаторам — представителям районо и облоно успели привыкнуть, ибо в душе и нерадивые сознавали, что теперь-то уж вряд ли их провалят, дохлый троячок наверняка каждому на худой конец обеспечен и аттестат в положенный срок — никуда не денутся — выдадут. И все уже все чаще раздумывали о том, куда по-

ляться на учебу, в какой вуз легче пройти, есть ли смысл рискнуть в дальнюю дорогу в Алма-Ату или благоразумнее довольствоваться педагогическим институтом областного центра. И хотя до выпускного вечера оставалось еще три недели, в возбужденные головы выпускников Кызылтуской средней школы настойчиво лезли заботы о том, как раздобыть средства на дорогу, на одежку-обувку, смогут ли рассчитывать на щедрость близких и дальних сородичей, что продадут буренку или согумного бычка и наскребут таким образом мало-мальский "тиын-тебен".

Большинство успело-таки определиться: все мечтали об Алма-Ате. По слухам, в тамошние институты охотно принимали выпускников Кызылтуской казахской средней школы, отмечали их приличную подготовку. Кто-то подсчитал: в разных вузах Алма-Аты одновременно учились около шестидесяти выпускников этой школы, и земляки якобы жили в славной столице очень дружно, отмечали все праздники вскладчину непременно вместе, заботились друг о друге, не давали никого в обиду. Старшеклассники знали точно, кто из их предшественников в каком институте обосновался. Названия КазГУ, КазПИ, СХИ, ЖенПИ, ИнЯз, Физкульт, Политех, Зоовет не сходили с уст аульных грамотеев. Знали все: где больший конкурс, где престижней, где богаче стипендия и лучше общежитие, есть ли в будущем спрос на профессию и какая ждет зарплата. Все это на все лады обсуждалось, обмозговывалось, обсасывалось и каждый из выпускников по своему разумению приспосабливался, приноравливался к своей взлелеянной в душе мечте. И теперь, готовясь к очередному экзамену группами по пять-семь человек, нет-нет да и возвращались вновь и вновь поневоле на эту уже изрядно истоптанную в мыслях и разговорах тропу — кто где и как испытает свою норовистую судьбу и как бы при этом не прогадать, не ошибиться, не просчитаться.

— Таната из "Социала" помните? Рослый, видный, опрятный такой. С серебряной медалью еще школу окончил.

— Ну?

— Так он на геолога учится. В политехе. Стипендия выше всех.

— А Салим учился всегда посредственно. Теперь же в ИнЯзе в отличниках ходит. Девки от него без ума.

— Да-а... Кто бы подумал?!

— Вот так! А всех выше взобрался Аманжол из Каратала. Он в Москве учится, в МИМО.

— Ну, он ведь русскую школу в Марьинке окончил. С золотой медалью.

— Куда нам!..

Гарри досадливо отшвырнул учебник.

— Эй, вы болтать сюда пришли или к экзамену готовиться? Трепачи, пустомели! Мы же топчемся на одном месте.

— Ойбай, прапеср Балтыр... извини, прости, — ерничал Бейсен.

— Нет, в самом деле... какой смысл от ваших яловых разговоров?!

— Все-все, Балтыр-жолдас! Слушаемся и повинуемся.

С трудом сосредоточились, одолели два-три вопроса, опять застряли. Багира, заскучав, уставилась на плывущие по сини неба белесые облака. Шаяхмет, насупившись, принялся рассматривать портреты славных батыров Советского Союза. Еслямгари принялся лапать тутотелую флегму Зуру.

— Нет, это не дело! — решил Гарри. — Какие там занятия, когда в башках ваших ветер свищет?

— Что делать?

— Будем заниматься в отдельности или по двое-трое.

— Э-э, все ясно. Намек понял, — скривил тонкие губы Бейсен. — Гарекен предпочитает заниматься с Багирой.

— Я этого не сказал! — Гарри вспыхнул. — Мне, может, интересней с тобой заниматься.

— Э, ладно... Айда, ребята. Оставим Лейлю и Меджнуна наедине.

— Трепло! — вырвалось у Багиры. Она швырнула увесистый учебник по истории СССР в Бейсена. Тот ловко увернулся, осклабился:

— Айналайн, аппақ қыз... белоликая моя. — Это он так дразнил Багиру, намекая на ее чернявость.

Они искали уединения. И облюбовали для желанных встреч одинокую боярку на отшибе аула возле заросшего кугой и ряской томара — болотной низины, естественного котлована, заполняемого весной талой водой. Сюда Гарри приходил с рассветом, прихватив из дому бутерброды и пампушки-креб-

ос ш с бутылочкой молока. Расстелив поверх еще влажной с утра осоки старый плащ, повесив широкополую шляпу на ветку, он с радостным сердцебиением смотрел в сторону интерната, стараясь не пропустить то счастливое мгновение, когда из-за покосившегося плетня Есильбаевского огорода мелькнет плотненькая, упругая фигурка Багиры.

Над Ишимом редел, истаивал туман. Перламутровые капельки поблескивали на травинках. Степные воробьи затеивали свою возню в ветках боярки, поклевывали едва заметную завязь. Из аула доносились приглушенные звуки: лязг колодезной цепи, лай собак, скрип колес, детский крик. Сочное июньское солнце все выше поднималось над степью.

Весь год и в школе, и в ауле много было разговоров о том, что Гарри идет на золотую медаль. Все годы из класса в класс он шел в отличниках. Даже районная газета "Новатор" заранее оповестила, что выпускник Кызылтуской казахской средней школы Вальтер претендует на золотую медаль. Он, дескать, не только отличник учебы, но активный общественник, редактор школьной стенной газеты, комсомолец, член учкома, чемпион школы по шахматам, аккордеонист школьной самодеятельности. В то, что он может стать золотым медалистом, со временем поверил и сам Гарри. Почему бы и нет? Ни мугаллимы, ни соклассники в том не сомневались. Так и говорили: "А кто еще, если не ты? Ты — шаппай бер. Первый приз тебе обеспечен и без скачек". Настораживало только, как всегда, категорическое суждение Вагнера, еще полгода назад сказавшего однажды: "Брось! Выкинь из головы. Спецпереселенец, под комендатурой и золотая медаль?! Две вещи несовместимые". Такого же мнения придерживался и брат Антон: "Сроду не поверю, чтобы немцу дали медаль!" Давид Павлович решительно возражал: "Вздор! Причем тут немец-спецпереселенец? Никакой политикой тут и не пахнет. Речь идет исключительно об успеваемости и прилежании. Он ученик казахской школы. Он учился все годы по-казахски. Он и сочинения пишет на казахском языке. И его именно поэтому поддержат". Вагнер ухмылялся и оставался непреклонным: "Все верно. И даже стишки кропает по-казахски. Но... — Он многозначительно поднимал указательный палец, — ...не ка-зах!"

Эти споры-разговоры не задевали всерьез сознания Гарри. Он полагал, что главное — сдать все экзамены на "отлично", важно, чтобы сочинения по русской и казахской литературе, отправляемые на утверждение в облОНО, не подкачали, и тогда... тогда и вожделенная медаль, можно считать, в кармане. В душе он считал, что Давид Павлович прав, и пока все, действительно, шло как по маслу. Сочинение по казахской литературе он накатал размашисто, свободно, легко на четырнадцати пронумерованных страницах, что-то даже выразил в стихах, и эпиграф, цитаты подобрал — комар носа не подточит, и Жылгельды-мугаллим остался доволен: "Не всякий казах так напишет. Областным грамотеям придраться не к чему". И с сочинением по русской литературе он, кажется, справился. Правда, — он это чувствовал, — здесь он был более скован, предложения строил сухо, боясь что-то напутать в дебрях сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, в обилии придаточных. Мария Петровна под секретом доложила Давиду Павловичу: "В общем нормально... Были две-три "блошки", но я их тщательно подправила". Что это были за "блошки", Гарри так и не понял.

Поговаривали, что школьное руководство решило на всякий случай, для страховки, подготовить еще одного кандидата на медаль. Мол, кто его знает, как еще все обернется с Гарри. Нельзя же, в самом деле, чтобы столь прославленная школа не представила ни одного медалиста. И тут речь вдруг зашла о Назипе, отличавшейся весьма скромными способностями. Вскоре всезнающие интернатовцы прознали, что перепуганную Назипу вызвали тайком, чуть свет, в директорский кабинет, заперли ее на полдня, заставляя под приглядом Марии Петровны и мугаллима Жылгельды тщательно переписать сочинения по русской и казахской литературе. Об этом случае говорили шепотом, украдкой, как о постыдной тайне. Сама Назипа ходила с того дня как в воду опущенная, скрывалась от всех, замкнулась и занималась где-то в одиночку. Учителя принялись вдруг все ее срочно натаскивать, консультировать, а кто-то из особенно доверенных директору якобы заблаговременно нашептывал ей, где лежит специально помеченный для нее билет, который она должна была выбрать в присутствии всех членов госкомиссии и, набравшись храбрости, сразу же, без подготовки, ответить, на что скромница, серая

шапка Назипа, к удивлению и осуждению соклассников, и решилась на экзаменах по истории и казахской литературе устно. Говорили, что Назипа — все равно что подставная лошадка, которую в нарушение всех правил подключают к гонке уже во время скачек, из засады, уже ближе к финишу.

О выпускниках этого года почему-то шушукались в ауле все. Выяснилось, что это был десятый по счету, а следовательно, юбилейный выпуск — знаменательный случай в истории школы. И аульные мужи, отцы-азаматы, решили особенно достойно отметить такое событие. Прежде всего было задумано провести грандиозный той-пир с приглашением родителей, родных и близких самих выпускников, а также знатных людей и, понятно, начальства ближних аулов. Разумеется, будут и представители из района. Уже стало известно, что баскармы трех аулов пожертвуют на пир по откормленному холощенному барану, еще один колхоз обязался подготовить четыре фляги кумыса, а родительский комитет вкупе с аулсоветом доставят из областного центра аж целую бочку заводского пива. До выпускного торжества оставалось еще недели две, но в аулах все от мала до велика уже облизывали губы, предвкушая тот радостный миг, когда можно будет подносить ко рту большую пиалу с пенящимся бочковым пивом, о котором редко кто из аулчан имел представление.

Известен был и примерный сценарий небывалого тоя. Вручать аттестаты должен сам директор школы. Каждого выпускника поименно и торжественно объявлять и представлять будет громоподобный Калау Тайжанов, кратко и энергично характеризуя его достоинства. Первыми будут объявлены медалисты — Гарри Вальтер (Аллах даст, золотая медаль) и Назипа Шенгельбаева (скорей всего, серебряная медаль), и струнный оркестр под управлением фельдшера Давида Эрлиха трижды сыграет торжественный туш.

Ну, а потом начнется застолье с речами, приветствиями, песнями, шутками до самого утра, и тут уж развернется вовсю, блеснет своими талантами непревзойденный тамада-краснобай муталлим Жылгельды. Ужон-то подкинет столько жару, что и мертвые загорланят "а-ляу-ляй" и пустятся в пляс. О, что и говорить, это будет выдающееся событие, о котором не один год станут вспоминать во всех аулах Приишимья!..

"Медальный вопрос" настораживал. Гарри замечал озабоченность Давида Павловича; почудилось ему, что и Мария Петровна и некоторые мугаллимы избегают с ним встреч, и директор школы с ним холодно-вежлив, и классный руководитель вроде как прячет глаза. И было неясно, то ли он, Гарри, хваленый ученик, каким-то образом, подкачал, подвел, не оправдал надежд и доверия наставников, то ли вообще что-то непостижимое происходит с его гипотетической медалью, что-то такое, о чем и говорить вслух не подобает. Настораживала и загадочная возня с Назипой, то, что вдруг неожиданно и усиленно, спешно начали выдвигать ее в медалисты. Слух прошел, что где-то в верхах кто-то якобы сказал: "Что вы делаете? Что это за казахская школа, в которой медалист не казах, а приблудный немец? Это же курам на смех! Готовьте казаха, а желательней — казашку". Такая, мол, установка. И говорить об этом стали все явственней и настойчивей. И все вокруг все более склонялись к разумности такого представления. В самом деле, получается-то не очень складно: единственная в районе казахская средняя школа и единственный медалист в юбилейном-то году — немец-спецпереселенец?! Это как изволите понимать? Ну, пораскиньте мозгами, вникните в суть. Ведь политически того... совсем не убедительно, скорее всего, даже сомнительно. Что подумают в районе, в области? Ну, пусть успешно учится ваш этот... как его... Гарри Вальтер, пусть получает аттестат, даже грамоту можно дать, но чтобы золотую медаль — это уж слишком. Видно, сельские наставники столь привыкли к своему любимцу-ученику, что совершенно упустили из виду, что он все же не совсем казах, а Гарри Вальтер, да, да, и по раскладке верховных властей он идет совсем по иному гражданскому разряду. Ну, хорошо, так уж получилось, что он все девять лет, со второго класса проучился в казахской школе и теперь ее заканчивает, ему — честь, школе — слава, но не годится терять бдительности и безоглядно поощрять пришельцев со всех низовий и верховий империи, а необходимо оставаться в рамках, предопределенных властями. Не так ли?..

Ничего об этом Гарри не знал и не предполагал. Он и представления не имел о том, что судьба "его" медали зависит, оказывается, не от его старания, знаний, прилежания, воли, упорства и настойчивости, что все это, в сущности, так, so

nebenbei, что решается этот вопрос совсем в иных сферах, в других кабинетах, иными людьми, перед которыми не только он, но и его наставники, сам директор школы и представители рай- и облоно абсолютно ничего не значат.

Все его существо, все его думы были заняты сейчас Багирой, одной Багирой, только Багирой. Одна ее по-детски открытая улыбка, ее сияющие влажные глаза, ее глубокий, грудной голос, каким она тягуче-томно, что по-казахски называется словом "наз", произносила его имя: "Гарриым-ау", один ее очаровывающий, вбирающий его всего взгляд властно вытесняли, отодвигали, оттирали и стирали все, что происходило вокруг. Все лишалось смысла, все, все, кроме Багиры, одной Багиры, только Багиры. Засыпая, он живо воображал ее рядом с собой, с трепетом в сердце вспоминал каждое ее слово, каждый жест, каждое движение, ощущал нежные завитушки возле ее ушка, тяжесть ее косы, прикосновение ладошки, и запах ее обволакивал его всего до головокружения, а, просыпаясь, он шептал ее имя, вкрапливал его в строки известных ему любовных стихов, торопил тот миг, когда он мог вновь увидеть ее и почувствовать рядом там под открытым небом, возле одинокой боярки, в зарослях осоки у болотной низины.

Их отношения не были секретом в ауле. Знали и учителя, и интернатовцы, и Давид Павлович, и добрейшая Олькье, и придурковатый аульный пастух Океш. К их влюбленности относились очень просто, с улыбкой, с сочувствием. Никто не сплетничал, не судачил, не говорил гадости. Олькье пуще прежнего заботилась о братишке, старалась подкармливать его чем-то вкусненьким, следила за тем, чтобы он ходил всегда чистый, опрятный. Она вообще души не чаяла в нем. Очень гордилась его школьными успехами, мечтала, что получив золотую медаль, он будет и дальше учиться. До сих пор никому в роду Вальтеров не было суждено получить даже среднее образование. Это Олькье настояла на том, чтобы забрать брата к себе, как только она вышла замуж. И Давид Павлович охотно с этим согласился. Гарри ему всегда нравился: аккуратен, прилежен, много читает, проявляет способность в музыке, прилично играет на мандолине, балалайке, гитаре, аккордеоне, всегда находит себе занятия, стойко переносит свой недуг, а в подготовке ежемесячной, квартальной, полугодовой и годовой отчетности по медобслуживанию населения и вовсе оказал-

ся незаменим. Все у него получается тип-топ, все цифры сходятся безукоризненно, и начальство из райздрава неизменно ставит отчеты Кызылтуского фельдшерско-акушерского пункта всем в пример. Уже с шестого класса Гарри отменно вел всю необходимую "писанину". Кроме бесчисленных отчетов, он своим красивым, четким почерком переписал в общую тетрадь все выводы в конце каждой главы из "Краткого курса ВКП(б)", и эта тетрадь, свидетельствовавшая о политическом самообразовании сельского фельдшера, в партийных органах района производила убедительное впечатление. Когда на семейном совете было принято решение о том, что Гарри перейдет жить к Олькье, Давид Павлович поставил два условия: во-первых, Гарри обязан отлично учиться и подавать в школе всем и всегда образцовый пример, а во-вторых, не болтаться между двумя домами, когда и как ему вздумается, а жить только у них, у сестры и швагеря-зятя, на правах члена семьи со всеми подобающими обязанностями. Гарри согласился. У Ивана и без него забот было предостаточно, Эмма едва ли не ежегодно производила на свет, будто штамповала, белобрысых, рыженьких, пузатеньких племянников и племянниц, брат Антон, найдя в русском селе зазнобу, собирался отделиться и завести свою кузницу, старшие сестры Бог весть каким образом также обзавелись чернявыми, узкоглазыми "бопешками", и Гарри в этом содоме чувствовал себя явно лишним. А с Давидом Павловичем он чудесно ладил, и тот, постоянно бывая в разъездах, чувствовал себя уверенно и спокойно, зная, что на шурина можно положиться во всем и все его поручения будут исполнены безотказно.

...Гарри встрепенулся, завидев вдали, вдоль есильбаевской ограды, стремительным, упругим шагом приближавшуюся Багиру. Утренний ветерок шаловливо трепал подол ее голубого, с оборками, платья, теребил края белой косынки, завязанной на шее. Тугая коса в такт ее походки тяжело колыхалась на груди. Сердце его радостно заколотилось.

Было раннее свежее утро. Солнце едва поднялось на длину аркана за Ишимом. Аул еще не проснулся. Где-то яростно щелкал длинным бичом Океш, сгоняя скот на выпас. У старицы паслись колхозные кобылицы в ожидании первой дойки. В траве начали сипеть кузнечики.

Издали ему показалось, что Багира чем-то озабочена, опечалена. Она шла с опущенной головой и оглядывалась настороженно по сторонам.

Он встал. Улыбаясь, пошел навстречу. Она прижалась к нему порывисто, чуть приобняла.

— Гарриым-ау... что такой бледный? Плохо спал?

— А ты чем озабочена, айналайн?

— Разве видно?

— Конечно... сердцем чую.

— Нет... просто так... Потом скажу.

— Скажи сейчас. Не таись.

— Потом, потом...

Они легли на расстеленный поверх травы плащ рядком, и он пальчиком разгладил хмурь на переносице Багиры, любуясь ее легким румянцем на широких смуглых скулах, прошептал само собой вспыхнувшую в памяти строчку: "Я помню чудное мгновение..." Она тихо рассмеялась.

— Ну, как? Получается перевод?

— Только первая строчка. Три варианта.

— Какие?

Уже несколько дней Гарри безуспешно бился над переводом пушкинских строк, примеривался и так, и сяк, подбирал рифмы, старался соблюсти размер, стремясь к тому, чтобы и по-казахски Пушкин прозвучал так просто, задушевно и возвышенно, но более-менее удовлетворяла его лишь первая строка.

— "Есімде менің сол бір кез..." Қалай?[1]

— Неплохо... Еще?

— "Есімде менің сол бейне"...[2]

— Близко. Еще?.. Где "чудное" осталось?

— Вот, слушай. "Есімде менің ғажап сот..."[3]

— Это, кажется, лучше. А дальше?

— Дальше пока не получается... — вздохнул он. — Никудышный из меня акын.

— Получится, получится, — поспешно утешила она его. — У тебя все получится. Ты такой!

— Какой?

— Ну, такой... настойчивый, упрямый.

— Ишак тоже упрямый, — усмехнулся он. — Но ни один ишак, насколько мне известно, акыном не стал.

---

[1] "Я помню то одно мгновенье". Ну, как?

[2] "Запомнился мне облик тот..."

[3] "Я помню дивную ту пору..."

И они оба расхохотались, представив ишака, который наяривает на домбре и слагает любовные стихи.

— Спасибо, милая, за комплимент. — Он взволнованно посмотрел вдаль. — Ты гляди, гляди, Багираш. Как красиво все вокруг! Все наполнено неизъяснимым, воодушевляющим смыслом. Все живое. И трава, и вода, и кусты, и холмы, и облака. Все что-то говорит, слушает, радуется, вдохновляет. Верно? Ты только всмотрись. Дивно!

— Верно, Гарриым-ау... А говоришь, не акын.

— А ты опять хмуришься. Что тебя тяготит?

— Да так... Потом скажу.

— Нет, говори сейчас. Ты хмуришься, а у меня сердце обрывается.

— Потом, потом... Давай заниматься.

Они посерьезнели, сосредоточились и прозанимались до обеда.

Становилось жарко, душно. Над Ишимом зыбилось марево. Затихли, угомонились воробьи на боярке. Все вокруг будто замерло.

Из травы пружинисто выпрыгнул зеленый кузнечик, сел прямо на руку Багиры, напряг тугие ляжки, выпучил ошалело круглые глянцевые гляделки.

— Ишь, стервец, нахально любуется тобой. Пошел! — Гарри щелкнул по нему указательным пальцем, и кузнечик сиганул прочь, описав высокую дугу в застывшем знойном воздухе.

— Ну, зачем ты напугал его?

— А пусть не таращит зенки, нахалюга! Я ревную.

Багира улыбнулась, положила голову ему на грудь.

— Знаешь, — сказала вдруг. — Вчера вечером в интернат зашли Камал и Калау. Камал сказал, что завтра, мол, с документами медалистов отправится в Кызыл-жар на подтверждение. Ну, и о тебе зашел разговор. Зура спросила: "Получит ли Гарри золотую медаль?" И Камал замешкался, потускнел, сказал: "Под вопросом". "Почему?"— настаивала Зура. И Камал совсем потемнел лицом и ответил: "Сам не знаю". "А Назипа?". "Назипа, по всему, серебряную медаль отхватит". Тут девчонки всполошились: "Как это?! Назипа получит медаль, а Гарри нет?!" Камал сказал: "Вполне может быть".

— А Калау?

— Калау молчал, ни слова не сказал. Только хмурился.

Озноб прокатился по телу Гарри. Молчала и Багира, лишь погладила его по волосам.

— И тебя это волнует? — Он взял себя в руки, одолел слабость, старался казаться равнодушным.

— Волнует... Обидно. За тебя.

— Плевать! Рядом с тобой мне ничего не страшно. Не так и дорога медаль, если она доступна глупышке Назипе.

— Ай, Гарриым-ау... — Багира порывисто обняла его и поцеловала в щеку.

Он чувствовал, что у него растерянное, счастливое и глупое лицо.

...Классный руководитель десятого класса Камал Джахин вернулся из областного центра через два дня. В ауле его ждали как праздник Курбан-айт. И едва ли не больше всех Давид Павлович. Казалось, в этот день он с утра не спускал глаз с тропинки, ведущей от Ишима в аул. И когда после обеда, из тальниковых зарослей прибрежья показалась вдруг коренастая фигура Камала в привычном светлом макинтоше и портфелем в руке, Давид Павлович на велосипеде поспешил ему навстречу. В спешке он даже забыл снять белый халат.

Вся эта сцена произошла на глазах Гарри, наблюдавшего за всем из-за своего укрытия на сеновале.

Давид Павлович встретил Камала возле старицы вблизи молочной фермы, ловко соскочил с велосипеда. Стоя на одном месте, они долго беседовали, и Гарри с гулко стучавшим сердцем заметил, как у его жезде все сильнее горбилась спина, все ниже клонилась голова, и даже белый халат на нем обмяк и обвис, точно на вешалке. Потом они побрели рядом к аулу, и оба молчали. Камал снял макинтош, бросил на плечо, шляпу низко надвинул на глаза, а Давид Павлович, ведя рядом велосипед, все чаще спотыкался, и от всей его неуклюжей, долговязой фигуры веяло горем и растерянностью.

Гарри все понял.

... Вечером зашли Иван и Антон, и Давид Павлович, пригласив к столу Олькье и Гарри, посерев вдруг лицом и потупив взор, упавшим голосом сообщил:

— Получилось настоящее швайнерай. Облоно не утвердило работы Гарри...

— А что я вам говорил?!— вскинулся сразу Антон. — Это было ясно с самого начала.

— Спокойнее, — урезонил его Давид Павлович. — И по русскому, и по казахскому снизили ему оценки на "четыре". Значит, ни золотой, ни серебряной медали. Вины Гарри нет. Школьное руководство тоже не при чем. Поверьте. Дело в другом. И вы это понимаете...

— Еще бы... — фыркнул Антон. — Доннер-веттер не понимать!

Олькье не удержалась, всхлипнула. Гарри обмер. Ему хотелось выскочить из дому, ничего не видеть и не слышать. Давид Павлович покосился на шурина и после паузы продолжал:

— Завтра выпускной вечер. Народу соберется много. И мы все приглашены. И всем подобает держаться достойно. Не стоит демонстрировать обиду или показывать слабину. То, что Гарри получит аттестат, уже само по себе для всех нас большая радость. Это следует понять. Следовательно, будем радоваться со всеми. И будем играть туш.

— Ну, уж... дудки! — отрезал Антон. — Вот траурный марш могу.

— Не горячись, Антон. — Давид Павлович укоризненно посмотрел на него. — Я не меньше твоего огорчен. Был уверен, что Гарри закончит школу с золотой медалью. Что поделаешь? Возьми себя в руки. Мы должны быть выше. Люди нас поймут. Я призываю к разуму. Уверен, Гарри все поймет. Мужайся, крепись, дорогой. Держись назло всем пакостям. Прошу тебя...

Гарри точно окаменел. Обида и жалость к себе захлестнули ему горло. Он не мог вымолвить сейчас ни слова.

— Alles ist Scheiße! — вдруг произнес Иван. — Все — дерьмо!

... Всегда интереснее ожидание тоя, нежели сам той. На выпускной вечер народу собралось значительно больше, чем ожидалось или было приглашено. Понаехали из ближних аулов, притащились даже дряхлые старики, стайками кружилась возле школы любопытная малышня: толпилась у крыльца, облепила окна, возбужденно колготала, делясь и хвастаясь увиденным. Мугаллимы суетились взмыленные от усердия. Директор школы осип, отдавая бесконечные распоряжения. Про-

сторный школьный зал был набит до отказа. Сидели на полу, на подоконниках, на скамейках и досках, стояли вдоль стен. В четырех больших классах были расставлены и накрыты праздничные столы.

Возле директорского кабинета, за столиком, накрытым зеленым сукном, расположились председатель экзаменационной комиссии, представитель облоно, плюгавенький, лысоватый, сероликий Абык, директор школы, классный руководитель и главный распорядитель торжества. На столике, рядом с графином с кумысом, покоилась красная папка с заветными аттестатами. В уголочке напротив примостились музыканты: Давид Павлович со скрипкой, Олькье с гитарой, Иван-Иоганнес с балалайкой и Гарри с аккордеоном. Антон наотрез отказался участвовать в концерте. После напутственной речи охрипшего директора Давид Павлович взмахнул смычком, и музыканты пять раз кряду лихо сыграли торжественный туш. Зал замер.

Калау прокашлялся, ослабил тугой узел нелепого трофейного галстука на толстой потной шее и, подражая Левитану, громовым голосом объявил:

— Аттестат зрелости и серебряная медаль вручается дочке достопочтенного Шенгельбая, айналайн, Назипе, первой девушке-медалистке в истории нашей школы!

В зале прокатился ропот. Многим это было внове. Никто никогда не слышал о каких-то способностях Назипы, и потому весть о медали была воспринята с недоумением.

— Не дейды? Что говорит?

— Это какой Шенгельбай?

— Назипа?.. Апырай, с какой стати?!

И туш прозвучал скомканно. Иван-Иоганнес сбился с такта, а Олькье перепутала аккорды. Давид Павлович сделал Гарри знак, чтоб он энергичнее нажимал на басы.

Смущенная до слез Назипа, как во сне, протиснулась бочком к столику и, так и не подняв глаза, схватила аттестат и тотчас будто растворилась, никто ее и не разглядел толком. Возникла неловкая пауза. По сценарию Назипа должна была произнести несколько слов благодарности, с нею один из мугаллимов целых полдня накануне репетировал, но перед таким многолюдием у бедной Назипы, видно, онемел язык. Тогда Калау, побагровев от натуги, гаркнул:

— Аттестат зрелости за блестящую успеваемость, прилежание и примерное поведение вручается сыну нашего аула, светлолицему, сероглазому казаху Гарри Вальтеру!

Зал заулыбался, ожил, загудел.

— Уай де! Хорошо сказал!

— Ия, ия, Кари Балтыр — жигит!

— Наш бала!

— Барекельде, рыжий казах!

Гарри побледнел, сердце подкатилось к горлу, того и гляди выскочит, голова закружилась. Больше всего он боялся, что из носа пойдет кровь: такое с ним, особенно при сильном волнении, случалось часто. И это было всегда неудобно и унизительно. Сейчас он никак не хотел показаться слабым и жалким.

Он сам себе трижды сыграл туш, потом, ничего не видя, поднялся, снял лямки аккордеона, сунул под мышки костыли и в два-три прыжка очутился у стола президиума. Зал гулко забухал в ладоши, послышались одобрительные выкрики. Калау приобнял его. Камал улыбался, но в глазах его плескались испуг, настороженность и сочувствие, а директор долго тряс Гарри руку и что-то говорил, говорил, шевеля тонкими, как ременная тесьма, губами... Навстречу услужливо кинулся Давид Павлович, взял из его рук аттестат, чтобы не помялся, передал его Олькье, Иван помог брату усесться, пристегнул лямки аккордеона, ободряюще толкнул в бок. Гул схлынул. Калау объявил следующего выпускника.

Той шумел, гудел, колыхался, разгорался, как огненный пал в степи. Весь вечер к Гарри подходили учителя, аулчане, сверстники, жали руку, хлопали по плечу, гладили по голове, дружески щипали, толкали, и он говорил им что-то в ответ, улыбался, благодарил и даже острил и каламбурил. Но удавалось ему это с трудом. Все проплывало мимо его сознания, в глубине души он чувствовал себя обманутым, преданным, отторгнутым и безнадежно несчастным. "Эй, ладно... Бог с ней, с этой медалью. Ну, и...", — внушал он себе, но тщетно, утешения не было. Ему чудилось, будто он находится на чужом пиру, что все происходящее вокруг никакого отношения к нему не имеет. Он помнил, как после торжественно-официальной части гости расселись по классам — в одном выпускники и учителя, в другом —приглашенные важ-

ные персоны, в третьем — аульный актив, в четвертом — родственники выпускников, и в коридоре пир стоял горой. Все норовили непременно отведать и водочки, и вина, и пива, и кумыс, и лимонад. В неизменном черном платье, со строгим и отрешенным выражением на аскетическом лице подошла к Гарри Мария Петровна и как бы мимоходом проронила:

— С тобой случилась несправедливость, Гарри. К сожалению, в твоей жизни такое случится еще не однажды. Не ожесточись. Будь сильнее.

И отошла, словно испугавшись собственных слов.

По-свойски обнял его сосед, Есим-ага, преподаватель физкультуры и военного дела, с офицерской прямотой выругал неведомых "сволыштар", "бюрократтар", "перестраховщиков-шакалов", плеснул Гарри полный стакан пива и чокнулся, громко произнеся два излюбленных немецких слова, привезенных некогда из Германии: "Аллес тринкен!"

Важной поступью, выпятив тощую грудь, в кителе и галифе (великий вождь скончался всего четыре месяца назад, и руководители аульного и районного рангов еще не успели сменить недавний антураж), с многозначительным видом подплыл, подсеменил директор школы, деланно осклабился:

— Надеюсь, ты на нас не в обиде?

Сказано это было совсем некстати, и Гарри не нашелся, что ответить, ему показалось, что сам директор школы искал у него утешения за случившуюся несправедливость. Так и подмывало Гарри сказать что-то колкое, дерзкое, съязвить, съехидничать, но язык не повиновался, и голова поневоле склонилась на грудь.

Всем непременно понадобилось поздравить и утешить именно его, все тянулись к нему чокаться кто с вином, кто с кумысом, кто с пивом, а несколько раз настояли, чтобы он глотнул водки, и он чувствовал ожог по всему нутру. Вскоре ему сделалось плохо, все вокруг зыбилось, поплыло, уходило из-под ног, в глазах двоилось, в ушах стоял неразборчивый гул, и Гарри с усилием встал из-за стола, стиснул крепче костыли и, протиснувшись, незаметно, как ему казалось, вышел. Он слышал, как его окликали, как кто-то останавливал его, кто-то о чем-то спросил, а он бочком-бочком, скорей-скорее,

как подбитый цыпленок, прошел через длинный коридор, спустился с крыльца и пошел-пошел, сильно и далеко закидывая костыли, куда глаза глядят.

Плыла душная черная июльская ночь. Школа осталась далеко в стороне. Сразу за магазином начиналась степь. Вдали еле различался березовый колок. Ветер шевелил ковыль. Сбоку равнодушно взирал на мир месяц. Облака наплывали на него, но он протыкал их острыми рожками и вновь вырывался из их плена. Земля спокойно дышала и покачивалась. Гарри, как подкошенный, рухнул в траву, провалился, как в яму.

Он не знал, сколько пролежал в забытьи. Очнулся оттого, что ветер все чувствительней ерошил его волосы, а рядом точно послышался чей-то вздох. Он, не поднимая головы, пошарил вокруг рукой и коснулся чего-то мягкого, знакомого.

— Ты? — выдохнул он.

— Я, — тихо отозвался голос.

— Давно здесь?

— Не знаю...

— Той кончился?

— Нет еще.

— Уходи, — сказал он не своим голосом. — Уходи!

— Почему?

— Твое место там. А я никого не желаю видеть.

— И меня?

— И тебя.

— Ай, Гарриым-ау... — печально произнесла она. — Гарриым-ау...

Он сразу сник, потянулся к ней, уткнулся головой в ее живот. Она нежно погладила его по волосам.

— Знаешь, мне худо, — признался он, удивляясь своему больному, чужому голосу.

— Знаю. Вижу. Успокойся. Все пройдет, все забудется.

— Не... не забудется. Это — на всю жизнь.

— Забудется. Как дурной сон.

— Эххх!..

... Коротка июльская ночь. Забрезжил ранний рассвет. Олькье, согнувшись, точно обиженная девчонка, сидела на крыльце и ждала брата. Слезы катились по ее лицу. Сердце ее разрывалось от боли и жалости к Гарри. Она чувствовала, что сейчас творится в его душе, что он пережил за последние

ши. Еще ночью, всполошившись, она бросилась его искать, но Давид Павлович удержал ее.

— Я видел, как он уходил куда-то за магазином. Держался он молодцом. Ему сейчас лучше побыть одному. Впрочем, он не один. Туда же вскоре отправилась и Багира. Не волнуйся, она за ним присмотрит.

И все же Олькье не находила себе места. Так и не уснув, она просидела на деревянных ступеньках крыльца, переживая обиду брата.

Уловив шорох, Олькье вгляделась в сутемень и увидела, как Гарри и Багира неслышно подошли к сеновалу. Оба молчали. У изгороди Багира обняла его, поцеловала и тотчас легкими, упругими шагами направилась в сторону интерната. А Гарри стоял, как вкопанный, тряс головой, вздыхал, будто стонал или всхлипывал, и Олькье показалось, что брат похож на птицу-подранка, отставшего от стаи. Она уже хотела было окликнуть его, броситься на помощь, защитить его от неведомой напасти, но Гарри решительно направился вдруг к стремянке, закинул наверх, на сеновал, костыли и, подтягиваясь на руках, тяжело и неуклюже вскарабкался на крышу сарая. Олькье еще сильнее сжалась, зажала рукой рот и затряслась в беззвучном плаче.

IV

Бессмысленно и бесцельно слонялись недавние выпускники Кызылтуской казахской средней школы по пыльному и душному районному центру. Цель, впрочем, была: необходимо было первым долгом обзавестись в управлении районного МВД "серпастым, молоткастым" паспортом, без которого, понятно, никуда не сунешься, прописаться по месту жительства и тут же выписаться, сняться с комсомольского учета, уладить какие-то формальности в райвоенкомате, снять и заверить у нотариуса копии разных документов. Никто из обладателей новеньких аттестатов зрелости и не предполагал, что во имя исполнений вожделенных желаний о дальнейшей учебе в далеких городах придется столкнуться со столь нудной и тягомотной возней в так называемой реальной жизни, в которой, как выяснилось, они, аульные дети, мало что смыслили и потому терялись, как волчата, впервые вылезшие из тесного, укром-

ного и такого уютного логова на огромный и чуждый божий свет.

Из школы их торжественно выпихнули, вручив аттестат с заслуженными (или не очень) оценками по двум десяткам школьных предметов, а далее они были предоставлены самим себе. Длинных, беспечных, как прежде, каникул больше не было. За один лишь месяц, за июль, предстояло раздобыть все необходимые документы, справить кое-какую обнову, наскрести хоть малость "тиын-тебен", то есть, минимальные средства на первый случай, добраться на попутных машинах до Кызылжара, достать заблаговременно билеты в общий вагон и успеть доехать к началу вступительных экзаменов до выбранных в мечтах институтов далекой Алма-Аты, более близкой Караганды или аж самой столицы Родины — Москвы. В промежутке этих хлопот не мешало, конечно, и подсобить в захудалом хозяйстве родственников, которые собирали на путь-дорогу с миру по нитке, дабы отправить бедного сородича навстречу судьбе, — накосить сена, подвести дровишек, поправить крышу или плетень, подлатать развалившийся хлев.

А чинуши районного центра неимоверно усложняли и без того сложную жизнь. На недотепистых аульных пришельцев смотрели, как на шелудивых овец, забредших вдруг в чужую отару. Ухмылялись над их беспомощностью и бестолковостью, заставляли без конца переделывать и исправлять малозначительные, как казалось, бумажки, брезгливо ворчали: "Тоже мне грамотей! Аттестат получил, а зрелости ни на грош. Биографию свою написать не в состоянии. К анкете не знает, с какой стороны подступиться. В собственной фамилии по три ошибки допускает. Чему вас, остолопов, только учили долгих десять лет?! Какая тебе Алма-Ата? Пошел бы лучше в колхоз, пока уму-разуму наберешься..." Бурчали себе под нос спесивые районные чиновники, будто сами только что с неба свалились, журили, надсмехались, унижали, раздражались, гоняли почем зря по учреждениям, требовали Бог весть что. А возмущаться или строптивиться не смей: надо быть учтивым перед старшими и не вздумай задирать нос оттого, что обладаешь аттестатом зрелости. Помни: ты проситель, карман твой дырявый и хлопотать-заступаться за тебя некому. Вот и маялись бедняги, шарахались, слонялись неприкаянные и голодные по огромному, как им представлялось, райцентру, где все

было непривычным и враждебным. Стеснялись заходить в столовую, робели перед торговкой морсом, пугались прохожих, дичились всего. От одной русской речи вздрагивали, точно неуки. Чудилось, будто местные, от шпаненка до убогой старухи, указывали на них пальцами: "Вон, вон... смотри на этого чучмека, разиню, он явно только вчера из аула кизячного прибыл..."

Было отчего приходить в отчаяние недавним выпускникам аульной школы. У большинства сроду не было даже обыкновенного свидетельства о рождении. В безграмотных справках, выданных аулсоветом, фамилии и имена оказались искаженными до неузнаваемости. В комсомольском билете, в аттестате, в школьных документах, в аулсоветских книгах творился полный разнобой. Обыкновенный Ибжан, которого в околотке с младых ногтей все так и звали, фигурировал в разных бумагах по-разному: Ыбжан, Ибижан, Убжан, Ебжан, а в действительности мулла нарек его имячком Ибрагим. Сейтахметов же, к примеру, именовался то Сайдахматовым, то Сейит-Ахметовым, то Саид-Ахмадовым, а в качестве отчества, испокон века не принятого у казахов, шло то имя отца, то деда, то дяди. И в паспортном отделе серьезного учреждения МВД ломали головы: на какое имя выдать "краснокожую паспортину" и как его обладателю доказать в дальнейшем, что Сейдахметов, Саит-Ахмадов, Сейит-Ахметов, Ыбжан-Ибжан-Убжан-Ебижан Омарович-Коспанович-Ахметович-Сеитович — одно и то же лицо родом из аула Коктерек Октябрьского района?

То же было и с годами рождения: разница в разных источниках составляла три-четыре года. О точных датах рождения и вовсе речи не было: их выбирали произвольно, приурочивая к знаменательным событиям, дабы легче упоминать было. Привести все это в мало-мальское соответствие стоило немалых трудов и хлопот: надо было каким-то образом приблизиться к истине. А самое главное — это формальная сторона человеческого бытия и в аулах, и среди родственников, и самими личностями, о которых шла речь, воспринималась как докука, как нечто ненужное, несерьезное, недостойное разговора или спора: неужто так и важно, кто когда родился и как по-настоящему зовут. Важно, что он существует в божьем списке, ходит по земле аман-сау, а в людских списках

он может числиться кем и как угодно. Выяснять же правописание того или иного имени и вовсе смешно. Для бабушки ее любимый внучек — Ыбжан, мать зовет его почему-то Ибижан, кто-то в конторе записал его Убжан, но Всевышний-то свидетель: при наречении новорожденного местный мулла трижды прокричал ему приподнято на ухо священное имя Ибрагим.

У Гарри таких проблем не было. И в метрике, выданной еще на Волге на двух языках — немецком и русском, и в комсомольском билете, и в аттестате, везде и всюду стояло точно и четко — Гарри Иосифович Вальтер. И дата, месяц, год и место рождения совпадали полностью. Проблема была в другом: он был единственным спецпереселенцем, окончившим в 1953 году среднюю школу во всем районе. И паспорт ему был не положен. Достаточно и того, что он состоит на учете спецкомендатуры. И если ему, кроме этого, и еще что-то причитается от властей — и то лишь в экстренном случае, то это временное, на три месяца, удостоверение с надлежащей записью в разделе "Особые отметки". В этих "Особых отметках" и была зарыта собака. Из-за "Особых отметок", заверенных строгой печатью, временное удостоверение являлось в сущности волчьим билетом, который ограничивал его обладателя, точно прокаженного, во времени и пространстве. И в райУМВД недоумевали: зачем этому чудаку Вальтеру из "Кызыл-ту", немцу-спецпереселенцу, умудрившемуся каким-то образом окончить казахскую среднюю школу, временное удостоверение, по которому все равно ему не высунуть носа за пределы района. А он, видите ли, надумал учиться в Москве или Алма-Ате. Наивный парень! Неужели ему никто не растолковал всю тщетность его желаний?! Но если ему так хочется получить такое удостоверение, то по разрешению коменданта — так и быть! — можно ему, пожалуй, эту бумажку выдать. Однако и спешить не резон. Можно изготовить ему это удостоверение к самому концу июля, чтобы у него не осталось и времени даже для выезда в Кызыл-жар. А пока пусть походит по району, пусть околачивается возле райУМВД, пусть толпится у окошка паспортного стола. Не объяснять же ему, как на самом деле следует поступать по строгому закону с спецпоселенцем. А вообще-то нечего было ему позволять закончить среднюю школу. Проморгали, видно, по

каким-то причинам. Уже после шестого-седьмого класса немцев-спецпереселенцев вовремя выпроваживали либо в ФЗО, либо на шоферские или трактористские курсы... С них и того достаточно!

Обо всем этом Гарри не знал и не догадывался. Вместе с одноклассниками он заполнил все анкеты, сдал все необходимые документы, сфотографировался, как положено, в двух видах и искренне полагал, что, как и все, получит долгожданный паспорт.

Сначала ему сообщили, что все будет готово через неделю, потом через три дня, через два-три, потом — завтра... завтра... завтра вот приедет комендант, еще кто-то... возможно, сегодня... к понедельнику наверняка...

Кто-то из соклассников уже получил паспорт, снялся с комсомольского учета. По слухам, даже раньше срока попался в город, чтобы освоиться, осмотреться, выбрать институт, где конкурс послабее, шансов больше, условия лучше, стипендия внушительней.

А Гарри все мотался между аулом и райцентром, слонялся день-деньской по пыльной и душной Марьинке, натрудил больную ногу, натер костылями подмышки, весь высох, подолгу стоял у окошка паспортного стола, чего-то все ждал, ждал, ждал и на душе его становилось все тревожней и паскудней. Он предчувствовал неладное.

Пока вместе с ним пребывали в хлопотах и другие друзья-приятели, было веселее. Всюду ходили гурьбой, делились заботами, аульными новостями. Случалось, вместе ходили в кино на дневные сеансы, благо клуб находился недалеко от райУМВД, вместе пили теплый, липкий морс, от которого хотелось еще сильнее пить, искали знакомых аульчан возле райкома, заглядывали на базарчик, где покупали семечек и пирожки с капустой. Но друзья убывали с каждым днем. Один за другим, получив паспорта, спешно уезжали в аулы, чтобы оттуда уже отправиться в большую дорогу. Каждый день с кем-нибудь расставались, заверяя друг друга, что вскоре вновь встретятся в Алма-Ате.

И однажды Гарри, к своему огорчению, остался один. Он знал, что еще раз заедут по делам двое-трое из Балуана и среди них Багира, задержатся всего на два-три часа и в тот же день уедут. А до их приезда он чикилял на своих косты-

лях один, не зная, куда себя девать, по два-три раза на дню подходил к вечно закрытому окошку паспортного стола, все надеялся, что оно откроется, случится чудо, и пожилой, хмурый паспортист сжалится над ним, выдаст ему, как и всем, желанный паспорт и тогда, дождавшись Багиры, поговорив с ней напоследок, отправится спешно домой, чтобы в обговоренный день выехать в Кызыл-жар и оттуда отправиться в один день вместе в одном вагоне.

Все тщетно. Он ходил к Ишиму, часами сидел на берегу, смотрел до головокружения на упругое, неторопливое течение по краю обрыва, на ослепительные блики на отмели, вслушивался в легкое шипение воли и предавался унылым мыслям. И порой ему казалось, что он выпал из времени, что давным-давно закончил школу и все успел напрочь забыть за время бесплодных хождений, что никуда не нужно ехать, что все, действительно, суета сует, что нет никакого смысла в его хлопотах и переживаниях, что он просто песчинка и что мир всегда был таким, так же сияло солнце, голубело небо, дул ветерок, шелестели листья тальника, порхали бабочки, плыли облака и несе неведомо куда свои воды Есиль. Это успокаивало, убаюкивало и одновременно навевало такую неизбывную печаль, такое тихое, неутешное горе, что хотелось плакать. Иногда Гарри казалось, что он вот-вот исчезнет, совсем-совсем исчезнет, растворится в жарком полуденном мареве, зараз откинув все никчемные заботы и треволнения, и от этого легко и благостно станет и ему и всем тем, кто его знает и окружает. В памяти всплывали строчки, заученные некогда наизусть, — "Мен келмеске кетермін тұк ондірмей"[1], потом фраза дробилась, распадалась и в мозгу назойливо стучали лишь отдельные слова — "кетермін...", "кетермін...", "тұк ондірмей", "тұк ондірмей"[2].

С усилием вырываясь из этого душного наваждения, из засасывающей, точно топь, одури, Гарри вставал, сильнее обвисал на костылях и снова брел к постылому, обшарпанному зданию райУМВД.

В один из таких неприкаянных дней Гарри приплелся на спортивную площадку возле районного клуба культуры и при-

---

[1] Стихи Абая: "Уйду в неведомое, ничего не свершив".
[2] "Уйду...", "уйду", "ничего не свершив", "не свершив".

лет в тени чахлой, пыльной акации. На вытоптанной, без единой травинки, площадке две волейбольные команды самозабвенно лупили по мячу. От гулких ударов и натужных криков испуганно взмывали галки и вороны на старой осине возле клуба. Играли напористо, азартно. Особенно неистовствовал плотный, пружинистый, весь из себя ладный, литой рыжий с редкими, прилипшими ко лбу волосами. Он круто взмывал над сеткой, картинно изгибался и вколачивал мяч так, что редко кто из соперников отваживался его принять у самой земли. И при этом рыжий каждый раз приговаривал с придыханием, мстительно: "Вот так, Маруся! Это вам не фунт изюма! Знай наших! Гррром победы ррраздавайся, веселися ррррабрый ррросс!" Казалось, он не в волейбол играл, а в смертном бою сокрушал ненавистного врага. Клокочущий напор, ярость, собранность чувствовались в каждом его движении.

Лишь присмотревшись, Гарри узнал в нем Николая Вагнера и поразился: "Какой сгусток энергии, какая несокрушимая воля! Этого наверняка никакие напасти не сломят. Он или добьется своего, или свернет себе шею".

Когда игра кончилась, Гарри подошел к нему, тихо окликнул. Потный, взбудораженный, весь какой-то ощетинившийся Вагнер круто обернулся, строгим взглядом полоснул по нему и, узнав, усмехнулся:

— А-а, Маугли из Кызыл-ту?! Какими судьбами?

Гарри сбивчиво поведал о своих мытарствах.

— Х-ха!.. Какой тебе паспорт? Кто тебе его даст? Или тебя персонально за заслуги перед Отечеством с учета сняли?!

Вагнер отдышался. Играя желваками, щурясь, исподтишка оглядывался вокруг. В глубине серых зрачков вспыхивали злые искорки. Какие-то парни в сторонке, стараясь быть незаметными, явно наблюдали за ним. Он кривил губы.

— Где остановился?

— У Райша.

— Это который пчеловод? Я неподалеку квартирую. Пошли, побалакаем...

Шли молча. Вагнер шел точно вприпрыжку, толчками, втянув голову в плечи, с наклоном вперед, будто налягая на невидимую крутую волну. В руке он нес сетку с книгами. Гарри, изредка косясь на него и любуясь им, чикилял рядом,

выбрасывая костыли одновременно так далеко вперед, что они едва не выскальзывали из подмышек.

— И куда надумал? — отрывисто спросил Вагнер.

— Мечта была в Москву, — сконфузился Гарри. — В МИМО[1]...

Вагнер с ехидцей присвистнул, и Гарри поспешно поправился:

— ... теперь понял — не получится. Думаю об Алма-Ате. В педагогический.

— Ну, это еще куда ни шло. А про МИМО — и думать смешно. Шутить изволите, батенька! В МИМО путь нашему брату заказан. Пройтись разве что разок мимо МИМО, — усмехнулся Вагнер.

Свернули в тесный, захламленный переулок. Из-за угла выбежала свора шелудивых дворняжек, сомлевших от жары, потявкала нехотя и убралась восвояси. На помойках возились куры. У забора, тряся бородой, задумчиво обгрызал ветки куста нахальный козел. Стайка девчушек с любопытством взирала на двух прохожих.

— А в педагогический куда?

— На литфак или физмат.

— На физмат лучше. Больше перспектив и меньше подозрений, — отрезал Вагнер.

Подошли к неказистому домику в тупике, в окружении разросшихся акаций и уже с отяжелевшими шапками подсолнухов. Вагнер привстал на камень у забора, просунул руку между штакетником, откинул щеколду калитки, дал собачонке на привязи знак, чтобы не лаяла зря. Собачка поняла, длинно зевнула, почесала задней лапой ухо и, волоча цепь, покорно влезла в свою будку.

Через сенцы вошли в крохотную боковушку.

— Вот нынешняя обитель смутьяна Николауса Вагнера, — сказал Вагнер, сделав рукой широкий приглашающий жест. — Располагайся, господин Маутли.

Гарри покраснел.

— Знаете, мне это прозвище не по душе. Я не чувствую себя человеческим дитем среди диких зверей.

— Вот как! — Вагнер изогнул бровь. — Ну, коли так, ставим на Маугли крест.

---

[1] Московский институт международных отношений.

Наступила неловкая пауза. Оба смутились. Вагнер вышел в сенцы. Вскоре оттуда потянуло керосином, зашипел примус.

Гарри оглядел крохотную комнатушку. Железная, с облупившейся краской кровать, тумбочка, стул. Подслеповатое оконце упиралось в потемневший ветхий забор. У изголовья кровати нависали настенные книжные полки. На тумбочке стояла керосиновая лампа. Над кроватью на листе ватмана красивыми буквами тушью выведены слова: "ВСЕ ЛЮДИ РОЖДАЮТСЯ СВОБОДНЫМИ И РАВНЫМИ В СВОЕМ ДОСТОИНСТВЕ И ПРАВАХ. ОНИ НАДЕЛЕНЫ РАЗУМОМ И СОВЕСТЬЮ И ДОЛЖНЫ ПОСТУПАТЬ В ОТНОШЕНИИ ДРУГ ДРУГА В ДУХЕ БРАТСТВА".

Пока Гарри вникал в гордый смысл этих слов, прикидывая про себя, что они могли бы стать хорошим эпиграфом к большому сочинению по русской литературе, вошел Вагнер, спросил:

— Что, гадаешь, кто это сказал?

— Чьи слова? Белинского? Чернышевского? Герцена? Кто-нибудь из французских энциклопедистов? Или Чаадаев?

— Не догадаешься, брат. Так гласит первая статья Всеобщей декларации прав человека. Всего пять лет назад принята Генеральной Ассамблеей ООН.

— Это закон?

— Да, основной закон человечества.

— Выше сталинской конституции?

Вагнер поморщился.

— По законам сталинской конституции мы с тобой сидим в этой дыре, под комендантским колпаком, без паспорта и права выезда. Пора тебе это понять. А вот этим законом, — Вагнер указал на надпись за кроватью, — руководствоваться должно все человечество. И отсюда, между прочим, мы с тобой и весь униженный, затюканный советский люд и должен плясать. Понял?

— Не очень. И много таких статей в этой... декларации?

— Ровно тридцать. И все бьют не в бровь, а в глаз. Назову тебе еще одну статью, пятнадцатую: "КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВО НА ГРАЖДАНСТВО. НИКТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОИЗВОЛЬНО ЛИШЕН СВОЕГО ГРАЖ-

ДАНСТВА ИЛИ ПРАВА ИЗМЕНИТЬ СВОЕ ГРАЖДАНСТВО". Дошло? — Вагнер сделал паузу. — Где твое гражданство?! Торчишь в этом загрипанном, заплеванном райУМВД и не можешь выклянчить паспорта. Вот и все твое гражданство и твои права! Хочешь учиться, а тебя обложили, как волка. Говоришь, я комсомолец, а в действительности тебе на каждом шагу напоминают, что ты всего-навсего бесправный спецпереселенец. Пора тебе осознать, что живешь в фальшивой, насквозь лживой стране, в бесчеловечном полицейском государстве.

Взгляд Вагнера стал жестким, желваки взбугрились, губы сжались. Гарри стало не по себе. Что он говорит?! Как так можно?! Кто он, этот безумец?!.

— Не пугайся, — заметил через паузу Вагнер. — Я понимаю: ты еще не созрел до таких суждений. Находишься в плену школьных истин. Еще не мят, не клят. Тебе, я замечаю, повезло, что рос в ауле, учился в казахской школе. Должно быть, казахи добрее, шире, душевней. А я урывками учился, в русской школе, и с самого начала я был "фашист", "немчура", "фриц". Даже учителя, случалось, не скрывали враждебности ко мне, хотя и учился прилежно. В любых проказах и шалостях были готовы обвинять меня. В классе я был переросток, крепкий. На переменах старшеклассники всегда, издевались надо мной. Говорили: "Давай на немце покатаемся". И я, надрываясь, сгибаясь в три погибели, таскал на спине наглых шалопаев по коридору из конца в конец. При этом, потешаясь, они понукали меня: "Но, но... немецкая лошадка! Шибче вези!" И я покорно трусил по коридору, никто за меня не заступался, не пожалел, девчонки хохотали. У меня в груди клокотала обида и злые слезы текли по щекам. И однажды я не стерпел, сбросил с себя обидчика, саданул его в живот так, что он долго корчился на полу, а еще троим оболтусам расквасил носы. Хай поднялся на всю школу: "Фашист взбесился!" Но с тех пор охотников кататься на мне отпало. И я понял: надо быть сильным, не давать никому спуску и быть всегда впереди — в учебе, в спорте, в играх. Заставить считаться с тобой. Если сможешь, быть на голову выше других и постоянно, повседневно утверждать себя — силой, ловкостью, предприимчивостью, умением, знанием. Иначе сомнут, затопчут, задавят, сотрут в порошок. Робость,

покорность, послушность, трусость и разобщенность — беда наших с тобой соплеменников. Я в этом убеждаюсь всякий раз в комендатуре. Сидят, трясутся, угодничают, раболепствуют, ябедничают, и какое-нибудь ничтожество, мразь изгаляются над ними, как их подленькой душонке угодно. Таким макаром никогда никакой справедливости не добьешься. Сгинешь в беспробудном рабстве.

Вагнер, услышав клокотанье чайника на примусе, кинулся в сенцы, а Гарри задумался. Наверное, Вагнер во многом прав. И говорит он так резко, безапелляционно, что и спорить с ним трудно. Он наверняка прав и в том, что немцы-спецпереселенцы излишне покорны, робки, послушны, боязливы. Гарри это тоже замечал. Да и по себе знает: робок, беспомощен, неуверен. Верно и то, что необходимо себя утверждать повседневно, во всем. Надо, чтобы тебя уважали. Все так. Но ради этого культивировать в себе силу, ярость, зло, дух соперничества, дерзость, жить постоянно в настороженном, ощетиненном, драчливом состоянии, с сжатыми кулаками вряд ли возможно и оправданно. Откуда возьмешь столько ярости, дерзости, напора? Надолго ли тебя хватит? Надорвешься, обессилишь, выдохнешься раньше времени. Далеко не каждый по природе бунтарь, буян, задира, бретер. Да и кому навязывать свою волю, перед кем доказывать свое превосходство? Перед таким же бедолагой, как ты? Не все же вокруг твои обидчики, не все желают тебе зла. У него, у Гарри, недоброжелателей в ауле, например, и вовсе нет. И обид никаких никогда он покуда не терпел. Наоборот, он, скорее, аульный любимчик. Он обласкан аульчанами. Нет, Вагнер, видно, в чем-то все же не прав. Или обижен, озлоблен. Но спорить с ним трудно. Гарри не с руки. Он и взрослей, и начитанней, независим в суждениях и с русским языком более в ладу, чем он, Гарри, выпускник казахской школы.

Вагнер принес на тарелочке две пампушки с творогом, разлил по стаканам чай.

— Почаевничаем по-братски, — предложил он. — Вижу: осунулся, устал. Бледный...

— Теперь мне ясно, почему ты там, на площадке, так истово колотил по мячу, — задумчиво произнес Гарри.

— Разве заметно было? — удивился Вагнер.

— О, ты сражался, как лев. Это был не мяч, а пушечное ядро!

— Ха-ха-ха! — неожиданно рассмеялся Вагнер. — Верно подметил. А знаешь, почему я так ярился? В команде соперников находился один сексот, который, подозреваю, ко мне приставлен. А еще один — мой вечный соперник по шахматам. Второй год я на районном соревновании занимаю первое место, а на областной турнир отправляют его, ибо наверху считают, что немец не должен играть в шахматы и уж никак не ходить в чемпионах. Ну и хотелось мне хоть таким образом малость потрепать их, пусть знают... Впрочем, несерьезно это. Кто они? Так себе, пешки, шестерки, исполнители.

— Ну, а дела-то как?

— Дело швах. Думал, после смерти Усача-генералиссимуса послабление будет. Однако признаков пока не видать. Дернул было в Омск без разрешения, хотел прознать, есть ли возможность хоть заочно в сельхозинститут попасть. Ну, а комендатура хвать меня за шкирку. Последнее, мол, предупреждение. Закон 48-го года, дескать, не отменен, и мы запросто навешаем каторгу на двадцать лет. Не нравлюсь я давно властям. Не то говорю, права качаю, не с теми связь поддерживаю. Сам неблагонадежный, так еще и с ссыльными вожусь. Тут, в Марьинке, есть башковитые экземпляры, что на особом учете состоят. Я с ними дружу. Они меня понемногу исподволь просвещают. Вот, чувствую, бдительные органы повадились и меня на крючке держать. Так и норовят куда подальше запихнуть меня. Но скажу тебе откровенно: перемены зреют. Вечно всех в страхе держать невозможно. Рухнут все эти порядки. Рухнут! Да и империя, если на то пошло, рухнет. Увидишь, мы еще доживем!

Гарри промолчал. Категоричность и страстность суждений Вагнера и волновали его, и пугали. Да и не за империю болела сейчас голова, иные заботы тревожили.

— Мне-то как быть? — удрученно выдохнул он.

— Тебе? — Вагнер задумался. — Не обижайся, но на костылях далеко не ускачешь. Они что гири на ногах. Может, подлечиться поначалу?

Гарри вздохнул. Бледное лицо его омрачилось.

— На лечение может уйти вся жизнь... У меня тэбэцэ костей.

Помолчали.

— Ты прав: учиться надо, — согласился Вагнер. — А то и вовсе загнешься в ауле. Давид Павлович ведь коммунист. Пусть воспользуется красной книжкой, сходит, куда надо. Может, добьется для тебя исключения. Получишь удостоверение...

— Паспорт, — поправил Гарри.

— Паспорта тебе не видать, как собственных ушей. Получишь временное удостоверение — пусть Давид Павлович съездит с тобой в обком партии. Может, выхлопочет разрешение на выезд в Алма-Ату. А там уж как повезет. У тебя преимущество: болен, инвалид — могут пожалеть, да и школу окончил казахскую, может, доверия больше. Почти казах, хоть и спецпереселенец.

Гарри насупился. Доводы Вагнера задевали самолюбие, унижали своей циничной откровенностью.

— Далее, — жестким менторским тоном продолжал Вагнер. — Допустим, добрался до Алма-Аты. Где гарантия, что тамошние институты встретят тебя с распахнутыми объятиями. Как бы не так! Можешь ты назвать хоть одного нашего соплеменника послевоенного времени, поступившего в вуз? Можешь?! То-то же! Просеивают так бдительно, что вряд ли один спецпереселенец проникнет в высшее учебное заведение. Ну, разве что в педагогический или в сельхоз. И то бабушка надвое сказала. Отсюда вывод: дерзай, стремись, мечтай, уповай на хорошее, а готовься к худшему.

Своей горькой правдой Вагнер только усугублял и без того гадкое настроение. Спорить не было сил, ни доводов. Гарри чувствовал себя как в западне. Получалось как в казахской поговорке: налево свернешь — арба развалится, направо повернешь — бык подохнет.

Долгий июльский день был на исходе. Солнце медленно опускалось к горизонту. Подсолнухи смиренно склонили тяжелеющие головы. Пахло пылью, луговыми травами. Со стороны Ишима повеяло сыростью.

— Печально... печально... — прошептал Гарри.

Вагнер принялся выкладывать книги из сетки. Гарри прочитал на обложках: Леонид Леонов "Русский лес"; "Дело петрашевцев", том третий; М.Розенталь "Вопросы эстетики Плеханова" и толстенная, как чемодан, книга-махина "Поджигатели" Н.Шпанова. Ни одну из них Гарри не читал. Не пред-

ставлял даже, что такие существуют. Стало еще тоскливее. Может, учась в казахской школе, он вообще читал не то, что положено. И, приехав в Алма-Ату, он только опозорится перед экзаменаторами и сверстниками, выпускниками городских школ...

Напоследок Вагнер достал маленькую, потрепанную, в темной обложке книжечку, полистал хрупкие, пожелтевшие страницы и, повысив голос, проникновенно прочитал:

Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат,
Кто б ты ни был, не падай душой:
Пусть неправда и зло полновластно царят
Над омытой слезами землей,
Пусть разбит и поруган святой идеал
И струится невинная кровь:
—Верь, настанет пора — и погибнет Ваал,
И вернется на землю любовь!

Голос Вагнера странно дрогнул, глаза заблестели, он судорожно сглотнул застрявший в горле ком.

— Кто это? — спросил Гарри, удивляясь неожиданной перемене в Вагнере.

— Надсон, — ответил, оправившись от волнения, Вагнер. — Случайно отыскал в районной библиотеке. Дореволюционное издание. Непонятно, как сюда попало и уцелело. Видно, кто-то из ссыльных оставил.

"Надсон... Надсон... — подумал про себя Гарри. — И такого поэта не знаю, впервые слышу... И что за Ваал, который погибнет? Ничего я не знаю..."

Но спрашивать ни о чем уже не хотелось.

Простившись с Вагнером, Гарри понуро побрел, постукивая костылями, к дому знакомого Райша, где он ночевал все эти беспокойные дни в районе.

"Пусть разбит и поруган святой идеал", — монотонно стучало в голове. "Кто б ты ни был, не падай душой..."

Завтра с утра предстояло опять томиться у постылого окошка районного управления МВД.

V

Он ждал ее с утра в районном парке, примыкавшем к клубу, хотя и знал, что до обеда ее наверняка не будет. Еще

неделю назад они условились встретиться здесь перед недолгой — как им казалось —разлукой. Находясь отныне в разных аулах по обе стороны Есиля на расстоянии полсотни километров, они могли добраться до областного центра лишь разными путями и, скорей всего, в разное время. Быть вместе впредь они могли только в Алма-Ате, если, понятно, оба пройдут в институт, в чем, впрочем, не сомневались.

В нетерпении он вновь и вновь проигрывал в уме все подробности предстоящего свидания, обдумывал слова, которые он скажет в первые минуты, мысленно вслушивался в ее ответы, до дрожи в теле ощущал ее, всю-всю, от самого мизинчика, живо представил, как они будут сидеть, тесно прижавшись друг к другу, боясь пошевельнуться, в тени под акациями, взволнованные, счастливые, как она своим пьянящим глубоким грудным голосом, точно обволакивающим сладким дурманом его истомленную душу, отзовется на его нежные речи, как будет смеяться, мило вздрагивая ноздрями и уголками сочных, полных губ. О, сколько событий произошло за эту неделю, сколько им нужно обстоятельно поведать друг другу! Потом... потом он настойчивей привлечет ее к себе, они прилягут на чахлой мураве под раскидистой акацией, испытывая изнуряющую радость от робких взаимных прикосновений и неуклюжих ласк. Он будет гладить ее крепкие, горячие ладошки, нежно коснется ее тугих, с ямочками, смуглых щек, будет шептать ей: "Багиш... милая... единственная... желанная... черноглазая радость моя...", коснется чуть-чуть губами родинки на шее, возле правого ушка, чувствуя восторг оттого, как она замрет, затаит дыхание, и черные зрачки ее больших верблюжьих глаз странно расширятся, точно расплывутся, будто в ожидании некоего чуда. У него закружится голова, неведомая слабость ударит в живот, в ноги, и он, словно невзначай, дотронется до ее коленок, погладит ее мягкую, шелковистую, прохладную кожу, выше, выше, и она поспешно не оттолкнет, а отведет его жадную руку, поправит подол, боязливо оглянется вокруг и почему-то начнет торопливо поправлять, теребить, расплетать и заплетать тугие, смоляные косы. "Багиш... Багиша... Багира", — как заведенный, будет лепетать он, а она морща чистый лоб, сдвигая в переносице черные, разросшиеся брови, глубоким голосом выдохнет: "Гарри, что с тобой? Не болды саған, Гаррим-ау?!..."

Солнце медленно подбиралось к зениту. Июльское марево плотно окутало сомлевший райцентр. Вокруг было безлюдно. По парку (тоже мне парк: обыкновенный захламленный пустырь с несколькими чахлыми осинами, тальником и убогими акациями, с жалкой, обшарпанной будкой, где иногда торгуют морсом или квасом, да шаткими стендами с давно выцветшими призывами и лозунгами) брела стайка коз во главе с бородатым облезлым козлом, спесиво и заносчиво таранившим нахальные, навыкате, глаза.

Гарри устал от ожидания, извелся. Его уже начал одолевать страх: вдруг Багира не приедет сегодня, мало ли что... Вдруг ей будет недосуг заглянуть сюда, в парк. Или в сумятохе забыла об условленном месте. Говорят: девичья память коротка. А, может, она уже была здесь, пока он ходил в рай-УМВД?..

Он не находил себе места. Бродил вокруг клуба, топтался возле будки, смотрел на пустынную дорогу, и нахальный козел со спесивой бородой глядел на него все чаще с явным подозрением и неприязнью. "И что ты, коз-зел, здесь все шляешься?! — безмолвно вопрошал он, бодливо выставив рога. — Пошел бы ты вон!.." Но с опаской косился на костыли Гарри.

Она появилась неожиданно, как луч солнца из-за туч в ненастный день. Он еще не увидел ее, но всем существом с трепетом почувствовал: она здесь. Здесь! Рядом! Телега, запряженная лошадкой, остановилась неподалеку у самых ворот в парк, и через несколько мгновений он услышал ее легкие, уверенные шаги. Сердце его бешено заколотилось. Он вскочил было, чтобы броситься навстречу, но тотчас раздумал: не хотелось, да и не стоило попасть на глаза тех, кто сидел на телеге, а их было двое — молодой мужчина в шляпе и девушка в тюбетейке. Багира шла по центральной дорожке, посыпанной песком, и он увидел на ней новое ситцевое платье, яркую косыночку на шее, толстые, тугие косы на груди, вздрагивавшие, как живые, в такт походки. Она шла так стремительно, будто точно знала, где он находится. Он вжался в куст, зажмурился, стараясь унять дыхание, делая вид, будто невзначай задремал.

— А-а... прячешься от меня, — сказала она глубоким грудным голосом и блеснула влажными черными глазами. — А я все равно тебя нашла!

И засмеялась звонко, по-девчоночьи. Потом быстро оглянулась, туда, где остановилась подвода с двумя спутниками, и, решив, что отсюда они не заметны, опустилась на колени и легко прижалась к нему, обдав неуловимым, таким знакомым и желанным, только ей присущим запахом.

Он прильнул к ней, на мгновение забыв обо всем на свете. Все так тщательно обдуманные, заготовленные фразы тотчас улетучились, и, жадно вдыхая ее запах, перемешанный с запахами степных трав, ветра и солнца, только потерянно бормотал: "Багиш... Багира... Багиша моя..."

— Что, соскучился, да? — засмеялась она, лучась глазами.

Он млел от ее легких, быстрых прикосновений, залюбовался ею, свежей, смуглой, туготелой, невольно косился на вырез платья, утлядев нежную полоску круто вздымавшихся грудей.

Он зажмурился, ища губами то заветное место на шее, под ушком, где темнела крохотная родинка.

— Ну, скажи... скажи же... соскучился? — настаивала она, трепеща ноздрями.

— Еще как! — признался он срывающимся голосом.

— То-то же! — заликовала она, смеясь, и горячими, твердыми ладошками погладила ему плечи, щеки, волосы. — А похудел-то как!

— Это оттоски... по тебе... — пробормотал он.

— Бедный... бедный Меджнун,.. — голос ее стал хриплым, тягучим, зрачки расширились, она неловко, рывком пригнула его голову к своей груди, отчего Гарри задохнулся от жара и счастья. Он весь напрягся, руки лихорадочно зашарили по ее упругому, горячему телу, он повалился на бок, увлекая ее за собой на расстеленный под ней пиджачок.

— Ба-ги-ра-а! — окликнул ее с повозки мужской голос.

— Едем, Багира-а... — вторила ему незнакомка.

— Кто такие?! — с досадой спросил Гарри.

Багира ответила нехотя, с деланным равнодушием:

— Аулчане... Вызвались проводить меня.

— Куда?

— В город! До грейдера, а там на попутной машине доберусь до Кызыл-жара...

— Вон как! — упавшим голосом произнес Гарри. — Вот почему ты такая счастливая...

Он почему-то полагал, что Багира вернется в свой Балуан и лишь через неделю отправится в Кызыл-жар, чтобы сесть на поезд, и Гарри втайне надеялся, что за это время, быть может, и у него все прояснится, уладится, и он еще успеет примкнуть к ней, а оказывается... оказывается...

— Ну, да! — подтвердила Багира. — Я уже собралась. Потому и спешу. В Кызыл-жаре меня уже ждут.

— Кто?

— Зейнет, Еслямгари, Бейсен.

— Вон, значит, ка-ак... — опять повторил Гарри, и губы у него задрожали, как у обиженного ребенка.

— Да ты что? — всполошилась Багира. — Чего расстроился, чудак? Получишь паспорт и догонишь нас.

Он сразу сник, погас. "Вот как... вот как... — повторял он про себя, чувствуя, будто проваливается в бездну. — Она уходит от меня... уходит. Она уже вся там, в Алма-Ате, в том сказочном городе, среди друзей, взволнованная, счастливая, а я здесь, все еще здесь, в этом пыльном, убогом райцентре, один, один... хромой стригунок, отбившийся от табуна... Одинокий саяк, сам по себе пасущийся в пустынной степи..."

Он был готов расплакаться от досады на свое невезение, от обиды, от ревности, неизвестно к чему и к кому. Ему почудилось, что все его враз покидают, предают, все упиваются своим счастьем и никому нет дела до его горестей.

Багира, уловив его настроение, тоже пригорюнилась. Села, поджав и обняв колени, поправила подол, посмотрела виновато, жалостливо.

— Прошу, Гарри, не расстраивайся... Қойсаңшы енді! Ты же сильный, — глаза ее подернулись влагой. Голос стал низкий, глухой. — Скажи, в чем дело? Почему тебе до сих пор не дают паспорта? Все же уже получили!

Он пристально посмотрел ей в глаза и понял, что она действительно ничего не понимает. Что он мог ей ответить? Разве она, аульная девчонка, поймет его мытарства? Как ей объяснить, что он — не по своей воле — не такой, как все, просто потому, что угораздило ему стать спецпереселенцем? Что состоит он на особом учете, совсем по другому ведомству? И что хоть его сплошь и рядом в ауле принимают за своего, он все-таки Гарри, а не Карибай, и Вальтер, а не Балтырбаев.

И как ему о том сказать этой безмятежной девчонке, находящейся во власти давней мечты о новой жизни? И зачем ему-то говорить о том Багире, зачем ее огорчать понапрасну?

— Я ведь не такой расторопный, шустрый, как ты... — он улыбнулся через силу и прижался щекой к ее щеке. Она рассмеялась, перестала хмурить брови, провела горячей ладошкой по его груди.

— Ба-ги-ра-а-а! — вновь послышался властный мужской голос с телеги возле входа в парк. — Скорей же! Опаздываем!

— Кто этот хлыщ в шляпе? — раздраженно спросил Гарри.

— Сказала же: аулчанин. И никакой не хлыщ.

— А что орет, будто ты ему... подчиненная?

— Дальний родич. Заботится.

— Тоже мне благодетель нашелся!

— Ба-ги-ра-а-а! — еще круче взвил голос хлыщ в шляпе.

— Ой, зовут... — встрепенулась она. — Пойду. Пора... Я жду тебя, Гарри. Пришли телеграмму. Встретим на вокзале. Сау бол!..

Она еще раз прильнула к нему, поцеловала в щеку и хотела было вскочить, но он намотал ее толстую косу на руку.

— Не пущу!

— Не надо, Гарри... Неудобно... Ждут.

— Жібермеймін... Не пущу!

— Вот чудак! — растерялась она, заметив, как он побледнел. —Пусти. Увидят... Ұят болады. Стыдно. И так уже в ауле поговаривают.

— О чем?

— Сам знаешь... — она опять сдвинула брови, наморщила лоб. —Пусти, Гарри... Прошу.

Он выпустил ее косу. Она резво встала, отряхнулась, поправила платье.

— Ладно, Багыш... И поговорить не удалось... Жолын болсын. Счастливого тебе пути! Не забывай бедака Гарри...

— Не забуду... Провожать не пойдешь?

— Как я покажусь твоим аулчанам в таком виде? Прости. Не могу.

Она долго смотрела на него застывшими печальными глазами. Губы ее вздрагивали.

— Ну, я пошла. Не горюй, Гарри... Я буду ждать тебя.

И, мелькая подолом цветастого ситцевого платья, она также легко и стремительно удалилась по песчаной дорожке к выходу из парка, где ее нетерпеливо ждали.

И все вокруг разом погасло. Нещадно пекло, как и прежде, июльское лето. Над акациями порхали бабочки. В траве стрекотали кузнечики. Бородатый козел задумчиво общипывал очередной куст татарника.

По пустырю райцентра мчались наперегонки смерчи, столбом поднимая пыль. Куда-то спешили редкие прохожие. Со стороны моста через Есиль доносились гудки машин. Но все это не имело никакого смысла.

Долго сидел Гарри, опустошенный, безразличный, под акацией, тупо глядя в пространство, и ничего ему уже не хотелось. В груди ныло. Дрожали руки. Кружилась голова. Он чувствовал, что вот-вот из носа пойдет кровь. Так бывало часто.

Он не знал, сколько прошло времени. Вяло подумал: Батира, наверное, уже добралась до грейдера и, видно, ловит попутную машину. Еще до заката дня она может доехать до Кызыл-жара.

Он заставил себя подняться и потащиться в райУМВД.

— Ну, где ж ты пропадаешь?! — ворчливо сказал угрюмый начальник паспортного стола. — Документ твой готов. Расписись и получай.

Гарри, не глядя, расписался в какой-то книге, взял сложенную вдвое, величиной с ладонь, шершавую четырехугольную бумажку. Окошко паспортного стола резко захлопнулось перед его носом.

Почувствовав слабость в ногах, он опустился на скамейку, прислонил костыли к стенке, быстро пробежал глазками долгожданный документ. Гарри вдруг начало знобить. "Временное удостоверение... выдано... спецпереселенцу сроком на три месяца..." — читал он лихорадочно и споткнулся на записи в графе "Особые отметки" на четвертой странице. Он читал эту жирную, черной тушью старательно выведенную и закрепленную печатью запись и почувствовал, как все в нем разом помертвело. Он читал вновь и вновь эту строчку, словно не в силах вникнуть в ее потаенный смысл и боясь, что рухнет сейчас прямо в коридоре заплеванного райотдела ми-

ницы, свалится со скамейки в черную бездну. Пересохшими губами он шептал запись в удостоверении, точно смертный приговор. "Разрешается жить только в пределах Октябрьского района". Ничего не соображая, он вскочил и бросился к окошку, постучал решительно.

— Что? — спросил начальник.

— Это... это... разве паспорт?! — голос Гарри прозвучал деревянно, чуждо, что он сам удивился.

— Да... Вам положен такой паспорт, — холодно ответил начальник, налегая на слово "вам".

— Но что значит: "только в пределах Октябрьского района?!"

— Так положено.

— Кем положено?

— Законом.

— Но куда я с таким... паспортом? Что мне делать?!

Голос Гарри сорвался, осекся, задохнулся в подступившем к горлу отчаянии.

— Не знаю...

— Но я ведь с такой бумажкой и выезжать никуда не смогу. Так?

— Почему? В пределах района — пожалуйста.

— Но я же учиться хочу! В Алма-Ату выехать!

— Для этого нужно специальное разрешение.

— От кого?

— От коменданта.

— Ка-ак?!

— Пиши заявление. Обоснуй. На основе временного удостоверения могут выдать разрешение.

— Кому заявление?

— Капитану Синичкину. Таков порядок. И если у тебя есть вызов, разрешение могут дать.

— Вызов? Какой еще вызов?

— Из института, куда решил поступать.

— Как это?

— Такой порядок!

— Ну, кто же мне вызов даст без разрешения? Подумайте только!

— Не моя забота.

Гарри понял, что все его надежды, мечты рухнули. Рухнули разом и окончательно в сумрачном коридоре постылого райУМВД.

Что делать? С кем посоветоваться?

Кровь пошла из носу, как всегда, неожиданно. Пока унял кровотечение, измазал руки и носовой платок. Плохо соображая, он на всякий случай написал заявление на имя коменданта капитана Синичкина с просьбой выдать ему разрешение на выезд на основании личного ходатайства и временного удостоверения.

Измученный, убитый, он в тот же день вернулся с горючевозом в аул.

VI

Вызова не было. Ниоткуда. Хоть плачь.

Давид Павлович, не в силах более взирать на душевные терзания шурина, через "не могу" ежедневно звонил по два-три раза в районную комендатуру, слал телеграммы в приемные комиссии институтов Алма-Аты, Караганды, Кызылжара и в ожидании хоть каких-нибудь вестей нервничал, но все тщетно.

В комендатуре долдонили одно: "Разрешение дадим при наличии вызова из института".

Из институтов отвечали: "Допускается к вступительным экзаменам при наличии разрешения МВД". Иногда оговаривались: "Если вы являетесь гражданином СССР".

Иван кивал на Петра.

Заколдованный круг. Попробуй прорвать его!

Из канцелярии легендарного Климента Ефремовича Ворошилова пришла отписка: "В Советском Союзе все граждане равны. И основания для поступления в вузы общие".

Может, и равны, да в разной степени.

"Равны в неравенстве", — ехидно подумал Гарри.

Между тем подкралось первое августа — начало вступительных экзаменов во всех вузах.

Гарри не находил себе места в раздольном ауле. Нахлобучив широкополую шляпу, накинув на плечи просторный белый плащ наподобие макинтоша, чтобы не особенно видны были костыли, хмурый и отрешенный, метался он по

опустевшим улочкам, бесцельно заходил в школу, в сельсоветскую библиотеку, в колхозную контору и снова чикилял домой.

Он чувствовал себя выпавшим с телеги. Или из времени. Он был никому не нужен. Кибитка потеряла колесо.

"Он с ума сойдет, — шептала взволнованно ночью Олькье мужу. — Не ест, не пьет. Осунулся. Переживает. Ну, сделай что-нибудь. Ты же партиец. Неужели нет никакой справедливости?!"

Справедливости не было. И выхода не было.

Вернулся откуда-то в солдатском обмундировании долговязый Жумин Сабит, аульный сирота, и пустил слух, что в Караганде открывается новый институт — то ли горно-металлургический, то ли политехнический, о котором пока никто толком не знает, состоится срочный набор, почти без конкурса, есть смысл заблаговременно податься туда и попытать удачу. "Хочешь — поедем вместе, — искушал он Гарри. — Экзамены сдашь — куда-нибудь пристроишься".

Дело сомнительное, но вселяло надежду.

Хуже нет, когда отстаешь от своего кочевья. Все равно, что мыкаешь горе у заброшенного стана.

— Послушай, — сказал Давид Павлович. — Давай порассуждаем здраво. Бывают такие ситуации, когда человек бессилен. Временно. Просто наступает полоса неудач. Все валится из рук. Хоть тресни. В таких случаях разумно переждать. Потом вдруг все само собой улаживается. Мой совет: год подожди. Я раздобуду тебе путевку в Ялту, в туб-диспансер. Райврач обещал. Подлечишься, костыли бросишь, окрепнешь, а в следующем году поступишь, куда захочешь.

И Давид Павлович посмотрел на шурина растерянными, бледно-голубыми глазами.

Уверенности в этих глазах Гарри не увидел. И философия о полосах удач и неудач не убеждала. И не лечиться он хотел, а учиться.

И Давид Павлович, законопослушный и робеющий перед властью мил-человек, решился на почти что отчаянный для него шаг. Он выхлопотал себе и Гарри разрешение в райУМВД на трое суток на выезд в Кызыл-жар по срочному личному делу и на попутном грузовике-зерновозе отправился в областной центр. Он надумал постучаться в областной

комитет партии: вдруг там войдут в положение и отзовутся на его мольбу. Он, наверное, заслужил того, чтобы уважили один раз его просьбу.

Едва добрались до Явленки, на полпути до города, как тучи заволокли небо и зарядил нудный холодный дождь. Это было непостижимо: все эти дни стояла ясная погода и не было никаких намеков на ненастье. "Какие же мы невезучие!" — подосадовал Давид Павлович, укутывая себя и шурина брезентовым пологом на кузове полуторки.

Гарри промолчал. Он знал: невезучим был он.

Еще через десятка два километра шофер сбился с грейдера и безнадежно забуксовал на проселочной дороге в степи.

Дождь барабанил без устали. Небо было без просвета.

Ночь провели, зарывшись в стог сена недалеко от избитой, превратившейся в густое месиво дороги.

Шофер по-черному ругал и незадачливых путников, и непогодь, и клячу-полуторку, и самого господа с его небесной канцелярией.

Давид Павлович насупился, посерел лицом, молчал.

Гарри чувствовал себя виноватым и был готов разреветься. Столько хлопот он доставлял людям... Ныла нога. Костыли глубоко увязали в липком черноземе. Хотелось ругаться, как шофер. Но Гарри по этой части был слаб. Да и Давид Павлович не имел привычки сквернословить. Иногда лишь у него вырывалось "Цум Тойфель аллес!".

Тяжелые, кудлатые тучи, точно льдины в половодье, плыли нехотя низко над головой, истекая дождями.

Казалось, солнце исчезло навсегда.

До Кызыл-жара добрались с мытарствами на третьи сутки, голодными, промокшими, отупевшими.

Город насупился, ощетинился весь, отсырел до последнего бревнышка и кирпичика.

Редкие прохожие с трудом одолевали мерзкие, пузырящиеся лужи на размытых улицах.

Гарри, из последних сил удерживая разъезжающие, как коровьи ноги на льду, выскальзывавшие из-под мышек костыли, обреченно тащился за шагистым и неутомимым Давидом Павловичем.

Целый день ходили от одного здания к другому. Подолгу томились в казенных, затхлых коридорах. У высоких

дверей Гарри мутило, сердце выпрыгивало из груди. У каждой новой двери оно начинало судорожно колотиться, и лицо покрывалось мелкой испариной.

Давид Павлович с обреченным видом сновал по кабинетам, строчил на ходу заявления, прошения, объяснения, кого-то бесконечно благодарил. Спина его сутулилась все больше, голова опускалась все ниже, щетина на щеках становилась все заметнее, голос охрип.

Гарри стало жалко зятя. Видно, просить — тяжкий удел, наказание, мука.

От названий учреждений — Облздрав, Профсоюз, Облкомендатура, Обком партии — кружилась голова. Для Гарри это было внове.

— Ну, кажется, все, — просипел на исходе суматошливого дня Давид Павлович, выйдя из очередного кабинета. — Поехали на вокзал. Завтра отправишься в Караганду.

Радости Гарри не почувствовал. Ему уже хотелось возвращаться в аул.

Поезд отходил в Караганду на рассвете. Полусонный Гарри, перебарывая усталость и боль в ноге, кое-как взобрался на вторую полку тесного купе, положил под матрац костыли, у изголовья пристроил полевую сумку с документами и бельишком, кульком с харчами на дорогу и испуганно оглянулся вокруг. Все было непривычно. И вагон не был похож на тот товарный с крохотным зарешеченным оконцем почти у самого потолка, на котором его привезли с Волги в Казахстан. Это было давно, двенадцать лет назад, но тот товарняк врезался в память навеки.

Паровоз заревел по-дурному, расколов привокзальную сонную одурь. Вагоны дернулись, точно в испуге. Давид Павлович судорожно обнял Гарри, прижался щетинистой щекой к его щеке, похлопал одобрительно по спине, по плечу, усталые глаза его вдруг повлажнели. Острая жалость полоснула по сердцу Гарри. Он пытался что-то сказать на прощание, что-то хорошее и запоминающееся, но не хотел выдавать дрожь в голосе.

Давид Павлович, заплетаясь длинными ногами, ринулся к выходу. Вагон еще раз дернулся, колеса нехотя прокрутились раза три, потом застучали, зататакали все бойчее, увереннее: Ка-ра-ган-да, Ка-ра-ган-да...

Мимо проплыла унылая станция, мокрые, понурые постройки, редкие растерянные лица.

В глазах Гарри потемнело.

В многолюдном вагоне он почувствовал себя одиноким, как в лесу.

"Наверное, я сморозил глупость, — с горечью подумал он про себя. — Надоел, должно быть, всем своей болезнью, своей беспомощностью, бестолковостью, да еще капризами. Может, в самом деле разумнее мириться с тем, что он неудачник, что судьба его не балует, что ему не суждено то, что другим доступно так легко и просто? Может, таков его жребий? Правда ведь, что на костылях далеко не ускачешь. Здоровья нет и не будет. Значит, надо, вероятно, сложить крылья, приспособиться, прибиться окончательно к аулу и найти себе мало-мальское применение. Устроиться, к примеру, библиотекарем, счетоводом, секретарем, лаборантом в школе. И решительно избавиться от всех иллюзий. Не самообманываться. Что ж... другим можно, а тебе — нет. Вот и вся мудрость..."

Ему стало жалко себя, Давида Павловича, Олькье, непутевых сестер, братьев, которым никак не удается выбраться из нужды. Он вспоминал дом, аул, аулчан и все более убеждался, что только там он себя еще как-то ощущает человеком, только там, среди сверстников, он из себя, возможно, что-то представляет, а вне аула он никто, так себе, растяпа, бестолочь, неумеха. Многие из его сверстников, над которыми, бывало, потешались все, кому не лень, в сущности более удачливы и жизнестойки. Они здоровы, не изводят, не терзают себя понапрасно... и... и, что самое главное, не состоят под комендатурой. Они, к счастью, не спецпереселенцы.

"Что-то не так, не так, не так", — буравила настойчиво сознание назойливая мысль.

"Не так, не так, не так..." — вторили монотонно колеса вагона.

На нижних полках, усевшись по двое с двух сторон и положив на колени потертый по краям чемодан, четверо парней самозабвенно резались в карты. Они так увлеклись, что ничего вокруг не замечали. Горланили, хохотали, друг друга незлобливо задирали, шпыняли и лихо сквернослови-

ли. Играли в "очко", потом в "дурака", затем в "шестьдесят шесть".

Время от времени на том же чемоданчике, застелив его газетой, подкреплялись: уминали поджаренные на бараньем сале румяные баурсаки, хрумтели куртом и иримчиком, ложечкой ели золотистое топленое масло в коровьем желудке, запивали крутым кипятком, удовлетворенно, громко рыгали и вновь принимались за карты.

За окном вагона простиралась роскошная казахская степь. Голубой простор сливался с голубым маревом у горизонта. Гарри, улегшись на живот, с восторгом вглядывался в безбрежную даль. Степь, выставляя напоказ пышные бока и крутой круп ласковому солнцу, нежилась, подремывала. Ровный сары-аркинский ветер обдувал ее, щекотал, гладил ее могучую атласную грудь. Казалось, степь вбирала в себя все его, Гарри, тревоги, боли, заботы, сомнения, излечивала душу, утешала; маленькое, ничтожное "я" будто растворялось в ней, улетучивалось. Поневоле навевала мысль: кто ты в этом мире? Что ты носишься со своей мировой скорбью? Смешно! Я — бескрайняя, вечная. Я как океан. А ты — песчинка, малая малость, никто.

"Так... так... так..." — подтверждали колеса, перерезая синь пространства.

— Смотри, смотри, балам[1], — тихо проговорил внизу у окна ухоженный, благообразный старичок-казах. Редкая бородка его вздрагивала, глубоко запавшие глаза смотрели зорко и цепко. Внучок, мальчонка лет восьми, глядел в окно, приплющивая нос и широко раскрыв рот. — Это благословенный край Кокше. Вон, у горизонта, синеют в мареве горы. Скоро увидишь Бурабай, воспетый в песнях. Ах, красота! Ах, отрада!

Любуясь степью, смущенными березовыми колками и вслушиваясь в тихую беседу старичка с внуком, Гарри вспоминал описания Бурабая, Ок-жетпеса, Сырымбета в знаменитом пухлом казахском романе очень популярного писателя, песни степных бардов Ахана-серэ и Биржан-сала и незаметно отвлекся от внутренней смуты, временами забывался и даже, казалось, не помнил, куда и зачем едет.

---

[1] Балам — мальчик мой, сын мой *(каз.)*.

Все его существо захватила, заполонила синяя ширь степи.

Старичок раза три метнул на него быстрый взгляд и неожиданно спросил по-русски:

— Э, куда, парень, едешь?

— Оқуға бара жатырмын, қария[1], — ответил Гарри по-казахски.

— Э, барекельде! — откликнулся старичок. — Удачи тебе! Ты татарин, погаец? По-казахски чисто говоришь.

— Нет аксакал... — И, подумав, Гарри решил пошутить. — Қазақпыз ғой[2].

— А-а?! — удивился старик. — Не дейді?[3] Какого рода?

— Атыгай.

Старичок растерялся, а картежники расхохотались.

— Знаем таких атыгайцев и керейцев. Немыс, значит. В наших краях тоже многие немцы запросто по-казахски шпарят. А обряды казахские знают лучше казахов.

— Барекельде! — вновь удовлетворенно задергал куцей бороденкой старичок. — Долгих тебе лет, сынок! И то верно: среди атыгайцев, караульцев немало рыжих встречается. Видно, и ты один из них.

— Ты что, замандас, к полке своей прилип? Спустился бы — кости размял, — предложил один из картежников.

— Потом, потом, — отнекивался Гарри.

Он еще не представлял себе, как он с костылями спустится со второй полки. Крепился.

— Пить хочешь? — И бритоголовый, загорелый, как головешка, парняга протянул ему кружку лимонада.

Гарри осушил ее залпом и почувствовал облегчение.

— Это, ата, все еще кокшетауская земля? — спросил внук у дедушки.

— Да, паша, балам, кокшетауская. Скоро начнется Акмолинская.

— А потом?

— Потом — Карагандинская.

— Такая же?

— Нет, — цокнул языком старичок. — Откуда такой быть?! Лучше Кокше земли нет! Не похожая.

---

[1] Учиться еду, старина *(каз.)*.

[2] Да казахи мы *(каз.)*.

[3] Что он говорит?! *(каз.)*.

За столиком у боковой полки сидела друг против друга молчаливая пожилая пара. Во всем их облике, движениях, жестах, в манерах было что-то неуловимо близкое, знакомое. Они сразу привлекли внимание Гарри. Оба были сосредоточены, необыкновенно опрятны и аккуратны, будто чем-то испуганы навеки, озирались затравленно, старались быть незаметными, словно были готовы в любое мгновение замереть, затихнуть, как улитки, раствориться, растаять, смешаться с собственной тенью. Их тяжелые, красные руки покоились на столике и, чувствовалось, томились от безделья. Из-под соломенной шляпы мужчины торчали космы седых волос; крепкий бронзовый затылок был изборожден морщинами; суховатая, жилистая фигура выдавала безропотного труженика. Женщина была пухлая, мягкая, вся какая-то домашняя, в глазах застыла печаль, голова была повязана цветастым платком. У ног их, под столиком, громоздились две увесистые сумки. От них тянуло квашеной капустой, молоком, сдобой. Мужчина с отрешенным видом глядел в пространство, играл желваками. Жена изредка вздыхала и раза два врастяжку промолвила: "Ach, ja..."

"Немцы", — догадался Гарри.

Это его поразило. За все годы, он, кроме братьев, сестер, Давида Павловича и Вагнера из Марьинки, ни одного немца не встречал, хотя и знал, что их в Казахстане, едва ли не в каждом ауле-поселке, пруд пруди. Выходит, умудрялись жить как-то неброско, затаившись, точно мыши.

Гарри наблюдал украдкой за пожилой немецкой четой, отмечая про себя, что они точно такие же, как его мангеймская родня еще до выселения. Судя по всему, и эти были из поволжских немцев-бауэров.

Муж и жена всю дорогу не проронили ни слова, будто дали зарок молчания. Лишь когда проехали Кокшетау, женщина неожиданно тихо сказала:

— Wollen vielleicht auch etwas essen?[1]

— Тафай, — буркнул мужчина в ответ.

"Точно. Немцы. Нашенские", — мелькнуло у Гарри, и сердце его почему-то радостно ворохнулось.

Женщина извлекла из сумки белый холщовый сверток, развернула его тщательно, разложила пончики-брецели, точь-

[1] Может, мы тоже немного покушаем?

в-точь такие, как жарила Олькье, достала шмат сала, несколько яиц, огурцов и спичечную коробку с солью.

Ели молча, сосредоточенно, аккуратно, не торопясь, будто работали.

Гарри незаметно наблюдал за ними с верхней полки. Ему хотелось, чтобы они беседовали между собой. Слух жаждал услышать родное наречие.

Женщина ни разу не поднимала головы, но каким-то образом, должно быть, почувствовала взгляд тощего парня на верхней полке.

— Ist er aber mager, der arme Kerl[1], — донесся вдруг ее шепот.

Что промычал мужчина, Гарри не расслышал, но весь напрягся, прислушался. Лишь через долгую паузу женщина опять заметила как бы вскользь:

— Der Kerl ist hungrig[2]...

— Na, gebt doch ihm Paar Brezel[3], — отозвался мужчина.

У Гарри вспыхнули уши, он спешно отвернулся лицом к стенке и закрыл глаза, сгорая от стыда.

Вскоре он задремал, а когда очнулся, немецкой четы уже не было. На какой-то станции они неслышно выбрались из купе, будто и не было их вовсе, словно испарились.

"Неужели все наши немцы такие?!" — подумалось Гарри. — Не люди — тени, призраки...

В Караганду поезд притащился явно усталый, выдохшийся, весь чумазый, словно нехотя, через силу. Остро пахло чадом, углем, каленым железом. Лохматые тучи едва ползли над унылыми привокзальными постройками. Люди беспечально толкались взад-вперед, озабоченные, хмурые, серые. Гарри почувствовал себя разбитым, отупевшим. Его шатало, а костыли почудились чугунными. Он был растерян, подавлен. Зачем он приехал? Куда идти? С чего начать? Словно щенок, брошенный в реку. Выплывет? Утонет? Хорошо, если долговязый Сабит получил телеграмму и встретит его. А если нет?

С разбухшей полевой сумкой за спиной, с тощей сеточкой с остатками харчей в руке, тяжело нависая на костыли, он вступил на грязный перрон и беспомощно оглянулся.

---

[1] До чего же он тощ, бедняга!

[2] Парень явно голоден.

[3] Ну, дай же ему пару пончиков.

— Гарри! С приездом! — раздалось над ухом.

И на душе отлегло.

Верзилистый Сабит, недавний бывалый солдат, уже успел пообтесаться, пообвыкнуть в незнакомом городе. Держался он уверенно.

— Значит, так, — с ходу приступил он к делу. — Сейчас едем в институт. Там полный ералаш. Желающих поступить уйма, а что к чему — никто толком не знает. Институт открывается впервые, сплошной бардак. Тебя я записал в РУМ, вместе со мной. Сейчас сдадим документы, а завтра уже первый экзамен. Сочинение по русскому. Я всецело надеюсь на тебя.

— РУМ — что такое?

— Так называется сокращенно факультет. Разработка угольных месторождений. Горный инженер. Специальность хорошая и зарплата в будущем — ого!

— Но... — поперхнулся Гарри.

— Что "но"?

— Какой из меня разработчик угольных месторождений? Какой горный инженер на костылях?

— Чепуха! Я об этом уже подумал. И в деканате договорился. Пока выучишься — и костыли бросишь. И инженеры нужны не только в поле и в шахтах, но и в конторе. Главное — сдать и поступить. А там переведешься на физмат педагогического. По профилю подходит. Смелее, мой Гарри!

Сабит действовал по-солдатски. Круто. С напором. Перед ним, рослым, шумным, напористым, в ладно сидевшей на нем солдатской форме, с широким ремнем на гибком стане, с начищенными до блеска значками на крутой груди, казалось, робели и в деканате, и в приемной комиссии. Никаких очередей он не признавал. Салаги-абитуриенты всюду учтиво уступали ему место. Девчонки при виде его жались к стенке, так шарахаются несмышленные телки при появлении в стаде свирепого бугая.

Гарри ничего не соображал в этом водовороте. Натиск Сабита сбивал его с толку. Он и одуматься не успел, как Сабит, сдав его документы, сунул ему клочок бумажки, из которой явствовало, что он допущен к вступительным экзаменам по факультету РУМ и регистрационный номер его — сто восемнадцатый.

— Ого! — свистнул Сабит. — Два дня назад я был зарегистрирован тридцать шестым. Откуда столько набралось?! Значит, будет конкурс.

Все складывалось вкривь и вкось. Разве Гарри мечтал об этом? В душе он надеялся уцепиться за педагогический, думал: сделают исключение, позволят сдать экзамены по плотному, ускоренному графику, примут. Но поезд ушел: в педагогический вступительные экзамены шли к концу. Отсеявшиеся неудачники хлынули пытать удачу во вновь открываемый технологический. А ему-то зачем РУМ? Рум-рум, шурум-бурум... Такое и во сне не снилось. Может, в самом деле удастся потом перейти на физмат? Но удастся ли? И зачем ему опять-таки физмат?

Несладко все получается...

И с общежитием не повезло. В просторной, на четырнадцать коек, комнате в замызганном двухэтажном здании на окраине города для него кое-как втиснули железную кровать у самой двери и то без матраса, одеяла, подушки.

— Ну, нету! — развела руками рыхлая комендантша с водянистыми глазами и помятым, как раздавленный незрелый помидор, лицом. — Кончилось! Обойдетесь как-нибудь.

Завертелось, закружилось. Днем в суматохе и толчее пропадали в институте. Посещали консультации, сдавали экзамены, уточняли бесконечные списки.

Ночью в общежитии, голодные, умученные, забывались в тревожном сне.

Ели что-то на ходу в вокзальном буфете.

Абитуриенты походили на дервишей. Слухи. Слезы. Раздражение. Сомнения. Вихрь бытия. Неопределенность. Тупик.

Пакости подстерегали совершенно с неожиданной стороны.

Однажды, уже в поздние сумерки, нагрянула в комнату багровая и злая, как мегера, комендантша и строго объявила:

— Паспортный режим!

Никто из ребят не растерялся, все начали доставать паспорта, а Гарри обомлел. Пока комендантша вглядывалась в паспорта, проверяла прописку, сверяла фотографии с живым оригиналом, Гарри сидел на своей койке у двери ни

живой, ни мертвый. Как быть? Выскользнуть? Наврать, что потерял? Так, сказывают, удав завораживает кролика.

— Паспорт! — холодно сказала комендантша, выкатив бесцветные глаза.

— Нету, — еле прошептал Гарри. Губы его запрыгали.

— Как нету?

— Есть, но...

— Что?! Паспорт, говорю!

Гарри обреченно протянул временное удостоверение. Господи, только бы не заглянула в раздел "Особые отметки"! Хоть бы пронесло...

Комендантша долго всматривалась в нерусскую фамилию, имя, отчество. Потом уставилась на бледного, затаившего дыхание заморыша на голой койке, в водянистых глазах ее блеснула гневная искорка.

Нет, не пронесло. Комендантша, повертев в руках временное удостоверение, добралась-таки до "Особых отметок", прочла едва ли не по слогам: "Разрешается проживать только в пределах Октябрьского района", долго разглядывала четырехугольный штамп райУМВД.

— И как это понять?!

Гарри онемел. Понять это было немыслимо. Ни ему, ни тем более комендантше.

— Вот! — промямлил он и подал разрешение от комендатуры.

Комендантша принялась читать вслух: "Разрешение № 23. Спецпоселенцу Вальтеру Гарри Иосифовичу, проживающему в к-зе Кызыл-ту Октябрьского района Северо-Казахстанской области, разрешен выезд в город Караганда сроком на трое суток. По возвращении к месту постоянного жительства разрешение немедленно сдать в спецкомендатуру. Начальник РОМГБ ст. лейтенант Волченко".

— Но трое суток давно прошли, — сказала возмущенно комендантша.

— Прошли, — согласился Гарри.

— Ну и что мне делать с этой бумажкой? — спросила комендантша.

— Не знаю, — признался Гарри.

— Вообще-то... — комендантша вдруг еще сильнее побагровела лицом, глаза стали совсем белыми, — вообще-то я

должна бы о вас сообщить в милицию, но пожалею вас. Однако общежитие вы должны немедленно покинуть. Не желаю иметь неприятностей из-за вас.

Комендантша задыхалась и дышала, как загнанная лошадь.

Абитуриенты столпились вокруг и недоуменно переглядывались.

Гарри был бледен. Губы его тряслись.

За окном густела темень. Ветер гонял угольную пыль и жухлые листья.

— Разве у тебя нет паспорта? — тихо спросил Сабит по-казахски.

— Немедленно покиньте общежитие! — распалялась комендантша. — Нагрянет милицейский наряд, не сдобровать ни мне, ни вам.

Обида душила Гарри.

Он молча оделся и, налегая на костыли, вышел.

Вокруг молчали в растерянности. Только Сабит рванулся было.

— Куда?!

Гарри хотелось скорее раствориться в ночи, исчезнуть, провалиться. Он и не заметил, как дочикилял до остановки и сел в последний, пустой, весь расшатанный, раздрызганный трамвай.

У сквера, неподалеку от института, он вышел.

Тусклые уличные фонари едва освещали опустевшие скамейки. В зыбком свете темнел пивной ларек. На скамейке рядом с ларьком, вонявшим мочой и размокшими папиросами, лежала кипа газет. "Здесь и прокоротаю ночь, — подумалось Гарри. — Укроюсь газетами — не озябну".

Высоко в небе замерцали бледные августовские звезды. Они смущенно взирали на одинокого тщедушного человечка, шуршащего газетами на пустой скамейке.

Недавние гнев и обида сменились безразличием. Ни о чем думать не хотелось.

Гарри постелил несколько газет под себя, двумя газетами решил укрыться. Он знал: бумага удерживает тепло не хуже одеяла. Жаль только, что впохыхах оставил часы в общежитии. Как теперь ориентироваться во времени долгой ночи?.. Костыли он положил рядом с собой, навалившись на них бочком: так надежней, никто не сопрет.

Сон не шел.

Вокруг что-то шелестело, шуршало, скрипело, шаркало. Временами он проваливался в забытье, но и сквозь дрему чувствовал, как тело напряжено, стиснуты кулаки, затылок онемел и тревога витала над ним.

Потом ему почудилось, будто на скамейку напротив сел долговязый бродяга. Сидел, курил, вздыхал, топтался вокруг и снова курил. Может, и его, бедолагу, выгнали откуда-то?

Ночь длилась бесконечно.

Лежать на голой скамейке было неудобно. Ныла нога. Ветер трепал газеты, нагло досаждал, завывал, скулил, как пес. Вдалеке заполошенно вскрикивал паровоз. Земля тяжко вздыхала, ухала, будто кто-то ворочался под ней. Тело зудело, чесалось, в груди горело, и рукам и ногам было холодно.

Очнулся от трамвайного трезвона.

Мертвенно-бледный рассвет разливался по пустынному скверу. На другом его конце кто-то вяло скреб метлой. Рядом кружилась стайка собак.

Гарри встал, пошарил руками: костыли были на месте. Тут же колыхнулась и долговязая тень напротив. Тень уродливо вытянулась, помахала руками, крякнула, присела, потопталась на месте и вдруг решительно двинулась к нему.

— Ну, доброе утро, упрямец! — хрипло произнесла тень, и Гарри узнал в ней Сабита.

— Оу, а ты откуда взялся?! — воскликнул Гарри.

— Тебя сторожил. Не мог же тебя одного оставить ночью в чужом городе. Что бы я сказал Давиду Павловичу?

Гарри порывисто обнял его. Не было сейчас более близкого ему человека.

— Айда на станцию. Помоемся, позавтракаем. Потом поедем в институт, — сказал Сабит, потуже затягивая ремень. — Спихнем химию. А вечером вернемся в общежитие. Не беспокойся: все уладим.

Действительно, жизнь идет полосами. После сумбурной ночи день выдался удачливый. И главная удача — Гарри играючи сдал экзамен по химии. Он легко ответил на все вопросы, исписал доску длиннющими формулами, предупредив молодого доцента-казаха, что окончил казахскую школу и потому названий элементов и соединений знает только

по-казахски: уж не обессудьте, так, мол, получилось. Доцента это потрясло больше всего: он-то учился, наоборот, в русской школе и в русском институте и диссертацию свою написал и защитил по-русски и потому даже представления не имел, что существуют какие-то казахские химические термины. Он кряхтел от изумления, услышав о том впервые из уст юноши-немца.

— Так, как, говоришь, называется водород?

— Оттегі.

— Надо же! А кислород?

— Сутегі.

— Вот дает! А кислота?

— Қышқыл.

— Соединение?

— Қосынды.

— Ну и ну! А ведь ловко!

Он долго расспрашивал Гарри, увлекся, явно проникся к нему сочувствием, пытался говорить с ним по-казахски, хотя и получалось у него натужно, нескладно, неуклюже и в конце концов с удовольствием вывел ему в экзаменационном листе "отлично".

Общий балл складывался приличный, и Гарри уже уверовал в удачу. Оставался последний экзамен. В деканате Гарри уже все знали, молодые преподаватели и лаборанты болели за него и обещали посильную поддержку.

В общежитие Гарри вернулся засветло, и комендантша, встретив его, сделала вид, что ничего не произошло. А ребята по комнате обрадовались ему и наперебой предлагали ему постель.

Зато сюрприз преподнес вечером Сабит.

Завалился он под хмельком и в сопровождении смазливой смуглянки с блестящими глазами-сливами. Она смотрела на него томно, разнеженно и похихикивала по всякому поводу.

— Ну, Гарри, дружище, — торжественно заявил Сабит, — мне сегодня один хмырь, отца его в рот, вкатил жирный "неуд". И я на все положил. — Он совершенно открыто, не стесняясь подруги-хохотушки, назвал то, что положил на дальнейшие экзамены и всякую учебу. Смуглянка при этом слегка зарделась. — Да, положил! С прибором! Хватит! Пой-

ту в шахту. Зашибу деньгу. Обзаведусь бабой. А то... — И, склонившись к Гарри, весело сообщил, перейдя на казахский. — Я уже без ядреной бабы не могу. Понимаешь? Закрываю глаза — вижу жирные груди, круглый зад, горячие бедра и все такое прочее. Свихнуться можно. Понимаешь? Какая тут учеба, когда в жар кидает? А ты оставайся. Ты, уверен, пройдешь. И с общежитием все уладится. С комендантшей я еще вчера, как надо, поговорил. Отныне она тебя тревожить не посмеет. Прощай! В аул вернусь нескоро.

И, забрав свой обшарпанный чемоданчик, ушел Сабит со своей смазливой подружкой.

А через два дня обрушилась на Гарри еще одна пакость. И тут делать было уже нечего.

Сдав благополучно последний экзамен по физике, он вылетел из аудитории, как на крыльях, не чуя костылей от радости, но за дверью его поджидал знакомый секретарь из деканата. Лицо его было озабоченным.

— Там, — он махнул рукой в конец коридора, — висит черный список. Все взбудоражены. И твоя фамилия в этом списке стоит.

— Что за черный список? — насторожился Гарри, и холодный комок дурного предчувствия подкатился к горлу.

— Увидишь... Отчисляют всех этих... — секретарь деканата, почему-то озираясь, перешел на шепот.

— Неблагонадежных? — помог ему Гарри.

— Да... Ты только не подавай виду. Иди к декану и к председателю приемной комиссии. Скажи, что окончил казахскую школу, вырос в ауле и потому ни к кому из них... ну... этих...

— Неблагонадежных, — подсказал опять Гарри.

— Ну, да... отношения не имеешь. Может, сделают исключение...

Но Гарри уже не слышал. Энергично выбрасывая вперед костыли, в несколько прыжков оказался у списка на доске объявлений.

Возле доски колыхалась толпа. Ни казахов, ни русских среди них не было. "Одни инородцы", — усмехнулся про себя Гарри. Он никак не мог подступиться к списку и не понимал, что все это могло означать. Толпа мрачно молчала. Тишина обрушилась зловещая. Были слышны лишь сопе-

ние, кряхтение, вздохи. И вдруг кто-то воскликнул по-немецки:

— Ha! Maier, du bist ja auch dabei[1].

— Maier mit den dicken Eier[2], — срифмовал тотчас какой-то охальник.

Несколько человек сдержанно засмеялись.

— А вот и Зауэр, — прочел кто-то в списке.

— Sauer, er macht das Leben sauer[3], — отозвался тот же шутник.

Засмеялись уже увереннее.

— Штрек!

— Ist ja alles Hundsdreck![4] — послышалось в толпе.

— Штрек — Шек — Дрек — не человек!

Гаркнули все вместе.

"Дураки, — подумал Гарри. — Над чем гогочут? Их отчисляют, а они ржут..."

— Э, да здесь не только "фрицы", но и другие бедолаги, — удивленно произнес кто-то:

— Да-а, вон Войцеховский стоит.

— И Василис.

— И Чапаев, и Мальсагов.

— И Каролайнен какой-то.

— Братья по несчастью! Ненадежные!

— Всех, значит, под зад коленом. Ну и ну!

Наконец, Гарри удалось подступиться ближе к черному списку, и он тотчас выхватил себя. "Вальтер" стоял в списке тридцать пятым. Всего отчисляемых оказалось пятьдесят три.

И тут только Гарри осенило: это были, действительно, одни переселенцы, депортированные, отверженные, представители наций-изгоев, которые перечислялись в секретных указах и находились на строгом учете спецкомендатуры.

Все стало ясно.

Обычно никого из этой масти не допускали к приемным экзаменам в вузы. Более того, редко кому из них дозволялось оканчивать даже среднюю школу. Их уже с шестого-седьмого класса старательно выпихивали в ФЗО, ПТУ,

---

[1] Ха, Майер, и ты здесь присутствуешь.

[2] Майер с толстыми яйцами.

[3] От Зауэра жизнь становится кислой (*Зауэр — по-нем. кислый*).

[4] Все собачье дерьмо.

на курсы шоферов, трактористов, комбайнеров, в исключительных случаях, иногда, допускали еще до техникумов. За этим следили строго. И тут в суматохе вновь открывающегося института органы потеряли свойственную им бдительность, спохватились, когда уже все экзамены были сданы, и пятьдесят три неблагонадежных гаврика, главным образом, "фрицы" и "гансы", едва не проскочили тихой сапой в институт.

Не порядок.

Кто-то все-таки дотумкал в самый последний момент. Толпа отверженных не отходила от списка. Опять взмыла немецкая фраза:

— Alles Scheiße![1]

И тут точно прорвало: в сумрачном коридоре института взлетели вдруг сплошные немецкие ругательства. Гарри сроду не слышал столько крепких немецких выражений. Но они, видимо, все-таки не отражали степень возмущения, ярости, обиды при созерцании черного списка, и в воздухе разразилось терпкое, сочное, соленое русское:

— ... мать!

И пошло-поехало на все лады. Богатство и выразительность русского мата ошеломляли. Эти спецпереселенцы разных мастей виртуозно овладели за годы изгнания всеми оттенками диковинного пласта русской речи. Двух-трех-четырехэтажные сложные конструкции заметались по сумрачному коридору, кто-то, шибко грамотный, запустил даже во всеуслышание малый матерный загиб Петра Великого.

Это было как противоядие на наглый выпад властей. Гарри почувствовал облегчение. "Всеобщая беда воспринимается как праздник", — вспомнилась казахская поговорка.

Он, оказывается, не один. Не один!

Таких, как он, много. И они уже не робеют, не дрожат, не забиваются трусливо в угол. Значит, когда-нибудь и несправедливости придет конец.

Придет! "Ewig kann's nicht Winter sein"[2] — пришла на память строка из "Болотных солдат".

---

[1] Все дерьмо!

[2] "Зима не может длиться вечно".

— Айда, братцы, в деканат! — сказал рыжеголовый, плотный, крутогрудый крепыш Редекоп, и толпа дружно хлынула за ним. Поговаривали, что Редекоп прибыл с юга, школу окончил с золотой медалью, поступал в вузы уже в третий раз, был заводилой, дерзок и напорист.

Декан явно струхнул при виде грозной толпы и встретил ее хмуро, озираясь на кабинет директора, как бы ища подмоги.

— Документы! — точно выстрелил Редекоп.

— Какие? — неуверенно спросил декан и глаза его забегали.

— Аттестат, основание для отчисления и все прочее. А также копии ведомости с нашими оценками.

— Э... все это... в архивном отделе.

— Что-о?! В архив уже спихнули?!

— Еще вчера.

Ринулись в архивный отдел. Растерянная девица молча выложила тощие папочки.

Все лихорадочно полистали личное дело.

— Что это такое?! — насупился рыжий Редекоп.

— Выписка из ведомостей. Всю ночь печатала, — пролепетала архивистка. Редекоп был страшен, точно свирепый верблюд-бура в пору гона. С таким шутки плохи: сшибет, задавит.

— Так тут одни "двойки" и "тройки"!

— Не знаю, — бормотала девица. — Как написано, так и напечатала.

— ...мать! — процедил Редекоп. Рыжая шевелюра ощетинилась, как загривок у волкодава. Глаза метали бешеные искорки.

Получалось: никто из пятидесяти трех спецпереселенцев не проходил по конкурсу, все не усвоили школьную программу, все неучи и тупицы, у всех низкие баллы, значит, национальность тут, ребятки, не при чем, просто знания ваши, милые, извините, явно неудолетворительные.

— Как?! У меня лишь одна "четверка", остальные — "пятерки".

— Кто подделал? Почему снизили оценки?

— Не знаю, не знаю. Так в ведомости.

— Мерзавцы!

— Подлецы!

— Шакалы!

Спецпереселенцы-неудачники разошлись, разъехались, улетучились, испарились в тот же день.

Гарри задержался еще на два дня, вместе с сочувствующим секретарем деканата пробился к председателю приемной комиссии, нажимал на то, что он выпускник казахской школы, комсомолец, набрал двадцать три балла на вступительных экзаменах, может, войдут в его положение, сделают исключение...

— Болмайды[1], — вздохнул председатель приемной комиссии.

— Неге?[2]

— Не могу. Такое указание.

— Откуда? — спросил Гарри. — Кто дал указание?

Председатель комиссии с жалостью уставился на наивного юнца, повисшего беспомощно на костылях.

— Анау![3] — сказал многозначительно председатель и воздел глаза к потолку.

Ах, "анау"! Ну, против него, известно, не попрешь. "Анау" восседает где-то высоко, рядом с самим Создателем.

"Анау" всесилен, всемогущ и таинствен. Это знают все — от шестилетнего малыша до шестидесятилетнего старца.

Карагандинские мытарства кончились. В общем вагоне, понурый, убитый, Гарри вернулся в Кызыл-жар.

Стояла теплынь. Видно, недавно прошел дождь. Чахлые кусты поникли. При жидком электрическом свете поблескивали грязные лужи. Скамейки были мокрые. Вечерние сумерки сгущались.

Коротать ночь на вокзале Гарри не решился. Здесь шастала милиция, без конца проверяла документы. Попасть ей на глаза нежелательно. Идти на ночь к мосту в надежде на попутную машину было также бессмысленно. Какой безумец поедет в ночь в сторону Марьинки?

Гарри решил провести ночь в городском парке на скамейке, но тут же передумал: Кызыл-жар славился бандитами и мазуриками. Завернуть к знакомым казахам тоже не

---

[1] Невозможно, нельзя *(каз.)*.

[2] Почему? *(каз.)*.

[3] Тот, тот самый *(каз.)*.

хотелось. Начнутся расспросы, что да как, а все не объяснишь, да и надоело.

Добравшись до улицы Сутюшева, он постукивал костылями вдоль тротуара взад-вперед, взад-вперед, туда-сюда между двумя освещенными остановками, часто поглядывал на часы, но время не шло. Впереди была долгая ночь.

Удостоверившись, что последняя десятка в нагрудном кармашке пиджака в сохранности, он зашел в едва освещенную неприглядную снаружи гостиницу. Зачуханная, уже в годах, дежурная посмотрела на него с удивлением и поспешно доложила, что мест нет. Он вздохнул, поправил соскальзывающий с плеч плащ, кивнул на облезлый диванчик в углу коридора:

— А посидеть можно?

— Нельзя, — отрезала дежурная. — Не положено!

Он понял, что вид его не внушал доверия и что на командировочного он никак не походил.

Он молча вышел, подумал и уселся на мокрые ступеньки, подложив под себя отощавшую в пути полевую сумку и запахнувшись плотнее в плащ. Костыли положил рядом.

Должно быть, задремал. Очнулся, когда кто-то толкнул его в плечо.

— Документы!

Милиционер в плаще, сапогах, фуражке с красным околышем, с фонариком в руке казался призраком.

— Выкрали, — неожиданно вырвалось у Гарри, и он сам удивился, как просто и легко у него это получилось.

— Где, когда? — не очень поверил милиционер.

— В поезде. По пути из Караганды.

— А что делали в Караганде?

— Поступал в институт да не поступил. Провалился.

— Хм-м... — озадаченно протянула красная фуражка. Вид у милиционера был усталый и скучный. Он скользнул взглядом по костылям, всматриваясь в лицо бледного юнца, и, видимо, соображал, как поступать дальше.

— И чем вы это докажете?

— А ничем... Разве что этим...

И Гарри протянул милиционеру несколько трамвайных билетиков, залежавшихся в кармане плаща.

— Что это?

Милиционер брезгливо развернул свернувшийся жгутиком билетик, посветил фонариком, прочитал: "Карагандатрамвайтрест", опять хмыкнул:

— Ну и документ! А откуда вообще?

— А-а... Из Ольгинки Октябрьского района.

Врать так врать. Не показывать же временное удостоверение с проклятым штампом районной спецкомендатуры. Да и немецкую фамилию называть зачем? Хлопот не оберешься.

Милиционер потоптался сапожищами в раздумье. Снова покосился на костыли.

— Здесь сидеть нельзя. Гостиница все-таки, а не паперть.

И ушел милиционер, удалился, растворился в сутеми.

Пронесло. Тут же отворилась дверь гостиницы, и дежурная позвала его:

— Молодой человек поспите на диванчике в коридоре. Пожалею уж вас. Только до шести утра.

Гарри посмотрел на часы: было два ночи.

— Спасибо. И сколько это будет стоить?

— Ну... — Дежурная замялась. — Рубля три.

Он с трудом втащился в гостиницу с застоявшимся, затхлым воздухом, прислонил костыли аккуратно к стенке, плюхнулся на продавленный диван и тотчас провалился в сон.

На рассвете в гулкой тишине он побрел по безлюдным улицам к Ишиму, к мосту, в надежде на попутную машину.

VII

Слух о том, что пришлый фельдшер из Кызыл-ту надумал строить дом, мгновенно прокатился по аулам Приишимья.

Аулчане восприняли эту весть как добрый знак.

Говорили, судачили:

— Э, барекельде! Значит, решил остаться у нас.

— Выходит, по душе пришелся першылу наш край.

— И какой дом?

— Ойбай, сосновый, говорят.

— Бо-о-оль-шой! Из четырех комнат!

— Э, удачи ему! Жаксы, жаксы!

А немцы и прочий ссыльный люд, разбросанные по аулам и селам, точно кизяк в степи, тоже обсуждали новость на все лады.

— Получается, о возвращении на Волгу уже не помышляет?

— Чего помышлять-то, раз не разрешают?

— Надумал навсегда обустроиться в Казахстане.

— Ну и правильно! Чего тесниться при медпункте? Семья-то растет.

— Не знаю, не знаю... Если каждый начнет строиться, куда его выслали, всегда останешься тем, кто ты есть.

— Есть возможность — надо жить, а не ютиться вечно на задворках.

Через три месяца после кончины усатого вождя Давид Павлович зашел как-то в районную комендатуру, чтобы отметиться в очередной раз, как положено образцово-показательному, законопослушному спецпереселенцу, и застал майора Синичкина в благодушном настроении.

Разговорились. Давид Павлович начал осторожно выведывать, не чувствуются ли новые веяния в органах, не ожидаются ли вскорости послабления в отношении подневольного люда, нет ли слухов о возвращении депортированных бедолаг.

— Не финти, Давид Павлович, — по-свойски перебил его майор Синичкин. — Твои намеки понял. Какие-то потепления смутно ощущаются. И, возможно, что-то произойдет. Но, — Синичкин важно воздел указательный палец, — особенно не фантазируй. Указ от 26 ноября 1948 года никто отменять не собирается. А ты помнишь, что в том Указе сказано.

Давид Павлович помнил. Ударное, ключевое слово в том грозном и точно злорадствующем Указе Президиума Верховного Совета СССР было — "ПЕРЕСЕЛЕНЫ НАВЕЧНО". И еще: "КАРАЕТСЯ КАТОРЖНЫМИ РАБОТАМИ ДО ДВАДЦАТИ ЛЕТ". Так что, в самом деле, нечего фантазировать. Пора бы и знать коммунисту Эрлиху: советская власть так просто свои решения не отменяет. Сказано: "НАВЕЧНО!", значит, так тому и быть. Все вы, депортированные бедаки, немцы, чечены, ингуши, финны, латыши, крым-

ские татары, калмыки и прочие, высланы навечно, зарубите себе на носу, за что — другой вопрос, есть, надо полагать, за что, раз выслали, а коли так, то и сидите там, где положено, и не рыпайтесь понапрасну. Вождь умер, а дело его живет. Да и насчет срока сказано четко и ясно: "Каторжные работы до двадцати лет". А после двадцати — видно будет. Там наверняка родится новый указ. Как же иначе?! Все должны жить строго по указу. С указа 48-го года прошло лишь пять лет. Следовательно, нечего уповать на скорые перемены. Мог бы и сам о том догадаться...

Всю обратную дорогу в аул, трясясь на старой сельсоветской телеге, Давид Павлович предавался раздумьям о своем нынешнем житье-бытье. Совершенно очевидно, что о возвращении на Волгу, о восстановлении распущенной автономии немцев речи в ближайшие годы не будет. Ясно также, что "высланы навечно" — сказано слишком сильно. Вечного ничего нет. Вряд ли столько народу, столько наций удастся долго держать под комендатурой. Чирей и тот долго нарывает, потом все равно вскрывается, лопнет. Когда-нибудь послабление наступит безусловно. Держать всех в вечном страхе, в узде немыслимо. Но случится это, по всему, не скоро. А жить надо. Не прозябать — жить! Между тем разрастается семья. Осенью Олькье разродится четвертым ребенком. Полинка уже во втором классе. Свободно балакает по-казахски, по-русски, по-немецки. Через год и Эдик потопает в школу. Олькье и на работу устроена, и по дому-хозяйству управляется играючи. Сам он вроде как свыкся со своей работой и судьбой. Местность по душе. Люди относятся к нему — лучше не надо. Временами он даже забывает, что спецпереселенец, что ограничен в правах и находится под комендатурой. Словом, жаловаться грех. Да, грех...

Пылал июль. Зной плыл по степи, зыбился маревом. Высоко в небе заливался одинокий жаворонок. Из березовых колок тянуло густым духом наливающихся соком диких ягод. Под ленивым ветерком задумчиво колыхались метелки ковыля, навевая умиротворение. Природа благодушествовала. Давид Павлович, завершив в районе все дела, сдав благополучно нудный конъюнктурный отчет за месяц, квартал и полугодие, предавался своим приятным думам.

Да, все складывается более-менее. Но нужен новый толчок, интерес, чтобы жизнь обрела вкус, конкретный смысл, стремление. Пожалуй, самая пора строить дом. Свой дом. Свой очаг. Не временное пристанище, не комнатка при медпункте. А настоящий дом. Просторный. Сухой. Теплый. Уютный. Где бы всем — и детям, и жене, и ему — жилось вольготно.

Ему даже жарко стало от этой догадки. Да, да... дом. Пусть это будет дом скитальца, о котором в ту роковую зиму говорил так упоенно брат Христьян. Пусть не среди своих единокровников, не на своей земле, но зато ДОМ, свой ДОМ, в котором будет обитать родной дух — опора и надежда семьи. Свой дом — свой островок. Свой клочок, отвоеванный у судьбы. Своя маленькая крепость.

Сивая сельсоветская кобылка ровно трусила по наезженному большаку, помахивала хвостом в репейниках, кивала тяжелой головой, будто поддерживая сладкую мечту путника на расшатанной, скрипучей телеге.

Давид Павлович загорелся этой мыслью, почувствовав такой прилив радости, будто уже добился заветной мечты. Ему не терпелось поделиться скорей своей задумкой с Олькье.

— Ты что?! — встрепенулась ночью Олькье, выслушав его подробный рассказ о постройке дома во всех красочных деталях. — На какие... шиши?!

— Ну, средства найдутся, — утешил он ее. — На твоей зарплате и хозяйстве как-то продержимся. А моя зарплата пойдет на дом. Потом ведь дело не спешное. Наверняка строиться будем года три-четыре.

— Так долго?! — разочарованно вздохнула Олькье. Она была готова переселиться в новый дом хоть с утра. Теснота в комнатке при медпункте давно тяготила ее.

Вскорости, облюбовав в овраге за аулом несколько объемистых, крутобоких камней-глыб, Давид Павлович доставил их на интернатовской повозке к себе на огород. "Пойдут под фундамент, — объяснил он Олькье. Потом знакомый директор лесхоза ровесник-курдас Ахметжан по душевной щедрости за бесценок привез несколько кубометров строительного леса. Однажды бригадир Кабиден из Алка-Агача на бричке, запряженной парой волов, подвез тяжеленную,

уже обтесанную сосновую матицу и ящик водки. "А водка качем?" — удивился Давид Павлович. "Э, першыл, — забасил верзила Кабиден, почесывая бритый череп. — Начнешь строиться — и водка пригодится".

Как-то раз Давид Павлович с удивлением заметил, как неразлучные Сейтходжа и Кали, один длинный и горластый, другой щуплый и тихоня, деловито расхаживали по подворью при медпункте, что-то обсуждали, прикидывали, вымеряли шагами.

— Оу, почтенные, чего вы потеряли на чужой усадьбе?

Еще недавно только выкопали картошку в огороде, еще там-сям громоздилась сваленная в кучу жухлая ботва, только-только задули осенние ветры с верховий, а Сейтходжа уже напялил засаленный треух-малахай, обмотал заскорузлую шубейку обрывком волосяного аркана, за который заткнул топор, на кирзовых, обтерханных до белизны сапогах его налипли пудовые комья чернозема. Рядом, точно тень, семенил Кали в кургузой фуфайке, кошомном колпаке и пешней в руке. Они были так озабочены и увлечены, что на фельдшера, выскочившего в белом халате из медпункта, даже не обратили внимание.

— Вот здесь надо ставить, — сказал, наконец, описав рукой круг, Сейтходжа.

— Ия, пожалуй, ты прав, — соглашался Кали. — Здесь и выше, и суше.

— А главное — грунт лучше. И сугробы зимой наметывает меньше.

— Ия, ия, ты прав, — теребил задумчиво Кали свою бороденку-мочалку.

Каблуком сапожища Сейтходжа выдолбил ямку, приказал Кали:

— Здесь забей кол!

И от этой выемки пошел мерять широкими шагами вдоль и поперек.

— Разве так делается, уважаемые?! — воскликнул Давид Павлович. — Метром надо.

— Зашем твой метыр? — отмахнулся Сейтходжа. — Моя нога — метыр!

Он деловито разметил площадку будущего дома и, заметив недоумение на лице фельдшера, еще раз поинтересовался:

— Ты гауариш, восемь на десять, так?

— Да, восемь на десять.

— Ну, вот. Знашшыт, десять шаг сюда, восемь шаг туда.

— Но вель метров, а не шагов! — настаивал Давид Павлович. — И еще веранда сбоку.

— Аден шорт! — убежденно сипел Сейтходжа, смачно выплевывая насвай. — Твой не знайыт, мой знайыт.

— Тоже мне архитектор нашелся! — проворчал в сердцах Давид Павлович, но спорить дальше не стал, решив потом, на досуге, еще раз все тщательно перемерить.

Заглянул и Есильбай, долго расчесывал пятерней сивую дремучую, как русский лес, бороду, мычал неопределенно, потом проронил:

— Добрэ! Молодчина! Дом — это святое. Всем миром поможем. Я зашью досками фронтон и излажу оконные рамы. Сказал — сделаю!

Однажды еще до рассвета Давид Павлович проснулся от размеренного стука топоров за окном. Выглянул и ахнул: братья Омар и Коспан ошкуривали завезенные накануне сосновые бревна и складывали их на просушку на камни, чтобы не касались земли.

— Ты только посмотри на них, — сказал он Олькье.

Она улыбнулась.

— Пригласи стариков на чай. У меня все готово.

Завернул как-то с колхозного тока и бирюк Тайшик. Щурился подслеповато, приставив ладонь козырьком ко лбу, поцокал-поцокал языком, заявил, что и он внесет свою лепту в стройку, а именно застеклит окна и придет на новоселье. И захохотал, хлопнув фельдшера по плечу.

И Шаку со своими товарками по ферме посчитала нужным сообщить, что уж они, аульные бабы-хатуны, от такого дела в стороне не останутся.

— И чем поможете? — поинтересовался Давид Павлович.

— Э, дорогой першыл, баба всегда имеет чем помочь, — закосила глазами шельма Шаку. — Глину месить будем, моховую прокладку укладывать, штукатурить. Барашка зарежешь — все придем.

Отныне и у Олькье было одно на уме: дом, дом, дом. Ни о чем другом, казалось, думать и говорить она не могла.

Вечерами, мечтательно вглядываясь в начирканный чертеж их будущего жилища, она в который раз все допытывалась у мужа: "А сколько будет комнат? Может, выкроем пять? А какая будет кухня? Удастся ли разместить в детской четыре кроватки? А вход в погреб будет из веранды или из кухни?" и при этом глаза ее вспыхивали огнем и щеки от волнения рдели.

— Либер Гот, дожить бы скорее! — вздыхала она, сидя в вечерней тиши за прялкой.

— Не торопись... За год накопим стройматериалы, а потом за год-два утрясем.

— Целых три года ждать...

— Ничего, Олькье. Дом рубить — не шутка.

Весть о том, что першыл Эрлих решил строить дом, радостно всколыхнула всю округу. Все считали своим долгом принять посильное участие в благом деле. Такого рвения со стороны аулчан и знакомых Давид Павлович и не ожидал и потому был весьма тронут.

Насторожил и неожиданно омрачил его радость только Коля Вагнер. Давид Павлович столкнулся с ним случайно возле районной аптеки. Он его даже не узнал сразу. Коля заметно облысел, зато отрастил пышную рыжую бороду. Взгляд стал еще более колючим, тяжелым. Губы были плотно сжаты, брови сдвинуты.

— А-а... Давид Павлович! — насмешливо процедил он. — Приехали отметиться?

— Не-ет... За медикаментами.

— А я — оттуда...

И Вагнер выругался, смешав русский мат с немецким "Доннер-веттером". Давид Павлович осторожно оглянулся по сторонам: настрой Вагнера не сулил ничего хорошего.

— Слышал, дом строите? — оглушил неожиданно Коля.

— Да, — с радостью отозвался Давид Павлович.

— Ну, и как это следует понимать? — насупился Вагнер, и даже борода его задергалась от возмущения. — Что о возвращении на родину и думать перестали? Что смирились с ссылкой? Что отныне ваша хата с краю? Что все должны следовать вашему примеру и окапываться здесь навеки вечные?! Что...

— Ну, почему же так? — растерялся Давид Павлович от напора пеистового Вагнера. — Просто строю дом, чтобы семье, детям было хорошо, удобно. И все. Больше ничего.

— Хорошо, удобно в ссылке?! — скривился Коля.

— Почему? Хорошо, удобно в жизни. Что тут предосудительного?

— А когда пробьет час?

— Какой час?

— Час возвращения на родину! — борода Вагнера, казалось, встопорщилась. — На землю предков! Оставите свое удобное гнездо?!

— Видно будет, — холодно отрезал Давид Павлович и отвернулся.

Вагнер примирительно схватил его за рукав.

— Не серчайте, Давид Павлович. Я просто злой сейчас. Опять поцапался с комендантом Волченко. А дом — Бог с вами, стройте. Я при случае доставлю вам олифу и краску. Это мы могем! Салют!

И исчез, будто растворился. Во всем его облике было что-то заговорщическое, непримиримое, буйное, ершистое.

Давид Павлович повел плечом, но на душе осталась досада. В чем Вагнер его укоряет? Неужто он должен все время травить себе душу? Упиваться своим несчастьем? Чувствовать себя изгоем? Воспитывать ущербность в детях? Не, неправ этот молодой, дерзкий бунтарь. Невозможно жить отшельником, вечно скорбя о невозвратном. Не народ виноват в своих несчастьях, а политики. Пусть и терзают себя, и смывают свой позор. Конечно, человек не должен терять чувство родины. Но и изгоем жить всю жизнь недостойно. У каждого человека должно быть свое место на земле. И нет чужой земли. Надо быть благодарным земле, где живешь, тогда и она тебе отблагодарит, сторицей воздаст. А Поволжье свое он помнит. По краю предков сердце щемит постоянно. Эта боль всегда с ним. Ну, а дети-то при чем? У них должен быть свой дом, свой кустик, свой заветный уголочек, где они ощущают себя защищенными и уверенными. Они уроженцы этого края. И им мила эта земля.

Нет, неправ буян, смутьян Вагнер. Может, прав в чем-то другом. Но не о том речь.

О встрече и разговоре с Вагнером он Олькье не сказал ни слова.

Но в семье отныне был только один разговор, одно утешение, одна мечта — дом. Он грезился Эрлихам во сне и наяву. Большой, ладный и складный сосновый дом. С двускатной пологой железной крышей. С обшитым струганными досками фронтоном. С окнами, выходящими на юг и на запад. С моховой прокладкой между гладкими бревнами, посаженными для крепости на шипы. С веселым флюгером-петушком на крыше. С веселым палисадником. Беленький, как яичко. Радующий взор издалека. Обсаженный деревьями. Самый приметный и нарядный в ауле. А, может, и во всей округе. Многолюдный, открытый для добрых людей, гостеприимный.

"Heim, Heim, Heim", — умиленно шептали губы поневоле перед сном.

"Дом, дом, дом", — звенело ликующе в ушах в предрассветный час.

Сознание было заполнено вожделенным счастьем своего дома.

Домом был заполнен мир.

VIII

Он теперь жил анахоретом. Чувствовал себя безнадежно одиноким. Барахтался в тине большой лжи. Караганда вспоминалась как кошмар. Отныне занятием и забавой, единственной отрадой его были книги. Общаться было больше не с кем. Говорить ни с кем не хотелось. Он избегал аулчан. Он замечал, как мугаллимы при встрече с ним смущенно опускали глаза. Старики недоумевали: "Как же это получилось, Кари, что ты от своего косяка отбился? Как ты мог, хваленый атлешник[1], не поступить в эти енстуты[2], куда пролез самый захудалый троешник?!" Он не мог всем все объяснять. Это было непонятно и унизительно. Мария Петровна делала скорбные глаза и вздыхала: "Как я понимаю, милый Гарри, что творится сейчас в твоей душе. Как я тебе сочувствую!" От этих слов становилось и вовсе противно, гадко.

---

[1] *Искаж.* отличник.

[2] *Искаж.* институты.

Он замкнулся. Целыми днями просиживал над книжками. Делал выписки. Жил строго по составленному для самого себя распорядку. Загонял себя в режим. Поднявшись в шесть утра, пилил с Давидом Павловичем дрова. Зять, сильный, жилистый, запросто клал толстенные бревна на козлы, и Гарри, отставив в сторону костыли, опирался одной рукой о край комля, другой яростно тянул на себя ручку пилы, следя за своим дыханием. Это бодрило. Потом он помогал Олькье по нескончаемому домашнему хозяйству. Но все молчал. Грезил Рахметовым из пухлого, скучного романа. Писал длинные письма министру внутренних дел, председателю Президиума Верховного Совета, депутатам, возмущаясь несправедливостью и ратуя за восстановление ленинской национальной политики.

Ответа не было.

В какие еще двери стучаться, он не знал.

Давид Павлович не одобрял его писаний, но не препятствовал, сам отправлял на почте пухлые письма-слезницы заказным способом. Гарри составлял ему нудные медицинские отчеты и переписал в общую клеенчатую тетрадь все выводы в конце глав "Краткого курса ВКП(б)", чтобы Давид Павлович мог отчитываться у инструктора райкома партии о своем усердном политическом самообразовании. Еще Гарри разыгрывал шахматные партии Ботвинника и Бронштейна, занимался теорией эндшпиля, до глубокой ночи сидел у радиоприемника и слушал лекции о классической музыке. Случалось, шкрябал заметки в районную и областную газеты о трудовых буднях аулчан, сочинял стихи на казахском языке, подражая Маяковскому. Получалось надуманно, топорно.

Дни вращались нудно и трудно, как жернов колхозной ветряной мельницы.

Однажды в канун ноябрьских торжеств зашел к нему неожиданно новый директор школы Сауыт Сейтенов. Человек он был любопытный, непохожий на большинство аульных мугаллимов. Преподавал он ранее математику и физику в Балуанской семилетней школе. Слыл чудаком. Ученики его обожали. Он прилично рисовал. В кабинете его висел нарисованный им маслом портрет усатого генералиссимуса во весь рост. Руководил также шахматным кружком и не

считал это забавой. Еще сочинял эпические поэмы о батырах-предках. Особенно же поражал всех тем, что знал арабский язык и, случалось, на тоях-поминках читал непонятные суры из Корана, что считалось не только странным для педагога, но и предосудительным. Аульная верхушка — баскарма, аулнай[1], партком — перед директором явно робели: Сейтенов был резок, прям, вспыльчив, дерзок. Был он кряжист, большеголов и лыс, круглые, навыкате, глаза смотрели в упор. Черные зрачки поблескивали, точно острие лезвия. Мугаллимы средней школы поначалу не очень признавали пришлого, чужака, директора семилетки в глухом ауле, строптивились, задирались, но он их быстро приструнил, укротил, сбил их спесь и знаниями, и требовательностью, и хваткостью, и въедливостью, и крутым нравом, и острым, как алмаз, языком.

Гарри через тонкую стенку-перегородку слышал, как директор говорил о чем-то в медпункте с Давидом Павловичем, но что он зайдет к нему, никак не ожидал.

— Салем, Гарри, — хрипло произнес директор, будто они были давным-давно знакомы. — Как живешь?

Гарри учтиво привстал.

— Сәлеметсіз бе, ағай. Живу так себе, тихо-мирно. Читаю, пишу.

— Джигит! Я все знаю. А настрой как?

— Настрой? Какой может быть настрой? Кисловатый, конечно.

— Отчего?

— Долго объяснять. Какой может быть настрой у птенца, выпавшего невзначай из гнезда?

Директор вскинул глазища, задумался.

— Понимаю, понимаю... Учиться собираешься?

— Да. В следующем году еще раз попытаюсь.

— Похвально!

Директор помолчал, повел вокруг взглядом, взял в руки книги, лежащие на столе: "Дело петрашевцев", "Что делать?", "Сочинения Н. Добролюбова", "Теория шахматной игры", "Казахский эпос". Пауза затягивалась. Гарри недоумевал: качем пришел директор?

---

[1] *Баскарма* — председатель колхоза; *аулнай* — председатель аулсовета.

— Вот что, Гарри. Как ты посмотришь на то, если я приглашу тебя на работу?

— Что за работа? Библиотекарем?

— Нет. Преподавателем.

— Не понял, агай.

— Ты знаешь... — в больших глазах директора блеснул озорной огонек. — В школе работает немало женщин. А у них есть одна слабость: время от времени они беременеют. Не знаю, как уж они умудряются. И тогда им положен декретный отпуск. А заменить их некем. Смекнул?

— Не очень, — признался Гарри.

— Поясняю. На днях уходит в декрет Кульшара. Нужна замена на два месяца. К тому времени выйдет в декрет Айганым. Опять на два месяца. Потом освободится место лаборанта. Потом собирается рожать учительница в пятых классах. И таким образом...

— Так я должен заменять поочередно всех беременных женщин?

— Получается так, — кивнул лысой головой директор. — Где мне прикажешь учителя искать в зимнюю пору? Вот и рассчитываю на тебя.

— Ой, агай. Я же без образования. Сам только что школу закончил.

— Ничего. Дело наживное. Все так начинали. А ты — отличник. Человек серьезный. И лет тебе...

— Девятнадцать, — подсказал Гарри.

— Ну, вот! — похлопал себя директор ладонью по колену. — Очень даже подходяще! В этом возрасте я уже женился... Сам подумай! До мая поработаешь, почти семь месяцев. Считай, год стажа. Институт окончишь — трудовой стаж уже пять лет. Здорово! И при деле будешь, и тиын-тебен[1] накопишь, и настроение себе поднимешь. Не так разве?

Гарри молчал. И соблазнительно, и боязно.

— Подумай, — одобряюще улыбнулся директор. — Выручи меня. Надумаешь — завтра зайди ко мне в школу. Мигом оформлю. А с жезде твоим уже поговорил. Он — "за".

— Но... — смутился Гарри.

— Что еще? — насторожился Сейтенов.

[1] Копейка-денежка.

— Но ведь... вы, наверное, знаете... я же под комендатурой... спецпереселенец. Могут возникнуть неприятности...

— А-а-а... — насупился директор. — О том не беспокойся. Это моя забота. Ты против советской власти, надеюсь, ничего не имеешь? И во вражеской разведке не работаешь? Не так ли?!

На следующий день Гарри, приодевшись и даже нацепив завалявшийся галстук Давида Павловича, постучался в кабинет директора школы.

— Агай, согласен...

— Ну, джигит! Арыстан! Тигр! Каскыр! Я был уверен. Сейчас же настрочу приказ. А ты сегодня же отправься к Кульшаре, возьми календарный и воспитательный планы, посоветуйся и через день я представлю тебя классу. С Богом!

IX

Алма-Ата ошеломляла с первого мгновения. Своей пышной красой. Ослепительным солнцем. Могучими тополями и карагачами. Цветниками. Блистательными вершинами гор, обрамлявшими с юга город. И сладкими запахами, струящимися отовсюду. И еще дремотной, убаюкивающей музыкой говорливых арыков. Силуэт гор четко вырисовывался на фоне чистой небесной сини. Подобное диво возникает так сразу только во сне.

В том краю, откуда он прибыл, воздух с напором врывался в грудную клетку, наполнял, расширял легкие, как кузнечные меха, здесь же, на юге, воздух надлежало хватать, глотать, пить мелкими глотками, точно море или яблочный сок.

Мягкие, нежные струи воздуха обволакивали, обнимали, ласкали.

Июль был на исходе. Стояла рань, а потому зной не чувствовался. Люди ходили разморенные, разомлевшие, не ходили — плыли, барахтались в медовых струях разогретого, ленивого воздуха, будто нежились в мелководье заливчика сонной речки.

Гарри вдруг почувствовал себя легким, бодрым. Он долго стоял, опираясь на костыли, на залитой солнцем привок-

зальной площади и, щурясь, любовался горами вдалеке. Они поражали своей громадой и кажущейся близостью. Все плыло-зыбилось в легком мареве. Ему, степняку, это было вновь. "Здесь мне повезет, наконец, — подумалось вдруг ему. — Конечно, здесь ждет меня удача". И от этой догадки ему стало и вовсе легко.

Столица его не пугала. Он запасся адресами институтов и знакомых студентов-земляков. Здесь обучались из одной только Кызылтуской средней школы почти семьдесят человек. В любом институте он мог найти знакомых, готовых помочь ему, отвести, куда надо, опекать.

Нет, здесь он определенно не пропадет. Это не город — рай. Зеленый остров. Сад эдема. Отрада-обитель скитальца.

К остановке один за другим бесшумно и весело подкатывали троллейбусы. Чуть поодаль дребезгливо позванивали неуклюжие, точно мастодонты, трамваи.

— Сойдете на Карла Маркса и Октябрьской, — пояснила ему продавщица-мороженница. — Там парк Федерации.

— Но мне нужен парк гвардейцев-панфиловцев.

— Это одно и то же.

Он легко взобрался в четвертый трамвай, уверенно опустился на заднее сиденье.

Город улыбался ему. Раскрывал объятия.

Гарри легко нашел парк двадцати восьми героев-панфиловцев. Он был ослепительно красив, ухожен, чист. Не то, что угрюмый, как бандитское логово, городской парк в Кызыл-жаре. Издали просматривалось роскошное деревянное строение с голубоватым куполом. Оно нежилось в утренних лучах и, казалось, невесомо плыло в золотистых струях воздуха.

Из пивного ларька неподалеку от входа в парк высунулась красная рожа.

— Опохмелимся, молодой человек?

Гарри не понял. Спросил, указав рукой на деревянное сооружение:

— Что за здание?

— А-а, — зевнула рожа. — Музей. Раньше был храм.

Гарри опустился на скамейку, полюбовался на тихую благодать вокруг. Такой умиротворенной красоты видеть ему еще не доводилось.

— Приезжий? — спросил краснорожий торговец.

— А? Да-а... Будьте любезны, нацедите кружку.

Пиво пенилось, вздымалось янтарной воздушной шапкой, переливалось хлопьями через край тяжелой кружки, щекотало ноздри, ширило грудь, утоляло и усугубляло жажду.

— Еще?

— Будьте добры.

Приятная истома разлилась по жилам. Дыхание наладилось. В голове легко зашумело.

— До пединститута далеко?

— Вон за решеткой двухэтажное здание видите? Это общежитие. А рядом, через дорогу, — институт.

— А КазГУ?

— Университет? Еще чуть дальше. По Советской. С колоннами. Говорят, мужская гимназия была в Верном.

— Спасибо.

Все складывалось удивительно удачно. Он почти у цели. Времени много. Настроение бодрое. Пиво прекрасное. Вокруг тишина и уют. В общежитие наверняка встретится кто-нибудь из земляков, может, даже Багира, хотя она и вряд ли вернулась из каникул.

Он решил не спешить. Да и разомлел как-то от жигулевского. А, может, с дороги? Немного походил по дорожкам, осмотрелся, забрел в укромный уголок у самой чугунной ограды, нашел под елью заросшее травой местечко, расстелил пиджак и с удовольствием растянулся в густой тени.

Рядом журчал арык, земля дышала прохладой и прелыми листьями. Деревья замерли в томлении.

Отдохнув и даже вроде как вздремнув чуть-чуть, Гарри помыл руки в арыке, отряхнулся и отправился, как он решил про себя, на разведку.

Бывшую мужскую гимназию, в которой, как свидетельствовала настенная табличка, учился некогда прославленный полководец Гражданской войны, он нашел легко. В прохладном и просторном фойе за длинным столом сидела бойкая на вид девица и деловито перекладывала какие-то бумаги. Она оказалась секретаршей приемной комиссии и подробно и улыбчиво объяснила Гарри, куда он может сдавать документы, где какой конкурс и условия приема, кем ста-

нут выпускники того или иного факультета. Все это Гарри уже знал из объявлений, опубликованных в газетах. Ему хотелось поступить на такой факультет, где пригодились бы его казахские познания.

— А-а, — вся просветлела секретарша, — тогда вам лучше, думаю, идти в КазПИ. Точно! Там есть на литфаке такое отделение — эркао.

— Эркао? Что это значит?

— Русско-казахское отделение. Оно готовит преподавателей русского языка и литературы для казахских школ.

— О! Вот это, пожалуй, мне и подойдет.

Через несколько минут он вошел в здание на той же улице: оно, как он выяснил, было когда-то Верненской женской гимназией. Возле парадного входа, под старым тополем, толпилась стайка ребят и о чем-то оживленно спорила. По внешнему обличью они показались тоже аульными: один тощий, с короткой мальчишеской стрижкой, тонкогубый, черноглазый, очень подвижный был в лыжном костюме, другой — коротконогий, с ноздреватым, почему-то все время потеющим носом, чернявый, в кургузом пиджачке и брюках с такими широкими штанинами, в которые он мог бы при необходимости запросто пролезть всем телом. Еще один в соломенной шляпе и застиранной рубашонке привалился плечом к тополю. И другие были одеты кто во что горазд. Выделялся среди них крупнолицый, конопатый, крутогрудый, явно татарского склада, рослый парняга-очкарик с усиками и папиросой в зубах. Он был в чесучовом костюме, словно районный чинуша, держался уверенно, независимо и глядел на всех с явным превосходством.

Гарри подошел к ним.

— Ребята, вы не знаете, где здесь записывают на РКО?

Все испытующе выставились на него.

— А ты кто такой будешь?! — спросил тонкогубый с дерзкими глазами. Было во всем его облике что-то петушиное, драчливое. Он не общался, а как бы наскакивал на собеседника, готовый в любой момент затевать перепалку или драчку.

Гарри объяснил.

— А почему в РКО? — наседал тонкогубый. — Казахский, что ли, знаешь?

— Аз-маз білеміз[1], — ответил Гарри.

— Во дает! — воскликнул очкарик в чесучовом костюме.

— А сам кто будешь? — залирался тонкогубый.

— Адам баласымын[2], — отрубил Гарри.

— Во дает! — пыхнул беломориной очкарик.

— Я про национальность спрашиваю! — раздраженно бросил тонкогубый. — Русский? Татарин?

— Шуршут! — съехидничал Гарри. — Среди шуршутов ведь вальтеров много.

Очкарик насмешливо крякнул. Остальные тотчас обступили Гарри.

— А -а... Ясно: немец! В нашем ауле они тоже все по-казахски шпрехают.

Познакомились. Тонкогубый и очкарик с усиками оказались из Павлодарской области — Шайдулла и Ерик. Коротыша с толстым, словно раскваченным, потным носом звали Казбек и был он родом из Актюбинска. Другие прибыли из Кустаная и Кокшетау. И все, как выяснилось, сдали документы на русско-казахское отделение литфака.

— Айда, отведу, куда надо, — сразу же помягчел Шайдулла.

Все пошли за ним гурьбой.

Сдав документы и получив направление в общагу, Гарри отправился к кастелянше и коменданту общежития. Шайдулла, Ерик, Казбек заботливо сопровождали его, помогли притащить постель, устроиться вместе в огромной, на восемь коек, комнате на первом этаже видавшего виды студенческого общежития.

Тотчас подружились. Обо всем переговорили. Сходили в кафе. За дружбу осушили по кружке пива. Договорились готовиться вместе и на экзаменах помогать друг другу.

Все охотно опекали Гарри. Как никогда, чувствовал он себя защищенным. Каждый день приносил новые радости. И все очаги культуры — парк, кинотеатр, библиотека, Оперный театр, ТЮЗ, институт — находились рядом, и Гарри забывал даже о своем недуге.

Наступила полоса сплошных везений. Вихрь приятных испытаний завертел-закружил.

---

[1] Малость знаем *(каз.)*.

[2] Я — дитя человеческое *(каз.)*.

Небольшой казус случился на экзамене по русскому устному.

Две молоденькие "русистки" довольно придирчиво гоняли Гарри по грамматике. Что-то в ответах его их смущало. Наконец, смуглая, с татарскими глазами экзаменаторша с недоумением спросила:

— Вы где учились?

И, услышав ответ, разочарованно выдохнула:

— Ах, в казахской школе? Да еще в ауле?! Как же вас угораздило?!

— А что такое? — робко поинтересовался Гарри.

— Да выговор у вас странный. Гортань прямо-таки казахская, то есть, артикуляционная база.

— И окаете жутко, — добавила вторая, белокурая.

Гарри слышал об этом впервые.

— Как это?

— Вы вслушайтесь в себя. "Корова", "дорога", — передразнили его татарские глаза, нарочито выпячивая "О". — Вы, наверное, о безударных гласных и не слышали?! Есть же орфоэпические нормы!

— Неужели и в школе потом собираетесь так "окать"? — подхватила и белокурая.

— Бог знает что такое!

Гарри обескураженно опустил голову.

— Но правила-то он знает! — заступился вовремя лысоватый рыхлый доцент литературы Ландау. — И по письменному у него "пять".

— Верно. "Пять" у него и по сочинению, и по диктанту.

— Ну, а "окает" потому, что волжанин, наверное. Горький ведь тоже "окал".

— Но, Ефим Иосифович, Горький и не собирался быть педагогом, — тотчас возразили татарские глаза.

— Ничего... — улыбнулся доцент Ландау, поблескивая очками. — За четыре года выучится "акать", как москвич.

— Странно... странно... — произнесла удрученно белокурая.

Ответом абитуриента по литературе Ландау оказался довольным, хотя обе "русистки" каждый раз округляли глаза, когда Гарри произносил: "Достоевский", "Гоголь", "Шолохов", "Толстой", округляя "о" и ударяя на последний слог.

— Надо же! Он довольно начитан, — заметил доцент Ландау. — Из Эренбурга что-нибудь читали?

— "Оттепель", — отозвался Гарри.

— Как?! Вы успели и "Оттепель" прочитать?

— Да. По-моему, очень свежее, необычное произведение.

Очки доцента литературы засверкали ярче.

— А "Новый мир" вам на глаза в ауле не попадался?

— Почему? Мария Петровна, учительница наша, выписывает "Новый мир". Меня просто поразила большая статья "Об искренности в литературе". Я даже законспектировал ее.

— Ну, вот! А вы говорите! — доцент Ландау укоризненно метнул взгляд на "руссисток". — И чем она вас поразила?

— Смелым, открытым и честным подходом к современной советской литературе, своим критическим, острым накалом, разоблачительным пафосом.

— Ну, знаете! — Ландау ликовал. "Руссистки" опустили глазки, и Гарри догадался, что шумную статью "Об искренности в литературе" экзаменаторши по русскому языку, конечно же, не читали.

Ландау задал еще несколько вопросов по литературе народов СССР, и Гарри окольным путем вышел на Джамбула и Ауэзова и даже прочел пару-другую отрывков на казахском. Доцент, довольный, снял очки и потер руки.

— Знаете... "пять" он определенно заслуживает. И даже с плюсом.

Но "руссистки" его мнения не разделяли.

— Все же, согласитесь, Ефим Иосифович, странная у него речь. Он даже виды глагола путает, — упрямо заморгали татарские глаза. — Я думаю, "хор." достаточно.

— И я так считаю, — тотчас согласилась белокурая.

— Зря, — вздохнул доцент Ландау и развел пухлыми ручками. — Произношение — дело наживное. Но против очаровательных дам — я пас.

Это была единственная "четверка" Гарри по всем вступительным экзаменам. И по набранным баллам он шел в группе вторым после Ерика. Сомнений в том, что он поступит в институт, не было.

Но он ошибся.

Потрясение ожидало его при заключительном заседании приемной комиссии в кабинете директора института.

Председательствовал сам директор — легендарный батыр Малик.

Все абитуриенты группы "Б", не потерявшие шансов на поступление, взволнованные и торжественные, столпились в холле. Двадцать пять человек, благополучно одолевшие все экзаменационные преграды, надеялись, что будут приняты, и теперь толпились в ожидании окончательного решения. Вариантов было три: принят со стипендией и с общежитием, принят со стипендией, но без места в общежитии, и принят с общежитием, но без стипендии. Гарри был уверен, что его примут и со стипендией и с местом в общежитии.

Вызывали в кабинет директора каждого абитуриента по одиночке. Собеседование длилось минут десять. Счастливчики выходили с криком "Ура!", и все их обнимали и поздравляли.

В первой тройке Гарри не оказалось.

Не попал он и в первую десятку.

Вот уже зачислили пятнадцатого счастливца, а Гарри все не вызывали.

Сердце его тревожно заколотилось. Тошнота подкатывала к горлу. Дурное предчувствие ударило в голову.

Прошел уже двадцатый. Зачисляли уже с одной "тройкой".

Что-то не то.

Гарри жался в углу ни живой, ни мертвый. Он ловил на себе тревожные и жалостливые взгляды. Неужели повторится карагандинская пакость?!

Вышел из кабинета уже двадцать четвертый удачник.

В глазах Гарри потемнело. Он уже ничего не соображал. Медлить было нельзя.

Энергично стуча костылями, он ворвался в кабинет директора. Увидел во главе длинного стола батыра Малика. По обе стороны стола восседала комиссия. Все уставились на него с изумлением. От обвалившейся тишины звенело в ушах.

— Товарищ Герой Советского Союза Малик Габдуллин! — срывающимся голосом начал Гарри, сильно опираясь на костыли, чтобы только не рухнуть прямо здесь на облезлый ковер. — Это что же получается?! У меня двадцать четыре

балла, одна лишь "четверка". Уже и с "тройками" принимает. А про меня забыли?! Бұл қалай, Мәке?[1] — Он перешел неожиданно для себя на казахский. — Бұл әділетсіздік қой![2]

Директор, моложавый, гладкий, весь холеный, ладный и видный из себя, вальяжный, в очках, густоволосый, опустил голову. Понурилась и вся комиссия. Видно, какой-то разговор об абитуриенте Гарри Вальтере уже был. Возможно, многих озадачила его беглая казахская речь.

— Жазығым не, Мәке[3]?! — голос Гарри дрожал. — Жазығым — неміс болғаным ба?![4] — И, выдержав паузу, сказал уже по-русски. — Но я ведь не из тех немцев, с которыми вы воевали!

Больше сказать было нечего, да он уже и не мог. Лишь бы устоять, не упасть при всех. За столом прошуршало замешательство. Все ждали, что скажет директор.

Малик молчал. Снял тяжелые роговые очки, долго протирал их платком.

— Ты, парень, на меня не наседай! Героем я был там, на поле брани, под Москвой, а здесь... — он потемнел лицом. — Не все от меня зависит... — директор опять помолчал, потом продолжил по-казахски. — Сдал ты хорошо. И вообще вижу: серьезный джигит. Но таково указание. Твоих соплеменников велено не принимать.

— Как же быть? — с трудом выдавил из себя Гарри.

— Мой совет: сходи в Министерство, объясни все. Может, войдут в твое положение.

Гарри круто повернулся. Хотел было сказать: "Тоже мне Герой!", но благоразумно удержался.

В Министерство образования отправились всей группой. Все были готовы постоять за Гарри и справедливость.

Замминистра, добродушный, с широким, открытым лицом казах, выслушал сбивчивую речь Гарри внимательно. Видно, подобные истории были ему знакомы. Он начал понемногу хмуриться и стало ясно, что сказать ему нечего.

— Айналайн, ты где кончил школу?

— В Северо-Казахстанской области.

---

[1] Как это понять, Мәке? *(каз.)*.
[2] Это же несправедливо!
[3] В чем моя вина, Мәке?
[4] Виноват в том, что немец?!

— Кызылтускую? Знаю, знаю... Образцовая, передовая школа. Так, так... А скажу тебе вот что. Ты особенно не расстраивайся. Времена меняются — изменятся и законы. Ничего вечного в этой жизни нет. Что поделаешь?... Несправедливость у нас еще не вся изжита. Послушай меня и возвращайся в аул, поработай еще годик-другой, куда спешить, жизнь у тебя впереди длинная. Все успеешь: и учиться, и жениться. — И, довольный собой, замминистра откинулся на спинку высокого кресла и заколыхался всем дородным телом. — А потом приедешь. Знания твои всегда с тобой. Институт не убежит, поверь...

Гарри даже растерялся.

— Но, агай... Я не проповеди пришел слушать, а решение по моему вопросу.

— Эй, да ты еще и строптивец, оказывается. Помнишь: однорогая корова пожаловалась богу, просила рога, а стала и вовсе комолой? Я же говорю: время изменится — законы переменятся. Тогда и приедешь. А в ауле, видишь, ты нужен. Солай, жігітім[1].

— Пошли! — у Ерика ощетинились усы, вскипела татарская кровь. —Съездим в ИНЯЗ. Может, там клюнет. Примут как немца.

Кинулись в институт иностранных языков. Толпа возмущенных ходатаев начала таять. Трудно бороться за справедливость, когда лично у тебя все благополучно.

— Что вы! — отмахнулся директор ИНЯЗа. — У меня своих девать некуда. Голова кругом. Куда сдавали, туда и поступайте.

— Я немец. — пролепетал Гарри. — И баллов у меня двадцать четыре. Может, на немецкий факультет возьмете...

— Ну и что? — пробасил директор ИНЯЗа с высоты своего могучего роста. — А я, положим, еврей. — И почему-то покраснел. — Что из этого? У нас все равны. К тому же казахи, например, учатся на немецком факультете успешнее, чем наши немцы.

— Попытаем счастья в КазГУ, — решительно заявил Ерик. — Вдруг на казахский филологический примут с твоими баллами.

---

[1] Вот так-то, джигит мой.

Бросились в Казахский университет. Пробились сквозь густую толпу неудачников к декану филологического факультета. Ряды сочувствующих редели. Борцов за справедливость осталась горстка.

— Немец, окончивший казахскую школу?! — переспросил декан с любопытством. — Очень интересно! Оригинально! Но где ты был раньше? Надо было к нам поступать, а не в какой-то КазПИ. Провалившись там, хочешь к нам пролезть, да, хитрец-бала?!

— Не провалился я. Совсем другое дело, — настаивал угрюмо Гарри.

— Брось, брось! Научился у казахов врать, — рассмеялся декан. — Не фантазируй, пожалуйста. Видишь, сколько таких, как ты, за дверью толпятся. И причина у всех весомей твоей.

Удрученные, вернулись в общежитие. Суббота была на исходе. Самым деятельным оставался Ерик.

— Пишем заявления. Немедленно! — чувствовалось, что он работал год секретарем-письмоводителем в районном суде: в деловых бумагах собаку съел. — Пишем в МВД, КГБ, в Президиум Верховного Совета. Под лежачий камень вода не течет.

Написали в две руки, не заявление получилось — крик души, кровоточащая рана, SOS.

— После таких слов даже у заскорузлых чиновников сердца дрогнут, — мрачно сказал Ерик. Боль Гарри он воспринял, как свою, — обревутся сволочи!

Помчались на почтамт. Все письма-жалобы отправили с уведомлением.

А вечером Ибрагим вдруг сказал:

— Знаешь, кто может тебе помочь? Шалов! Наш земляк. Коктерекский.

— А где он?

— В ЦК комсомола. Второй секретарь. Поехали к нему. Он и жезде твоего хорошо знает. Если он не поможет — считай, хана. Тогда уж действительно возвращайся в аул.

— Адрес знаешь?

— Бывал раз у него. Где-то в Тастаке. Тебе же нужно старшему салем отдать. Вот зараз и дело свое выложишь.

— Поехали!

Среди кривых, тенистых улочек на окраине города с трудом отыскали старый особнячок знаменитого земляка. Анатолий Федорович Шалов, русский из соседнего аула Кок-терек, окончил казахскую семилетку в Кызыл-ту еще до войны. Говорил бегло по-казахски, чем нередко ставил впросак казахов, принимавших его за орыса, не знающего ни бельмеса. Вернувшись с фронта, молодой, бравый офицер быстро пошел в гору. Работал в райкоме, обкоме, перевелся в столицу, а с недавних пор стал вторым секретарем ЦК комсомола Казахстана. Гарри знал его отца, братьев, мать, видел пару раз и его самого — рослого, видного, добродушного, уверенного детину с проницательным взглядом.

— Не забудь ввернуть, что ты комсомолец, отличник учебы, год преподавал в школе, — все втолковывал Ибрагим по пути в раздрызганном трамвае.

А Гарри все взвешивал слова, которые он ему, Шалову, скажет и никак не мог решить, на каком языке предпочтительней говорить со знаменитым земляком — по-русски или по-казахски.

— По-казахски говори, — посоветовал Ибрагим. — Ему будет приятно, да и тебе проще.

Ждали долго. Секретарь ЦК комсомола подкатил на машине в сумерках. Был он озабочен, но встретил приветливо. На степной манер подробно расспросил об ауле, вспомнил аксакалов, внимательно выслушал грустный рассказ Гарри. Нахмурился, задумался, посмотрел в окно, пальцами побарабанил по столу.

— Да, несправедливо... непорядок... — сказал, наконец, задумчиво. — Подумаем... Ты вот что, дорогой. Завтра воскресенье. Я спешу с семьей на дачу. А в понедельник к девяти часам приди прямо ко мне в ЦК. Я предупрежу, тебя пропустят. Покажешь комсомольский билет дежурному у входа. Вот тогда-то что-нибудь и решим. Келістік пе?[1]

Всем своим внушительным видом и доброй улыбкой Шалов вызывал доверие.

Все воскресенье Гарри томился один в парке. Ему хотелось побыть одному. Он опять выпал с телеги. Отстал от поезда. Другие стали студентами, получили направление в

---

[1] Договорились? *(каз.)*

общежитие, распределялись по комнатам, обустраивались, настраивались на четырехлетнюю учебу, праздновали удачу. Один он, Гарри, остался, как всегда, у разбитого корыта. Небольшая передышка кончилась тем же образом. Зачем ему портить людям настроение своим скорбным видом? Кому какое дело до его бесконечных невезений? Не человек он вовсе — двадцать два несчастья. Он слонялся по парку, глядел вокруг невидящими глазами, подолгу сидел на скамейке, думал свои постылые думы. Прохожие косились на него подозрительно. Да... все надежды на Шалова, конечно, а настраиваться, видно, нужно на худшее. Директор института и Министерство образования, ясно, его не выручат. Ясно, что и письма, отправленные в прокурору, в МВД, КГБ, в Верховный Совет, также больше для успокоения души. Сколько он их писал, писем и жалоб, заявлений и прошений. Месяцами молчат государственные мужи, а потом, случается, пришлют отписку, от которой ни холодно, ни жарко. Худшее — еще не самое страшное. Вернется в аул, пойдет в школу, устроится библиотекарем или лаборантом. Может, заочно подастся в Кызылжарский пединститут, будет дважды в год выезжать на сессию, вымучает со временем диплом, будет, как стреноженная лошадка, пастись одиноко на отшибе. Вот и все. Вот и все. В конце концов и так жить можно...

День длился бесконечно. Казалось, до понедельника не дожить. Он расспросил, где находится ЦК комсомола, рассчитал, за сколько времени он доковыляет до него от общежития, решив про себя, что придет наверняка на час раньше.

Время остановилось. Впереди была еще длинная-длинная ночь. Ни есть, ни пить он не мог. И друзья, новоиспеченные студенты, как ни старались, не могли развеять его тягостные, изнуряющие думы.

Шалов был точен. В девять утра он вальяжно восседал за огромным столом с приставкой с двумя рядами телефонов. Множество телефонов почему-то больше всего и поразили в первое мгновение Гарри. Зачем одному человеку столько аппаратов и как он только в них не путается? А вдруг они зазвонят —затренькают все вместе — как быть?... Бледного, худущего, длинноносого земляка Шалов принял радушно, усадил на диван, сам грузно опустился рядом, по-

просил изложить все подробно. Телефоны на приставке к столу дребезжали на все лады беспрерывно. Шалов их не слышал.

— Ясно, дорогой, — сказал он, наконец.

Встал, припадая на одну ногу, подошел к своему необъятному столу, заваленному и заставленному всякими бумагами и канцелярскими причандалами, покрутил диск одного из телефонов.

— Эй, Адеке, ассалаумагалейкум! Да, да, это я, Анатолий. У меня находится один молодой человек. Гарри Вальтер. Родственник моего земляка, фельдшера, заслуженного человека. Ия, ия, немыс... — Разговор шел на казахском. — Понимаешь, второй раз поступает в институт. Сдал все отлично, а не принимают. Да, да... именно по этой причине. Отличник учебы, комсомолец, общественник, год учительствовал... Нет, нет, Малик не при чем. Не в его компетенции. Он выполняет инструкцию и все. А мы с вами, Адеке, можем и должны. Понимаешь? Помоги! Дай распоряжение... Ия, ия... ссылайся на меня. Кое с кем я уже переговорил. Нет, большого нарушения не будет... Хорошо. Жаксы!.. Я пришлю его к тебе. Сау бол![1]

Гарри покрылся испариной, пока Шалов говорил по телефону. Отлегло. Нестерпимо начали пылать уши. И мелко-мелко дрожали пальцы.

— Значит, так... Отправься прямо сейчас в Министерство к Айманову. Будут сложности — сообщи. Давай! И Давиду Павловичу от меня привет!

И Шалов положил тяжелую ладонь на тощее плечо Гарри.

По пути в Министерство образования Гарри завернул в деканат и взял у сердечно расположенной к нему секретарши, пухлой, общительной Бунцельман, выписку из экзаменационной ведомости, заверенную печатью. Сопровождал его на этот раз один Шайдулла, как всегда, готовый полезть в драку, но не знавший, с кем, как, когда и по какому поводу схлестнуться во имя справедливости. Он сознавал, что ему, вчерашнему абитуриенту, полусироте без опоры и поддержки, затевать свару с крупным начальником из Министерства чревато неприятностями.

[1] Будь здоров *(каз.)*.

— А-а... это ты?! — досадливо поморщился замминистра, уставив на тщедушного посетителя совиные глаза. — Какой ты, однако, прыткий!..

— Когда нужда за глотку хватает, поневоле становишься прытким, агай, — сказал по-казахски ранний посетитель.

Замминистра с утра был явно не в духе. Глаза его были воспалены, а заметно обнажившийся лоб изрезали глубокие продольные морщины.

— Вообще-то, — пробурчал он по-русски, — у меня сегодня неприемный день. Коллегия. Но раз Анеке попросил...

Гарри догадался: "Анеке" — это Анатолий Федорович, а "попросил" сказано для красного словца, для пущей важности. Что там говорить, секретарь ЦК, пусть и комсомола, — сила, с которой необходимо считаться.

— Значит, бала, — все так же хмурясь, цедил замминистра, — к совету моему не прислушался. Пошел по инстанциям. Хочешь доказать свою правоту.

— Хочу, — сказал Гарри.

Он после встречи с Шаловым испытал какое-то дерзкое упрямство и убежденность, что "дальше аула не сошлют", а потому хватит дрожать.

— Ия, ия... Каждый непременно что-то хочет... Слушай... — замминистра распахнул глаза. Зрачки его быстро-быстро, точно мышонок у норы, забегали-завертелись. Скользкая ухмылка блуждала-змеилась на губах. — А, может, ты и не сдал вовсе экзамены на отлично? Может, и нет у тебя этих баллов? Может, ты это... нас за нос водишь, сочиняешь, а?!

Сердце Гарри заколотилось-затрепетало у самого горла. Он понял, куда клонил замминистра. И даже предчувствовал, что так будет.

— Как это?

— Ну... — замминистра слегка смутился. — Бывает... Малость преувеличиваешь, может. Проверим сначала, так ли это?

— Что хотите проверять? — с трудом произнес Гарри.

— Ну, оценки твои. Может, что-то не так.

— Вот! — Гарри медленно вынул из кармана справку из деканата и, торжествуя, положил ее перед замминистра. — Вот!

— Что это? — ощетинился замминистра.

— Справка о моих отметках... С печатью. Проверять уже не надо.

Замминистра развернул бумажку, пробежал глазами. Зрачки его снова бешено завертелись, забегали. Уголки губ брезгливо опустились.

— Ишь ты какой... предусмотрительный.

— Научен горьким опытом. В Караганде в прошлом году уже проверяли. Знаю, как это делается.

Сердце, казалось, выскочит из глотки. Гарри хватал воздух, уши запылали.

— Верно: получается двадцать четыре балла, — обескураженно подтвердил замминистра.

— Немец не врет, — вырвалось у Гарри.

— Что-о? По-твоему, казах врет? — сразу всполошился замминистра.

— Я этого не сказал.

— Ладно... Возьми свою справку. Раз Анеке за тебя просит... Позвоню директору. Думаю, решат твое дело! Или!

— Когда позвоните и куда мне идти?

Замминистра смерил наглеца тяжелым взглядом. Лицо его побагровело. Зрачки остановились, сузились. Гарри, наваливаясь на костыли, вышел.

— Ладно, Шайдулла, будь что будет! Завернем-ка в буфет, — унимая дрожь и слабость в теле, сказал он. — Возьмем пару пирожков и разопьем бутылку лимонада.

— Правильно, — согласился Шайдулла, истомленный долгим ожиданием.

Не стали искушать судьбу. Решили зайти в институт после обеда.

Гарри знал: власти не спешат решать дела. Да и правы немцы: божьи мельницы мелят медленно.

Едва вытерпев до обеда, Гарри отправился в институт.

Пухлая, пышноволосая, живоглазая Бунцельман, сердобольная секретарша деканата, увидев его в коридоре, радостно бросилась навстречу.

—Гарри, Гарри! Все улалилось. Все решилось! Вы зачислены! Только что пришел приказ. Поздравляю!

Гарри прислонился к стенке. Внутри его будто что-то лопнуло. Кровь схлынула с лица.

В ту ночь впервые за последние годы он спал, разжав кулаки.

X

Она пришла зыбкой тихой ночью, и это было так неожиданно...

Луна рано всплыла над горами, и зыбкий ее свет в непривычно огромной и пустой комнате навевал тревогу. Казалось, некое мифическое существо неслышно шарило по давно небеленным серым стенам в поисках обреченной жертвы.

Общежитие опустело. На рассвете старый, застоявшийся на запасном пути состав "пятьсот веселый" вывез шумную орду студентов в Пахта-Арал на уборку хлопка.

— Не тужи, Гарри! — визжали сокурсницы. — Мы будем тебе писать.

"Спать, спать, спать", — бормотал про себя Гарри, вернувшись в гулкое от пустоты общежитие. Восемь кроватей, застеленные бесцветными суконными одеялами, под которыми наверняка спало не одно поколение славных выпускников КазПИ, молча взирали на него. Целое состояние! Не было ни гроша, да вдруг алтын. Спи и наслаждайся тишиной и одиночеством. Благодать! Он проспал урывками почти весь день и вечером опять уляжется чуть ли не с заходом солнца. И сквозь дрему чувствовал смутное томление, ожидание чего-то неведомого. Не очень-то уютно почудилось в пустынной комнате. Семь пустых железных коек вдоль голых стен смутно темнели в сумерках, точно бездыханные батыры на поле брани. Гарри зябко передернулся.

Мягкие шаги оборвались у двери. Кто-то постоял, прислушался, слегка оттянул расшатанную дверь, просунул в щель гребень, рывком откинул крючок. Гарри замер.

— Ибрагим, ты?

— Тише!.. Это я, — послышался шепот.

Гарри обомлел, даже невольно присел в постели.

Багира плотнее притянула за собою дверь, накинула крючок и, крадучись, подошла к койке.

— Испугался? — засмеялась тихо. — Не ждал?

— Если честно — не-ет... — Он судорожно сглотнул. — Я думал, ты уехала.

— Завтра. Второкурсников отправляют отдельно.

Он отодвинулся к стенке, распахнул одеяло.

— Присядь... ближе ко мне. Как я рад!

— Правда? — спросила Багира с обычной хрипотцой и легкой насмешкой.

— Оллахи-беллахи!

Она опять рассмеялась дребезгливо, будто ласковый ветерок прошелестел в листве, ловко уселась, привалившись к нему горячей спиной, привычно поправила полы халатика на оголившихся смуглых коленках. Смуглость ее проступала даже при неверном лунном свете.

Ночь нависла над городом. Уже не громыхал трамвай по соседней улице. И в парке панфиловцев угомонились последние гуляки. Звонче зажурчали арыки. С гор тянуло прохладой и зрелым апортом. Луна, зависнув над гребнем гор, струила томный, будоражащий свет в окна.

Он обнял ее, притянул к себе, она не сопротивлялась, только раз испытующе метнула в него быстрый, жаркий взгляд.

Чтобы развеять ее тревогу, он посчитал нужным что-то — пусть и невпопад — сказать.

— Какая ты, однако!

— Какая? — живо заинтересовалась она.

— Ну, смелая, отчаянная. Пришла — и все!

— Не все ж такие трусливые зайчишки.

— Как я, хочешь сказать?

Вместо ответа она порывисто обняла его голову, прильнула к своей груди. Он задохнулся от счастья, от радости, от знакомого запаха ее волос и тела. Поразительно: уже более года она жила в этом большом городе, пропитанном духом горной, снежной воды в журчащих арыках и стойким ароматом яблок, а аульный запах степного ветра и солнца, полыни, дыма, простокваши и чего-то еще неведомого, неуловимого так и не выветрился.

Уткнувшись в ее упруго-податливую грудь, выпиравшую из-под распустившегося легкого халатика, он пробормотал:

— Представляешь, если бы я, стуча костылями, направился бы ночью к тебе... Вот был бы переполох! Тоже мне Ромео!..

Она еще сильнее обняла его, погладила по волосам, плечу, спине. Он замер. Сердце колотилось, таяло в огне, как масло.

— А что ты меня все эти месяцы избегал?

— Как?

— Проходишь мимо, будто знать не знаешь. Ни разу не остановил, не поговорил, даже не улыбнулся.

— Не может быть!.. Это ты, меня завидев, голову опускаешь и прошмыгиваешь мимо. Подумал: стесняешься.

— Глупенький! Я же всем девчонкам уши про тебя прожужала, а ты.

— Что я?

— Видно, татарочки из вашей группы голову тебе задурили.

— Какие еще татарочки?

— У вас их много. И все смазливенькие.

— Не выдумывай.

Рука его помимо воли шарила-шастала по ее упругому, налитому телу, проникала под халатик, шелковую комбинашку, скользила по гладкой, точно полированной, нежной коже. Каждый раз, когда его пальцы невзначай дотрагивались до напрягшегося, вспухавшего, твердого соска, в нем натягивалась внутри тугая струна, и ему казалось, что она от непостижимой сладостной дрожи вот-вот лопнет. Он думал: молчать неприлично, неуместно, нужно что-то говорить, чем-то отвлекать смущающуюся ночную гостью, однако он не знал, что подобает в таких случаях говорить и как поступать. В груди его пылало, дыхание прерывалось, а к животу и ногам то и дело подкатывал озноб. От близости податливого горячего девичьего тела кружилась голова и немел язык.

— Ух, ты!... Прямо как...

— Как что?

— Как колотушка.

— Ту-у-у, — фыркнула она раздосадованно. — Нашел тоже сравнение.

— При чем я? Это народное, традиционное, казахское сравнение. Так говорят о молодке здоровой, крепкой, сочной, туготелой, как ты. Вот я и восторгаюсь.

— Помолчи... — низкий, с хрипотцой голос ее сводил с ума. — Полежи просто так, тихо. И не дрожи.

— Я разве дрожу?

— Дрожишь... — сказала она с укором. — И руками шаришь, где... где не надо.

Он оробел, старался унять дрожь в теле, наладить дыхание, носом зарылся в ложбинку между двух крутых трепетных холмиков. Ему хотелось понять, как она решилась на такое. Почему она надумала навестить его ночью, перед отъездом в Пахта-Арал? Пришла проститься? Или восстановить прежние отношения? Или?.. Как бы ни было, ее внезапным ночным визитом в полупустом общежитии он был восхищен. Не всякая аульная девчонка осмелится на такой шаг. В стенах общежития столько глаз и ушей. А "тропинка девушки узка и терниста", — говорят казахи.

Верно: в последнее время он все реже вспоминал о ней. А виделись и того реже, хоть и учились на одном факультете. Встречал он ее изредка в толпе второкурсников казахского отделения, иногда в столовой или в институтской читалке опять-таки в неизменном окружении почему-то вечно настороженных, подозрительных, недобро косящихся на шумных, раскованных первокурсников русского отделения подруг. Так уж получалось, что на отделение казахского языка и литературы поступали главным образом выпускники аульных школ, а на русском отделении преобладали городские ребята и девушки, и между ними не было особых контактов. Гарри не осмеливался подходить к Багире, чего-то стеснялся, а то казалось, что она избегает его. За год разлуки она заметно изменилась: немного осунулась, постройнела, обозначилась станом, косы укладывала затейливым кругом на голове, подражая известной певице, народной артистке, выгибала спину, походка стала еще энергичней, стремительней, смеялась дребезгливо, уголки губ и ноздри вздрагивали-трепетали нервно, в больших глазах появились задумчивость и загадочность, груди броско бутрились и тоже вздрагивали при ходьбе, невольно притягивая взор. Казалось, она старательно выдавливала, вытравливала из себя все аульные черты и манеры и подражала именитым городским казашкам. Гарри почему-то это раздражало. Он грезил другой Багирой.

До него доходили скользкие слухи. Поговаривали, будто у Багиры появился воздыхатель, удачливый поэт-уйгур из выпускного курса. Поэт был бравый парень. Вообще-то

и не парень уже, а, скорее, в летах для студента. Он ходил в дорогом костюме, в вышитой тюбетейке, при галстуке, с пухлым портфелем. Отрешенно озирался вокруг, что-то вечно бормотал. Поговаривали, что поэт-уйгур с русской фамилией недавно издал книгу стихов, получил сказочный гонорар, сорил деньгами, пропадал в ресторанах, даже на лекции заявлялся иногда в изрядном подпитии. Девушкам, видно, он нравился. Шутка ли, студент, а уже член Союза писателей и о нем пишут в газетах. Перед ним и преподаватели робели. И вообще он был ухарем, вольно и уверенно обращался с "черноглазыми карындасами-сестрицами", ловко морочил им головы, не одну, по слухам, валял во время уборки хлопка или табака. Сказывали, будто и к Багире подкатывался в пору полевых работ. Однажды Гарри осторожными намеками пытался было выведать кое-что у всезнайки Ибрагима, но тот сходу состроил кислую гримасу и замахал руками. И-и-и-и... брось этих вертихвосток! И даже не говори о них. Это они в ауле такие скромняги и тихони. А здесь, в городе, сразу же про всякий стыд и приличия забывают. Еще на первом курсе как-то блюдят себя. А потом будто с цепи срываются. И глазами посверкивают, и курдюками поигрывают, и груди напоказ выставляют, губы малюют, брови выщипывают. Тьфу! Ни одной из них верить нельзя.

Ибрагим уже более года околачивался в городе, в институт так и не попал, даже в физкультурный, где обретали пристанище все неудачники, но возвращаться в аул не стал, каким-то образом приблудился к киношникам, снимался в массовках, пропадал на съемках в живописных местах, рассказывал всякие были-небылицы про именитых артистов и артисток. "И-и-и, — цвиркал он слюной между зубами, — насмотрелся я на этих актрисочек. Такое повидал, что ни к одной красотке, даже если лепешку маслом намажешь, не подступлю. Ойбай, брось их! И ни о ком не расспрашивай. Я ведь никого за ноги не держу. И их срамное место ладонью не прикрываю. А верить — не верю".

Своими слюнявыми суждениями о племени длинноволосых и долгополых Ибрагим не только не развеял сомнения о Багире, а даже как бы усугубил их. И Гарри сник, избегал думать об этом. В самом деле, на что он рассчитыва-

ет? Зачем он нужен Багире? Перед уйгуром-поэтом, признаться, он проигрывает по всем статьям. Значит, разумнее скорее стряхнуть с себя все романтические грезы. Аульная девчонка, полусирота, естественно, должна подумывать о серьезном, а не валандаться с вечно озабоченным неудачником чужого рода-племени, да еще и курсом ниже. Все верно... знай, сверчок, свой шесток.

Сейчас, лаская так доверчиво прильнувшую к нему туготелую Багиру, он вспыхнул от счастливой догадки: должно быть, брехня все, досужие выдумки. Мало ли кто что треплет? За любой девушкой всегда тянется хвост диковинных сплетен. Так уж, видно, завелось исстари...

Луна сползла с горной гряды, скатилась куда-то вбок, и тусклый свет ее теперь струился в окно косо, освещая лишь часть стены, но Гарри в сутемени ясно различал полные соблазнов очертания девичьего тела, все уверенней шарил рукой по нему, незаметно, вскользь трепетно касаясь его заветных бугристо-мягких мест и испытывая радостную дрожь и неизведанный доселе восторг. Он расплел ее косу, раскинул пышные, жесткие, как конская грива, волосы по подушке, уговорил ее скинуть ненужный сейчас халатик, и она оставалась лежать в легкой, измятой сорочке. Рука его становилась все нетерпеливей, все норовила куда-то вниз, мимолетно скользила по крутому горячему бедру, по гладкому, запавшему животу, ненароком, испуганно касалась чего-то затаенного, и Багира вздрагивала, замирала, судорожно хватала его за жадную, бесстыжую руку и сипло шептала, облизывая губы: "Не надо, Гарри". Но он услышал неуверенность в ее голосе и через паузу снова давал волю настойчивой руке. Проказливая память подсказала произнесенные однажды слова Ибрагима: "Если девушка говорит: "Не надо", это значит: "Надо". Помнится, ребята тогда заготовали: выходит, если девушка говорит: "Нельзя", это следует воспринимать как "можно"? Ну, конечно, убеждал Ибрагим с видом знатока, у них ведь всегда все наоборот.

Он постепенно осмелел. Впивался губами в набрякшие соски, заскользил руками по бедрам, по животу, гладкому, как шелк, приваливался к ней все тесней, грузней. Он видел, как моментами она точно бледнела лицом, ослабевала, скулы обострялись, зрачки будто расплывались, ноздри раз-

лувались, и дыхание ее становилось все прерывистее и горячей. Ободренный ее покорностью, податливостью, жарким вздохом, он осторожно пытался коленом разжать ее плотно сдвинутые ноги, но тут она точно опомнилась, подобралась вся и шепнула ему на ухо.

— Убери это... Прошу тебя...

Кровь хлынула ему в голову. Он почувствовал, как в темноте запылали его уши, он понял, что она имела в виду, однако дурашливо, тоже шепотом сказал:

— Что "это"?

Так и подмывало узнать, что она скажет, как выкрутится.

— Палец свой.. одиннадцатый, — и шельмовато-игриво засмеялась, будто сама удивилась своему сравнению.

— Какой одиннадцатый палец?! — поразился и он.

Он посчитал, что своим смешком и жарким шепотом она как бы подстегивала, одобряла его решимость, и тотчас повторил свое намерение, уже всецело отдаваясь темному и неодолимому инстинкту, искушению, но она очень просто погасила его прыть.

— Ну, Гарри... Қайсаңшы... ұят болады, — сказала строго. — Стыдно же будет!

Он мигом отрезвел.

— Кому?

— И мне, и тебе. Ұят болады, Гарри... Поверь...

— Откуда знаешь? — спросил он с досадой.

— Знаю. Не надо. Полежи просто так. Прошу тебя.

— Н-но...

— Говорю же: не надо. Зачем тебе? Успокойся, Гарриым-ау!

И она порывисто обняла его, прижала к себе его голову, быстро-быстро расцеловала, точно сглаживая обиду и успокаивая его. И он послушно приник к ней, смирился, успокоился, не в силах, однако, унять мелкую дрожь.

Кто-то толкнулся в дверь, шебаршил за порогом, подергал за ручку. Потом что-то промычал, икнул, потоптался с ноги на ногу, привалился к косяку, бурно сопя. "Алла-ай! — всполошилась Багира. — Вот позор-то!" Она рывком присела, обернулась в простыню, словно в тогу. Он приложил палец к губам, тоже затаил дыхание. "Вот ссссо-бббаки-и! — послышалось пьяное бормотание Ибрагима. — Ссспят...

Ллал-лноо... н-не бббу-бу-буду мешать...” Неровные шаги удалились. Через некоторое время скрипнула дверь на нижнем этаже. Багира перевела дыхание, тихо прилегла.

— Ну и напугал!

— Успокойся... Это Ибрагим-полуночник. С попойки заблудился.

Оба молчали, прислушиваясь к ночным шорохам. Сноп лунного света освещал лишь краешек потолка. И тут Гарри спохватился, догадавшись, что сентябрьская ночь на исходе, скоро рассвет, и Багира так же неожиданно, как и пришла, уйдет, исчезнет. Помрачнев, он принялся ее грубо тискать и неожиданно для самого себя решительно задрал ее сорочку, навалился на нее всей тяжестью. Тело млело от щемящей муки и неодолимого темного желания. Оно томило неизбежностью. Восторг и страх перехватывали дыхание. Она на мгновение растерялась от такого натиска, но тотчас крепко спеленала ноги, напрягла живот, напружинилась.

— Гарри-ым-ау, — выдохнула сдавленно. — Ну, сколько я могу тебе говорить? Н-не надо! Я обижусь и уйду.

— Не уходи, Багиша...

Она прильнула к нему, обжигая твердыми, распалившимися грудями, выпроставшимися из тесной сорочки.

— Не сейчас, не сейчас...

— А когда? — также шепотом спросил он.

— Потом... потом... А, может, никогда.

“Пойми ее!” — подумал он в сердцах и обиженно отпрянул к стенке.

Он презирал себя и досадовал на нее. Намеревался было побольнее уколоть ее, спросить, зачем же тогда пришла, но сдержался. Не хотелось даже говорить. Какой же он глупый и беспомощный!

Потом... потом он даже не заметил, когда и как случилось то, что его очень испугало, обескуражило и смутило. Она тоже замерла, обмякла, затихла и, успокаивая его, нежно, точно ребенка, погладила по волосам. Но ему от этой нежности ее и ласк стало и вовсе не по себе. И, обессиленный, провалился вдруг в сон. Когда очнулся, Багира сидела, сгорбившись, согнувшись, на краю кровати и что-то поправляла на себе. Он с удивлением уставился на нее.

— Я ухожу, — прошептала она, и он не узнал ее голоса.

— Что?

— Ухожу, говорю. Поздно уже... Вернее, рано. Светает.

— Ну и что?

Она накинула на себя халатик, запахнула его на груди, застегнулась.

— Все, Гарри... Ухожу. Тихо, тихо... Не вставай.

Голос ее был чужой, жесткий. Он уловил в нем досаду, разочарование, обиду. Сознание подсказывало, что надо бы сказать сейчас что-то очень важное, чистое, весомое, утешительное, но он растерял все слова.

Она еще раз склонилась над ним и посмотрела долгим, странным взглядом. Что-то новое, незнакомое, отчужденное увидел он в ее глазах, что-то похожее на сочувствие, милосердие и жалость, отчего у него сжалось сердце и оборвалось что-то внутри.

— Прощай, — сказала она все тем же чужим, сострадательным голосом, и глаза ее повлажнели.

Она резко отвернулась и, закинув привычным движением распущенные волосы за спину, мягко направилась к двери.

"Постой!" — хотел он ей сказать, но промолчал.

Она тихо приоткрыла дверь, высунула голову, оглянулась вкрадчиво и решительно выскользнула в коридор. Он вслушивался в ее удаляющиеся шаги...

Все, все, все... застучало, залихорадило в голове Гарри.

Прощай, прощай, прощай... Навсегда, навсегда.

"Она ушла, ушла..." — твердил он про себя, холодея всем существом. Ушла, истаяла, растворилась, как утренний туман над Ишимом, как смутное, вечное влечение к чему-то несуществующему и невозможному.

XI

На сводную лекцию по педагогике в актовом зале института собирались однокурсники со всех факультетов. Обзорные, наиболее ответственные лекции читала, не доверяя менее именитым и искушенным преподавателям, сама профессор Гольдберг — маленькая, седенькая, высохшая старушка в больших роговых очках на мощном, высокомерном носу. Читала нудно и тягомотно, навевая на "зеленых" сту-

дентов зеленую тоску. Старые, избитые, как обмусоленный комочек курта во рту беззубого старца, истины она обыкновенно преподносила с таким многозначительным видом, так интонировала своим гнусавым, басовитым голосом словапустышки и при этом так спесиво задирала птичью головку, что, казалось, одаривала, облагодетельствовала аудиторию неким сногсшибательным открытием. На лекции она приходила всегда в окружении откровенно и всячески льстивших ей аспирантов (некоторые приходили даже с букетами цветов, которые преподносили лектору после лекции), явно угодничавших преподавателей руководимой ей кафедры, торжественно всходила на трибуну, из-за которой из зала виднелись только ее крючковатый нос и роговые очки, и, разложив перед собой кипу книг, журналов, старых общих тетрадей со скрученными по краям, как бы кудрявившимися разноцветными закладками, надменно оглядев разношерстную, на мгновение затихавшую ораву потенциальных педагогов, начинала вещать.

— Все, что сделано человечеством НА земле...

Тут профессор педагогики, заслуженный деятель, доктор наук делала длинную паузу, строгим взглядом осматривала зал, потом медленно поворачивалась к подобострастно изготовившимся записывать каждое ее слово аспирантам и преподавателям кафедры и продолжала, чуть повысив голос:

— Все, что сделано человечеством ПОД землей...

И опять возникала пауза. Аспиранты лихорадочно скрипели перьями. Студенты зарывались носами в конспекты. Все застывали в ожидании мудрой истины, которая рождалась прямо на глазах у всех. Тщедушная старушка с орлиным носом привставала на цыпочках, вся подавалась вперед, вскинув в пространство ручки, очки ее победно поблескивали, и голос наливался силой вдохновения.

— Все, что сделано человечеством НАД землей...

И вновь последовала долгая, мучительная пауза. Аудитория застывала, точно загипнотизированная. Господи, что сейчас изречет эта мудрая старушка? Что же последует за этой так эффектно, так завораживающе троекратно брошенной в зал интригующим посылом необыкновенной словесной конструкции? Как бы только не потерять нить вдохновенной импровизации почтенного профессора. Ведь то,

что сейчас выдаст эта прославленная в педагогическом кругу ученая старушка, наверняка не вычитаешь ни у какого Песталоцци, Ушинского, Крупской, Корчака или даже Алтынсарина. Куда уж им?! Недаром аспиранты затаили дыхание. Неспроста преподаватели кафедры, еще не остепенившиеся, лишь мечтающие о звании доцента, ожидающе открыли рты.

— ... сделано трудом! — как бы выдохнула, бросила в зал, завершила наконец непостижимо глубокую мысль профессор педагогики и, довольная произведенным эффектом, горделиво вскинула голову и чуть откинулась, словно в ожидании бурных аплодисментов.

Но аплодисментов не последовало. Ликовали только аспиранты и преподаватели, благоговейно ловившие каждое слово профессора Гольдберг, а в зале прокатился вроде как легкий ропот досады. Видно, студенты настраивались на нечто другое. Но профессор педагогики была великодушна и снисходительна. Она умела прощать незрелую, неискушенную в педагогических премудростях молодежь.

Ровным, убежденным голосом она продолжала:

— Советская педагогика, основанная на марксистско-ленинской методологии познания реальности, вдохновленная величественной программой созидания, я бы сказала, со-тво-ре-ни-я новой личности грядущего общества...

Сводные лекции располагали к относительной свободе. В просторном актовом зале, где собиралось до двухсот первокурсников с разных факультетов, были все возможности для заведения новых знакомств, для обмена информацией, для вольных занятий — чтения детективов, переписывания пропущенных лекций, писания писем, тихих бесед, разыгрывания шахматных партий под столом, решения кроссвордов, глазения в потолок.

Уже минут через двадцать профессор Гольдберг убеждалась, что студентам совсем недосуг внимать ее пресным и постным, как сама советская педагогика, истинам, и она, продолжая размеренно плести словеса, спускалась с трибуны в зал, медленно прохаживалась по рядам и вдруг, ловко извернувшись, настигала давно намеченную жертву — зачитывавшуюся невзначай и потерявшую бдительность девицу, цепко хватала ее за руку, с треском, шумом вырывала книгу и гневно вопрошала:

— Вам, милочка, вижу неинтересно то, что я говорю?! Романы изволите читать?! Как фамилия? С какого факультета? Вон из аудитории!

И, дождавшись, пока виновница, опустив голову, покинет под насмешливыми, сочувствующими, злорадствующими, любопытствующими взглядами зал, также степенно направлялась к кафедре, чтобы обрушить на ненадолго растерянные головы бедолаг десяток-другой мудрых сентенций из трудов корифеев педагогической мысли.

На сводных лекциях по педагогике и основе марксизма-ленинизма Гарри по обыкновению садился рядом с долговязым Арвидом Лютцем с физмата. В этом году впервые в истории института пятеро отечественных немцев сподобились стать студентами: двое на физмате и трое — на литфаке. Конечно же, вскоре они перезнакомились, однако особенно близких и тесных общений явно избегали, инстинктивно чувствуя, должно быть, что собираться им вместе не очень целесообразно, дабы не приковать к себе внимания особенно бдительных товарищей. А что таковых и среди их сверстников всегда немало, каждый из этой пятерки отлично знал. Гарри сразу обратил внимание на то, что его соплеменники держались замкнуто и осторожно. Даже в общежитии, в библиотеке, в столовой они как бы подчеркивали сдержанность и настороженность отношений друг к другу. Гарри это удивляло. Выросший в казахской среде, обретший раскованные и доверительно-простецкие манеры аулчан, он был более открыт, общителен, тянулся к землякам, а они — к нему. А пятеро единокровных счастливчиков, везунчиков, одолевших все преграды и попавших впервые из числа соплеменников в институт, держались друг от друга на расстоянии, и Гарри смекнул, что такое поведение не что иное, как своеобразная форма защиты от всевозможных пакостей. Высокая, молчаливая, черноокая смуглянка Эльза Шмидт вообще держалась особняком и, сталкиваясь с Гарри, едва здоровалась и опускала глаза. Казалось, она была перепугана на всю жизнь, что не мешало ей учиться с исключительным упорством и прилежанием. Ваня Миллер, мягкий, стеснительный, белокурый, с девическими чертами лица, лишь улыбался издали и, казалось, везде и всюду прикидывался этаким неуклюжим несмышленышем. Всем своим видом он

как бы постоянно извинялся за то, что он есть, что поневоле мозолит кому-то глаза. Угрюмый Фрик оживлялся только на репетициях в духовом оркестре. Он дружил лишь с математическими формулами и с кларнетом. А вот с долговязым, живоглазым, слегка косноязычным Арвидом Гарри сблизился легко. Знакомство началось с того, что однажды, случайно или по внутренней взаимной тяге, они оказались рядком и стали во время очередной занудливой лекции о трех источниках марксизма обмениваться записками, состязаясь в знании латинских изречений. Гарри когда-то затвердил их десяток и, случалось, щеголял ими. И тут выяснилось, что Арвид знает их уйму. Он сходу, без напряга, исписал целую страничку в блокноте Гарри латинскими фразами: "Pereat mundus, fiat Justitia", "Per Fas et Nefas", "Periculum in mora", "Mens sana in corpore sano", "Littera scripta manet", "Habent sua Fata Libelli", "Homo homini Lupus est"[1].

— Откуда ты это знаешь? — поразился Гарри, исчерпав свой скудный запас латинских изречений.

— Выучил... — ответил загадочно Арвид. — Тебе-то знать просто необходимо, раз филологом решил стать.

С Арвидом было интересно. Он был начитан, любознателен, охотно делился всем, что знал, увлекался музыкой, спортом, был склонен к юмору, безобидным насмешкам. Из бесед во время докучливых сводных лекций Гарри узнал, что мать Арвида — учительница, а отца расстреляли еще в конце тридцатых. Арвид был из украинских немцев, которые по многим признакам заметно отличались от немцев Поволжья. Некоторые суждения Арвида казались Гарри неожиданными и спорными. Так, например, он был убежден, что советские немцы отнюдь не выделяются единством и однородностью, ибо их предки прибыли в Россию из разных мест, в разное время, разными потоками, обитали в разных условиях и потому изначально были разными, в том числе и по интеллектуальному уровню. О немцах Поволжья Арвид был невысокого мнения. Считал, что они поселились первыми на запущенных землях, изведали много лишений и

---

[1] "Правосудие должно совершиться, хотя бы погиб мир"; "правдами и неправдами", "опасность в промедлении", "здоровый дух в здоровом теле", "что написано пером, того не вырубишь топором"; "и книги имеют свою судьбу"; "человек человеку волк".

горя, а потому были отсталыми и бедными, запуганными и затюканными, малограмотными, и неслучайно, мол, и называли их "ди Вольганегер" — "поволжскими неграми". По мнению Арвида, интеллектуально более развитыми, способными, предприимчивыми, зажиточными и жизнестойкими были кавказские швабы, на второе место он ставил крымских меннонитов, далее шли украинские немцы, потом немцы петербургские, московские, где-то в последних рядах его классификации находились немцы Поволжья, а последними числились какие-то Пеламезер, немцы из Беловежской пущи, диалект которых и понять, дескать, было нельзя. А совсем уж особняком стоят, мол, остзейские немцы, из которых вышли знаменитые ученые, богословы, военные и государственные чиновники высокого ранга. Для Гарри все это было внове. Он просто никогда не задумывался о многообразии немцев в Советском Союзе и ограничивался скудными представлениями о поволжских немцах, полагая, что и остальные немцы — где бы они ни жили — подобны им. С Арвидом соглашаться не хотелось, но и спорить было невозможно. Гарри с тоской подумал, что о соплеменниках своих он ничего толком не знает. Он искал встречи с Арвидом, от него узнавал больше, чем из лекций помпезного профессора Гольдберг или тягомотного доцента Билы, которые вбивали в головы студентов банальную жвачку, достаточно набившую оскомину по радио и газетам.

— Слушай, а ты в комендатуру ходишь? — шепотом спросил как-то Арвид.

— Н-нет... — растерялся Гарри. — А это... обязательно?

— А как же?! Положено раз в месяц отметиться.

— А где она... комендатура?

— Ты что?! — выпучил рыбьи глаза Арвид и затрепетал короткими белесыми ресницами от удивления. — До сих пор не был в комендатуре?!

— Нет...

— Ну, ты даешь!.. Что, и на учет не встал?!

— Нет, — признался Гарри.

Арвид даже отстранился от него, точно в испуге. Это было немыслимо.

— Так, дружище, ты играешь с огнем, — опечаленно заметил он упавшим голосом. — Тебя ведь запросто вы-

шибут из института. Немедленно отправься на Пролетарскую, 10. Это недалеко. Иди и покайся. Объяснись как-то. Во дает!..

То, что он не встал на учет комендатуры сразу же по приезду в Алма-Ату, как это строго предписывалось, в последнее время все чаще беспокоило и угнетало Гарри. В первое время ему было просто не до этого. Потом, поступив в институт и устроившись надежно в общежитие, он полагал, что все треволнения и опасности позади и соблюдать мелкие формальности вовсе не обязательно. Да и все чаще вспоминалось, что он комсомолец, активный общественник, член редколлегии институтской газеты, студент. Так, с какой стати стоять ему еще на учете в обрыдлой комендатуре! Обойдется!... Так проходили недели, месяцы, и в суматохе дней необходимость отмечаться регулярно в комендатуре чудилось несуразностью, нонсенсом, к тому же за это время, с момента зачисления в студенты, никто ни разу никаким образом даже не намекал на то, что он спецпереселенец и все ограничения к этому контингенту все еще остаются в силе. Все чаще и по разному поводу стали поговаривать об оттепели, на все лады склоняли одноименную эренбургскую повесть, находили в ней свежие, благодатные общественные веяния, и Гарри действительно начинало казаться, что все недавние мытарства остались навсегда в прошлом. Однако тревога застряла в сознании. Смутно чувствовалось, что благополучие его зыбкое, обманчивое, что вот-вот с какой-то неожиданной стороны разразится пакость. Однажды в изрядном подпитии и возбуждении ввалился в общежитие к нему однокурсник ингуш Адам Мальсагов и на недоуменный вопрос Гарри: "Что стряслось?" со злобой ответил, что был в комендатуре, схлестнулся с комендантом и тот пригрозил ему, что за какие-то прегрешения добьется его отчисления из института. Так, дескать, и заявил: "Не хватало еще, что в советских школах русскому языку будет учить спецпереселенец-ингуш!" Добродушный увалень Адам Мальсагов вспылил, пришел в ярость и вполне серьезно заявил, что за такие слова комендант, будь он хоть трижды майором или полковником, заслуживает "секир башка". С тем и расстались. А вскоре Адам тихо и бесследно исчез из института — будто и не было его. С этого момента Гарри и насторо-

жился. Но посоветоваться было не с кем. Не говорить же о комендатуре с аульными друзьями, в деканате или в комсомольском комитете. Завести разговор ни с того, ни с сего об этом с единокровниками на курсе он тоже не решился. Участь Адама Мальсагова не выходила из головы. А вдруг и с ним такое же случится? От тихой и робкой секретарши деканата, пухлой еврейки Бунцельман (она постоянно всех уверяла, что не еврейка, а крымчатка) Гарри узнал, что в КазПИ несколько лет назад учился один немец под русской фамилией, был даже сталинским стипендиатом, дошел до третьего курса исторического факультета, но потом, после домашней ссоры, русская жена донесла куда следует о его национальном происхождении, и он тотчас был исключен из института. Это было вполне правдоподобно.

Все же в воздухе витало предощущение перемен. Гарри все чаще вспоминал слова Вагнера о том, что перемены в обществе неизбежны. Об этом он убежденно говорил еще более года назад. Прошло всего шесть лет после обнародования грозного указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года о том, что немцы, калмыки, ингуши, чеченцы, финны, латыши и др. переселены в предоставленные районы НАВЕЧНО и что выезд их с места поселения без особого разрешения органов МВД карается каторжными работами до 20 лет, однако, чувствовалось, сила указа понемногу и явно ослабевала. Уже более года назад был арестован прямо на заседании Президиума Совета Министров СССР верный соратник усатого вождя всех времен и народов Лаврентий Берия. Информационное сообщение о решении исключить его из партии как врага народа, опубликованное в "Правде" 10 июля 1953 года, Гарри переписал в свой дневник, убежденный, что именно это событие должно открыть путь к ослаблению всевозможных ограничений в отношении депортированного люда. Такого же мнения придерживался и Давид Павлович, когда Гарри поделился с ним мнением об этом, однако добавил: "Не скоро, не скоро... Gottes Mühlen mahlen langsam"[1] и посоветовал, по обыкновению: "А лучше всего язык держать за зубами". Излишняя осторожность Давида Павловича иногда становилась нестерпимой и раздражала Гарри. "А что, неужели язык дан чело-

[1] Божьи мельницы мелят медленно *(нем.)*.

веку исключительно для того, чтобы держать его за зубами?!" — спросил он однажды запальчиво, но Давид Павлович невозмутимо смерил его долгим, осуждающим взглядом и, вздохнув, ответил: "По крайней мере не для того, чтобы болтать лишнее". Теперь, глядя на своих соплеменников, прорвавшихся, каждый по-своему, несмотря на все преграды, в институт, Гарри подумал: "Вот и они, видно, приучены держать язык за зубами... Ни с одним невозможно поделиться сомнениями, ни с одним не удается поговорить по душам". Исключение, пожалуй, составлял Арвид. Но и тот иногда под видом шуток, хитро щурясь, увиливал от откровенных разговоров. И Гарри с грустью решил, что все они в сущности подранки. Видно, бунтарей, дерзких неслухов среди молодого поколения спецпереселенцев — таких, как Николаус Вагнер, — очень мало. Возможно, Гарри они просто не встречались.

Профессор Гольдберг, надменно задрав голову, посверкивая очками на крючковатом носу, упоенно и размеренно вещала об основополагающих принципах советской педагогики. Как из рога изобилия лились из ее уст цитаты дидактиков-мудрецов. Аспиранты строчили усердно, преподаватели учтиво внимали гнусавым, басовитым перекатам в голосе заведующей кафедрой, студенты занимались кто на что горазд.

Никто не обратил внимания на то, как вдруг осторожно полуоткрылась боковая дверь со сцены актового зала и робко просунулась чья-то голова. Но Гарри это заметил, и нехорошее предчувствие, точно дрожь, мелькнуло в его сознании. Он ощутил странный толчок, будто знак неминуемой беды, и подспудный страх, точно неожиданная тошнота, подкатилась к горлу. Нечто такое он ощущал каждый раз, когда переступал порог районной или областной комендатуры. За столом на сцене, где сидели аспиранты и преподаватели, возникло замешательство. Кто-то из аспирантов подошел на цыпочках к двери, о чем-то поговорил с незнакомцем, осмелившим нарушить ход лекции знаменитого профессора, и тотчас, весь как-то сжавшись, подошел виновато к кафедре.

— Что такое? — недовольно повернулась к нему Гольдберг.

Гарри замер, весь превратился в слух. Он поймал себя на мысли, что хотел бы сейчас незаметно улизнуть из зала, испариться, провалиться сквозь землю. Гадкая слабость ударила в голову. Губы пересохли.

Расторопный аспирант что-то шепнул профессору и кивком указал на дверь. Гольдберг, всем своим видом изображая досаду и возмущение, однако послушно посеменила к двери и, выслушав пришельца, чья голова по-прежнему едва виднелась в проеме, вернулась к кафедре и обратилась в зал:

— Студент Вальтер присутствует здесь?

"Вот оно... вот оно... вот оно...", — лихорадочно застучало внутри Гарри, и от тошнотной слабости закружилась голова. Все в актовом зале насторожились. Многие устремили на него взгляды.

— Присутствует, — деревянно, через силу, но четко произнес Гарри.

— Вас сейчас же просят к выходу, — отчеканила профессор Гольдберг, и очки ее блеснули осуждающе и уничтожающе.

Гарри все понял. Дурное предчувствие, тяготившее его в последние дни, не обмануло.

Он собрал книжки, конспекты в сумку и, поскрипывая, постукивая костылями, испытывая жгучий стыд от того, что все обратили на него внимание, понуро зачикилял к выходу.

— Вальтер?! — резко спросил его незнакомец в шляпе и сером, помятом плаще.

Гарри кивнул.

— Пошли!

— Куда?

— Узнаете... Следуйте за мной, — коротко бросил незнакомец.

— Но...

Незнакомец все смекнул, достал плотную книжицу из кармашка, развернул, показал на миг. Гарри ничего не разглядел.

Вышли из центрального здания института, повернули направо, молча двинулись по улице Советской. Незнакомец молчал.

— И далеко нам идти? — собравшись с мыслями, поинтересовался Гарри.

Незнакомец скосился на его костыли и равнодушно ответил через паузу:

— Недалеко... Пролетарская, 10.

— В комендатуру?! — неожиданно вырвалось у Гарри.

Незнакомец не удостоил его ответа.

Миновали здание университета, где располагалась некогда Верненская мужская гимназия, перешли улицу Ленина, шли мимо старинных полукаменных, полудеревянных добротных купеческих застроек. Стояли пасмурь и сырь. Размокшие, разбухшие листья усеяли выщербленный асфальт. В горах лежал снег. Противно каркали вороны. Серая мгла окутала город.

Мысли мешались в голове. Вот она, расплата за непочтительное отношение к закону. Сам виноват... Чему быть, того не миновать. Мог бы еще осенью прийти в эту проклятую комендатуру, отметиться, как положено... так нет, шлялся по базару, по парку, торчал в библиотеке, ходил на защиту диссертаций, часами играл в шахматы, потерял всякую осторожность и бдительность. С такими мытарствами попал наконец-то в институт, все наладилось было и вот... что теперь его ждет?! Все коту под хвост. Могут запросто отчислить из института, отправить назад в аул, к разбитому корыту, и будет он петь с тоски "Müde kehrt ein Wanderer zurück..." — "Усталый путник возвращается домой". Домой... В дом скитальца, вечно неприкаянного. А могут... да, да, могут для острастки и в каталажку запереть. Как быть?.. Что он скажет в свое оправдание? Ну, скажет, что болен, что не знал, где комендатура, что никто не говорил, что ходить ему трудно, что ничего плохого не сделал, и дурного умысла не было, что он комсомолец, что он... что еще... что еще можно придумать? Да и кто будет слушать песни Лазаря? Живет он в сущности на положении беспаспортного бродяги. Срок временного удостоверения прошел. На учет не встал. Да и разрешение на выезд в Алма-Ату имел всего лишь на три дня... Кругом плохо, безнадежно, безвыходно...

Его мутило. Костыли скользили по мокрым листьям на асфальте. Сумка с конспектами и книгами спадала с плеча, и он без конца поправлял ремешок, поневоле отставая от молча шедшего впереди незнакомца в шляпе и длинном старом плаще.

Наконец, свернули вниз по Пролетарской. Поднялись по деревянным ступенькам в одноэтажный с полуподвалом замшелый дом, прошли по длинному узкому коридору, толкнули дверь в крохотный, заставленный шкафами кабинет.

— Вот, — сказал незнакомец. — Привел.

За обшарпанным письменным столом сидел широкоскулый, чугунолицый, с плотным седоватым ежиком на крупной голове с маленькими глазками-щелками казах лет сорока, в форме. Он с явным недоумением воззрился на Гарри: должно быть, ожидал увидеть дерзкого и наглого верзилу-нарушителя, а перед ним, прислонившись к косяку, стоял тщедушный, бледный парень на костылях, что, видно, и привело коменданта в некоторое замешательство.

— Спасибо. Вы свободны, — невнятно, с акцентом произнес чугунолицый и, дождавшись, когда молчун-провожатый в плаще и шляпе вышел, оттопырил нижнюю губу, клочком бумажки с помощью двух пальцев ловко выковырял черно-бурый, изжеванный сгусток насыбая, сбросил в бумажную корзину, повел туда-сюда челюстями и большим носовым платком тщательно вытер рот.

— Садись, — сказал чугунолицый, подбородком указывая на стул напротив.

Размеренная флегматичность чугунолицего начальника незаметно передалась и Гарри. Он также неспешно стянул с плеча сумку, повесил на спинку стула, аккуратно прислонил костыли к стенке, осторожно сел, вытянув больную ногу.

Чугунолицый, ощупав его маленькими глазками-щелками, скучным, служебным голосом спросил:

— Знашшит... Балтыр Кари Осиповышш?

— Так точно... Вальтер Гарри Иосифович, — подтвердил Гарри, с удовлетворением отметив про себя, что голос его прозвучал ровно и спокойно.

— И... кто ты?

— В настоящее время студент первого курса литфака Казахского педагогического института имени Абая.

— Хм-м... А то, что спецпереселенец и стоишь на учете комендатуры, забыл?

— Не забыл, товарищ... начальник. — Гарри чуть запнулся, хотел было сказать: "товарищ майор", но боялся ошибиться в знаках отличия. — О том всегда помню.

— Зашшем скрываешься?

— Я... я... не скрываюсь... Вот... весь перед вами.

— Разрешение на въезд в Алма-Ату имеешь?

— Имею.

— На сколько дней?

— На... три дня... — только сейчас голос Гарри чуть дрогнул.

— А сколько прошло? — Чугуннолицый продолжал буравить его глазками-щелками и сдвинул брови. Гарри показалось, что его плотный ежик на массивной голове ощетинился.

— Более трех месяцев.

Чугуннолицый откинулся на спинку стула, круто выгнул грудь.

Ежик на голове зашевелился, не предвещая ничего хорошего, Гарри тоже затаил дыхание.

— И почему не встал на учет?!

Все три месяца этот вопрос не давал покоя Гарри, но четкого, ясного ответа у него не было. И он пробормотал невнятно, жалко:

— Да... все не получалось как-то... Экзамены... лекции... занятия. Болел еще... Не знал, где комендатура. Никто не говорил. Виноват, конечно...

— И что теперь с тобой делать?

— Не знаю... Виноват... Нехорошо получилось...

Чугуннолицый посуровел, заиграл желваками. Глазки еще более сузились, шея вздулась, ежик на голове точно ожил.

— Нехорошо получилось, гауаришшш?! А что нарушил закон, порядок, знаешь?! Что мы тебя столько времени разыскиваем, знаешь?! Что на тебе столько запросов поступило, знаешь?! Что ты, немыс- ыспетпереселеныс, столько времени болтаешься незаконно в столице республики, знаешь?! Что тебя три месяца на учете нет, знаешь?! Что тебя судить надо, выселять надо, наказать надо, знаешь?! Понимаешь?!

Чугуннолицый понемногу распалялся, точно котел под огнем, голос крепчал, рокотал, казахский акцент становился все явственней, седоватый ежик надвигался то на лоб, то откатывался к темени, и поток возмущенных, разоблачительных, сокрушительных слов становился все мощнее и на-

пористей. Гарри уже плохо понимал и воспринимал его, тупо и обреченно чувствуя, что он пропал и спасти его уже невозможно. И вдруг помимо воли, словно кто-то подтолкнул его, должно быть, в отчаянии он прервал яростный клекот чугунолицего и заговорил неожиданно, ладно и складно по-казахски:

— Агай, успокойтесь, смирите свой гнев, не сбивайтесь с тропинки разума. Гнев — зло. Он удаляет достойного от аула рассудка. Я — бесправный маленький человек. Вы — зрелый мужчина, азамат, облаченный к тому же властью. Вы — лев, я — сирота-ягненок, отбившийся от своей отары. Вы вольны со мною делать, что хотите. От вашего рыка, агай, я готов взлететь в воздух, как пушинка. Я ведь сказал, что виноват. И ваша воля спасти меня или растоптать... Только какой смысл топтать растоптанного?... Какой смысл кричать на оглохшего от страха? Вынесите свой приговор и не унижайте понапрасно униженного!

Гарри выпалил все это на одном дыхании, чувствуя, как знакомая противная дрожь охватывает все его существо и что ему, в сущности, уже все равно — настолько в нем вдруг погасло все перегорело.

Чугунолицый застыл с разинутым ртом. Глаза-щелки раскрылись, округлились, полезли на лоб. Он весь подался вперед грудью на стол, зашевелил губами, словно силясь что-то сказать, но не соображая — что.

— Эй, эй... — растерянно произнес он. — Ты... міне, кызык... сен озің... сонда...[1] — Он был так удивлен, ошарашен, что никак не мог перейти на казахский язык. — Слушай, ты шпаришь по-казахски лучше казаха! Вот да! Откуда... как ты научился так говорить?! Ой, айналайн... сен озің... да ты, оказывается, просто хороший парень! Ой, бала... слова твои до дна моего сердца дошли... душу мне пронзили... Ты, что...

— Да, — спокойно сказал Гарри. — Я вырос в казахском ауле, окончил казахскую школу.

Чугунолицый весь преобразился. Черты лица смягчились, подобрели, голос стал ласковый, глазки заблестели.

— Вот как! Е-е... бәсе!... То-то же! Выходит, ты наш, казах. Ты мне братишка! Я ведь сразу заметил: на твоем

[1] Вот чудеса... ты, это... получается... *(Каз.)*.

лице есть иман. Вижу: скромный, совестливый парень. И упрямый. Маладес!..

Такой перемены Гарри не ожидал. И совсем не рассчитывал на нее, когда неожиданно для самого себя вдруг перешел на казахский. Он был смущен своей запальчивости.

— Ты, айналайн, не обижайся. Я ведь нахожусь на страже закона. Не положено — значит, не положено. Не думай, что мы о тебе ничего не знаем. Все знаем! — чугуннолицый хитро сощурился. — Знаем, как в Алма-Ату прибыл, как поступал в институт, куда ходил, как общежитие получил, с кем водишься, с кем дружишь. Но то, что не встал на учет, — мальчишество. С государством играть нельзя. Государство не обманешь.

Гарри осмелел.

— Понимаю, агай. Спасибо за справедливые слова. Только согласитесь: позор для джигита — стоять на учете неблагонадежных. Ничего плохого я государству не сделал.

— Может, и так. Скорей всего, так. И хоть ты и спецпереселенец, а такой же казах, как и я. Обличьем только не вышел, а-а?!

Чугуннолицый отодвинул телефон, набросил на него свой полушубок, встал, плотнее прикрыл дверь, подошел к Гарри, склонился к его уху.

— Хочешь, по секрету скажу новость? Только не проболтайся! Никому ни слова! Тебе, как братишке, говорю: скоро всем вам... ну, ты понимаешь... всем вам будет облегчение...

— Ка-ак?! — не сразу сообразил Гарри.

— Да, да... скоро. Мы и теперь уже делаем кое-кому кое-какие поблажки. Вот что... посиди-ка здесь минутку. Я сейчас...

И чугуннолицый поспешно вышел, оставив приоткрытой дверь, вошел в следующий кабинет. Гарри сидел не шелохнувшись. Он плохо понимал, что происходит, но чувствовал, что чугуннолицый явно расположился к нему, ему интересно говорить с ним по-казахски.

Чугуннолицый вернулся минут через десять радостно оживленный.

— Ну, бала, благодари судьбу, что встретился со мной. Сообщил о тебе полковнику и заступился за тебя. Столко-

вался. Удача сопутствует тебе. Чудится мне: из тебя выйдет толк.

— Мед вам в уста, агай. Да сбудутся ваши слова. Да отблагодарит всевышний за вашу доброту!

— Жаксы, бала!... Значит, так. Запомни: на учет мы тебя поставили. Учитывая все обстоятельства и особенно то, что ты хоть и немец, но все равно, что казах... — чугуннолицый сделал паузу, лукаво улыбнулся, — ... так и быть, наказывать тебя не будем. Понял? Учись спокойно. Более того, мы сделаем запрос. Если на тебя, на твоих родных поступят с места жительства хорошие отзывы и характеристики, мы, возможно, снимем тебя с учета комендатуры. Да, да! И выдадим, как положено, паспорт.

— И когда это может произойти? — Гарри облизнул пересохшие губы.

— Спешит только шайтан. Получим бумаги — сообщим. А через месяц приди обязательно. Понял?

— Понял... Спасибо, агай. Я... я...

— Ладно, бала! Иди. Удачи тебе!

— Рахмет, ага! А как вас зовут — узнать можно?

— Необязательно. Один из казахов, который никому не желает зла. Бар! Иди!

Гарри, бормоча благодарные слова, закинул ремешок сумки на шею и, постукивая об пол костылями, отправился к выходу.

От волнения заныло в пояснице. Знобкая дрожь мурашками пробегала по спине. Мысли путались. Неужели все это явь?

Он добрел до скамейки между двумя карагачами и сел, опустошенный, обессиленный.

— Ну, что? К...к...как?! — с тревогой в голосе спросил кто-то, незаметно подойдя из-за угла.

Тенью вырос перед ним долговязый Арвид. По виду его было заметно, что он дожидался его здесь уже давно и изрядно переволновался и продрог.

Гарри благодарно улыбнулся ему и поднял по-тельмановски сжатую в кулак правую руку:

— Рот фронт! Все в порядке!

XII

Чугуннолицый комендант на Пролетарской, 10 оказался верен своему обещанию. Когда Гарри, осторожно постукивая костылями, переступил порог его тесного, захламленного кабинета, он встретил его точно желанного гостя. По всему, комендант был в добром расположении духа. Казахи в таких случаях говорят: будто жена разродилась сыном. Или: словно только что вырвался из жарких объятий девушки. Даже седой ежик на его массивной, как котел, голове ходил ходуном — то лез на лоб, то сжимаясь, уплотняясь, откатывал к темени. Узкие глазки ликовали, сыпали искрами.

— А-а-а, бала, пришел, знашшыт?! — он распахнул амбарную книгу сбоку, послюнявив палец, полистал, нашел нужную страницу, заглянул и еще более повеселел. — Ровно через месяц. День в день! Хвалю! Вот теперь ты похож на законопослушного немца. То-то же! Немцы — народ точный и исполнительный, а ты повел себя поначалу, как казах. Шалтай-болтай!

Радужное настроение чугуннолицего коменданта передалось и спецпоселенцу Гарри. Правый глаз его задергался: верная примета чего-то хорошего. Но как поддержать разговор, он не смекнул. Потому на всякий случай провякал неопределенно:

— Ия, ия... Стараемся...

Для чугуннолицего и это было достаточно. Ежик его живо откатился к затылку, расслабил, раздвинул колючки.

— Ну, бала, суюнши! Правда, что ты можешь мне на суюнши дать? Разве что карандаш или ручку... ха-ха-ха....

Гарри смутился: в самом деле, за добрую весть дать ему было нечего.

— Нешауа, нешауа, — поспешил утешить его комендант. — Со студента какой спрос?.. Суюнши свой дашь позже, когда станешь большим человеком.

"Ну, сказал бы скорее... что за радость..." — нетерпеливо думал про себя Гарри.

— Знашшыт, так, бала. Все бумаги-характеристики пришли. И все положительные. Твой жезде... э-э... — комендант заглянул в бумагу, — першыл Дауыт Паблышш Ерлик, оказывается, уважаемый человек. Член партии. Честный,

заслуженный... Та-ак... А братья-сестры твои беспартийные, но тоже передовые колхозники. Тебя и деканат, и сам директор института, наш прославленный батыр Малик, расписали, расхвалили до небес. Отличник учебы, активист, редактор стенной газеты и все прочее. Это приятно. Учитывая все это, мы решили тебя, в виде исключения, снять с учета комендатуры, то есть, снять с тебя все гражданские ограничения. Понял?

Гарри кивнул и тусклым от волнения голосом спросил:

— Скажите, означает ли это, что... что... что...

Комендант догадался, что именно хотел сказать спецпоселенец-студент.

— Да, означает. Зайдешь в паспортный стол, заполнишь все необходимые бумаги. Мы свое решение представим. И получишь паспорт.

— Настоящий?

— Конечно, не фальшивый, — улыбнулся комендант. — Настоящий, подлинный, гражданина СССР.

— И как скоро?

— Это уж зависит от тебя.

Как во сне, вышел Гарри из комендатуры. Июньское солнце над снежными пиками Алатау сияло. Синий купол над городом сиял. День сиял. Гарри сразу направился в паспортный стол районной милиции, находившейся рядом с парком, и костыли под мышками чудились ему крыльями.

И вот сегодня ему пришло долгожданное извещение: к четырнадцати часам явиться в паспортный стол Фрунзенского отделения милиции.

Он еле высидел в институтской читальне до обеда, без конца озираясь на большие круглые часы у потолка. Странно, что никто не догадывался о его радости.

У заветного окошка в подвальном помещении милиции он томился целую вечность, привалившись плечом к обшарпанной стенке и боясь, что от радости и нетерпения сердце его может выскочить из груди.

Наконец, с резким хлопком окошко растворилось и оттуда показалась белокурая миловидная головка.

— Вальтер!

— Я.

— Распишитесь здесь и тут.

Длинный указательный пальчик с ярким маникюром властно тыкнул в двух местах плотного листа.

Ничего не соображая и не видя, Гарри расписался в двух местах и через минуту из окошка высунули ему новехонький паспорт. Дрожащими руками он схватил его, скользнул взглядом по тисненным буквам на обложке, открыл его, мгновенно выхватил каллиграфически, тушью выписанные фамилию, имя, отчество, год и место рождения, национальность, день и место выдачи, кем выдано, и задохнулся от немыслимого счастья.

— Все?

— Все! — отозвались за окошечком. — Следующий!

Стиснув костыли покрепче, он выбрался из подвален, побрел, словно пьяный, по улице Гоголя. Время от времени он останавливался, щупал кармашек черной вельветовой курточки, где лежал заветный документ, и брел дальше. У скамейки возле входа в парк он постоял, вытащил из кармашка паспорт, погладил его, еще раз прочел все надписи и, сдерживая радостные слезы, пошел, куда глаза глядят.

— Гарри! — окликнули его знакомые голоса.

Неподалеку, на лужайке, расстелив одеяло, готовились к экзамену сокурсницы Тамара и Марияш. Он подошел к ним, сходу выпалил:

— А я паспорт получил!

— Что-о? — не поняли они.

— Паспорт получил. Вот!

— Ну и что? — недоумевали они. — Ты что, до сих пор паспорта не имел? Или потерял?

— Представьте, не имел.

— Как это?

— Эх, вы-и-и, цыпочки наивные! — он махнул на них рукой и пошел восвояси, все энергичнее загребая костылями. Но никто этого не замечал: ни прохожие, сновавшие по магазинам, ни людской поток, спешивший на зеленый базар, ни толпа, томившаяся на трамвайной остановке. Даже не с кем было делиться радостью. Кое-кто, казалось, шарахался от него. Видно, он слишком широко загребал костылями. А, может, пошатывался, сам того не замечая.

Очнулся он возле центральной почты. И не сразу сообразил, почему он притащился сюда. Наконец, его осенило:

телеграмма! Да, да, он должен немедленно отбить в аул телеграмму. Давиду Павловичу и Олькье. Вот кого он обрадует своей вестью больше всех. Вот кто разнесет его радость по всему аулу.

На почтамте было прохладно и малолюдно. Он взял бланк, уселся за столик в углу и долго обдумывал текст. Он должен быть короткий, неожиданный, ликующий и немножко загадочный. Написав адрес, он долго раздумывал, но ничего путного в голову не лезло. И тогда он решил прибегнуть к известным словам поэта. И Давид Павлович, и Олькье, и братья вряд ли этих слов знают, а Мария Петровна, услышав о них, наверняка все поймет и даже обрадуется, что ее ученье пошло впрок. И тогда он четко вывел на бланке: "Завидуйте: я гражданин Советского Союза" и направился к кудлатой, очкастой девице за железной решеткой.

Та долго читала телеграмму, механически посчитала, тыча карандашом в текст, количество слов, недоуменно пожала плечом.

— Срочная?

— Срочная.

— А что это значит? Пароль, что ли? Понятнее нельзя?

— Точнее сказать невозможно.

Телеграфистка скосила на него подозрительный взгляд и отпихнула телеграмму напарнице, сидевшей за столиком напротив. И та повертела серый бланк со странным текстом, тоже с любопытством глянула на Гарри и, вспорхнув, удалилась в боковую комнатку. Минут через пять она вновь появилась и попросила обескураженно:

— Перепишите, пожалуйста. Что вы имеете в виду?

— То, что сказано. Что я гражданин Советского Союза.

— Все мы граждане Советского Союза.

— Еще не все! Я стал им сегодня.

— Чудак!

— Да, да, выражайтесь яснее, — поддержала кудлатая в очках.

Гарри взял злополучную телеграмму и отошел к заляпанному чернилами столу в середине зала. Надо же! Даже слова лучшего и талантливейшего поэта эпохи не сработали. Как же выразиться по-другому? А, ладно, Бог с ней, с загадочностью. Будем говорить открытым текстом. И он почти

печатными буквами вывел: "Получил паспорт". Короче и яснее не скажешь. Обидно только, что все его многолетние мытарства, мучительные думы, треволнения и переживания, все обиды и горести вместились в сущности в два простых, банальных слова.

— Другой коленкор! — сказала кудлатая барышня и еще раз уточнила. — Все-таки срочная?

— Срочная! — мрачно подтвердил Гарри.

В общежитии тоже никому не было дела до ликующей радости и тем более паспорта Гарри. У всех была своя забота — летняя сессия.

И в комнате однокашники Гарри лежали по койкам, задрав ноги, и угрюмо разглядывали потолок. Последний экзамен по старославянскому языку никого уже не волновал. Все равно никто ничего не кумекал по старославянскому, так что и бояться было нечего. Не испортят же зачетную книжку напоследок. И стипендии вряд ли лишат из-за старославянского. Каждый сладостно размышлял о предстоящих каникулах, грезил о родном ауле или прикидывал, как и где заработать бы малость деньжонок за лето. Неожиданный приход Гарри развеял тягостные думы сотоварищей.

— Завидуйте, братцы! Я счастлив: с учета комендатуры снят. И паспорт получил. Вот! — объявил Гарри с порога.

— Что ты говоришь?! — подал голос Ерик.

— Неужели?! — спросил на всякий случай Казбек.

— Обмыть надо! — подытожил Шайдулла.

Идея обмывки пришлась всем по душе.

— Да, да!.. Иначе паспорт потеряешь.

— И опять поставят на учет в комендатуру.

— А главное: стипендии не дадут.

— Типун вам на язык!

— Давай, давай, раскошеливайся!

— Да вы, черти полосатые, хотя бы полюбуйтесь сначала на мой паспорт. И дайте коримдик[1].

— Какой еще коримдик?

— Паспорт — не невеста, чтобы коримдик давать.

— Паспорт — это бумажка, мандат.

— А к мандатам, сам знаешь, почтения нету.

---

[1] Подарок за смотрины *(каз.)*.

Гарри опешил. Ну, да... известно. Свобода дорога лишь тогда, когда ее нет. Все дарованное цены не имеет.

Радость Гарри таяла, улетучивалась на глазах. Паспорт его никого не интересовал.

— Ну, так что? Обмывать будешь? — насупился Шайдулла.

— На что? И в какой форме?

— На что — твоя забота. А форма — ведро пива.

— Ай, Шаке, молодец! Верно рассудил. Жарко и опять-таки жажда.

— Ведро пива — самый раз!

Гарри стянул с плеч черную вельветовую курточку, свое главное богатство и гордость, небрежно швырнул Шайдулле.

— Если сможешь толкнуть...

Шайдулла от неожиданности привстал, восхищенно глянул на Гарри, схватил куртку.

— Это мы могем! Зараз.

Он выскочил куда-то, а вскоре вернулся с зажатой в кулаке десяткой.

— Операция состоялась. Пируем, братцы!

Тут же снарядили Казбека за пивом.

Пировали от души.

Пили за свободу, за здоровье чугунолицего коменданта и за новый паспорт. За щедрость Гарри — тоже.

Жизнь прекрасна!

Галдели, гудели долго. Гарри блаженно улыбался.

Ему представилось, как, возможно, именно сейчас расторопный аульный почтальон Кази вручает срочную телеграмму Олькье, требуя "магарыч" за добрую весть. Олькье, прочитав телеграмму и толком не разобравшись, несется в медпункт к Давиду Павловичу. Тот, конечно, сразу все смекнул, оценил весть, как знаменательное событие, и спешит в школу, чтобы обрадовать Марию Петровну. И она, бедная чеченка, член семьи изменника родины, воспримет новость как добрый знак судьбы. А Олькье уже сообщит обо всем братьям — Иоганнесу и Антону. И Иоганнес, ударив молотом по наковальне, скажет: "Доннер-веттер! Будет и на нашей улице праздник!" А потом несколько дней в ауле только и будут говорить о том, что с Гарри в далекой Алма-Ате

случилось нечто хорошее, какой-то "жақсылық хабар", и все аулчане посчитают своим долгом поздравить Давида Павловича и Олькье. И еще явно померещилось Гарри, как он скоро появится в ауле, как вечером за торжественным ужином покажет родным свой паспорт, настоящий паспорт без проклятой отметки о том, что разрешается проживать только в пределах Октябрьского района, паспорт, который дарует его владельцу свободу и гражданство, заодно покажет и зачетную книжку со сплошными "отл." и подписью декана. О, сколько будет разговоров, восторгов, надежд и планов!.. Сердце сладко щемило, когда он живо вообразил те счастливые мгновения, которые ожидают его в родном ауле.

Пировали.

Счастье пенилось, как жигулевское пиво в стаканах и кружках студенческого общежития.

Время меняло свое обличье.

Где-то в недрах высокой власти зрел новый уродец-указ с нелепо длинным названием "О снятии ограничений в правовом положении с немцев и членов их семей, находящихся на спецпоселении".

До его обнародования оставалось еще полгода.

Всего полгода.

Еще целых полгода.

Но Гарри о том не знал.

Февраль 2000 г.



СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая. Давид.....3
Часть вторая. Христьян.....99
Часть третья. Гарри.....221

Литературно-художественное издание

Герольд БЕЛЬГЕР

ДОМ СКИТАЛЬЦА

Роман

(на русском языке)

Редактор *М. К. Абдрахманова*
Художник *В. Пак*
Технический редактор *С.В. Бейсенова*

ИБ № 63

Сдано в набор 31.10. 2002 г. Подписано в печать 28.01. 2003 г.
Формат 84x108$^{1}/_{32}$. Печать офсетная. Шрифт "Таймс". Усл. п. л. 19.74.
Уч. изд. л. 20.93. Тираж 2000 экз. Заказ №. 3214.

Издательство "Аударма"
473000. г. Астана. ул. Бейбітшілік. 25

Закрытое акционерное общество "Астана полиграфия".
473000. г. Астана. ул. Бейбітшілік. 25



БЕЛЬГЕР
Герольд Карлович

Родился в 1934 году.
Живет в Алматы.
Переводчик, прозаик, публицист, эссеист. Лауреат премии Союза писателей Казахстана им. Беимбета Майлина (1988), заслуженный работник культуры Республики Казахстан (1987), лауреат Президентской премии мира и духовного согласия (1992), лауреат Казахского ПЕН-клуба (1996), кавалер ордена "Парасат".